

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ

**ХРЕСТОМАТИЯ
ПО
РОССИЕВЕДЕНИЮ**

Выпуск 1

Москва 2015

ББК 63.3 (2)
Х 91

Центр россиеведения

Ответственный редактор – д-р полит. наук *И.И. Глебова*
Редактор – *В.Н. Листовская*

**Хрестоматия по россиеведению / РАН. ИНИОН. Центр
Х 91 россиеведения; Отв. ред. Глебова И.И. – Вып. 1. – М., 2015. –
249 с.**

ISBN 978-5-248-00798-1

В Хрестоматии собраны работы ведущих современных россиеведов. Издание преследует двоякую цель: накопление корпуса текстов, методологически и терминологически адекватно описывающих прошлое и настоящее России, и активизацию дискуссии вокруг россиеведения как важного для науки исследовательского направления.

Хрестоматия может быть использована в качестве учебного пособия в высшей школе. Адресуется специалистам-обществоведам и гуманитариям, аспирантам и студентам.

ББК 63.3 (2)

ISBN 978-5-248-00798-1

© ИНИОН РАН, 2015

Содержание

О задачах россиеведения и о настоящем издании (Вместо предисловия) 5

ИСТОРИЯ – ОПЫТ – ТРАДИЦИИ

Л.В. Милов

К характеристике российской государственности..... 19

Э.С. Кульпин

Социально-экологический кризис XV века и становление российской цивилизации 34

О.Э. Бессонова

Раздаточная экономика как российская традиция 49

В.П. Булдаков

Основные параметры системных кризисов в России 65

И.М. Клямкин

Демилитаризация как историческая и культурная проблема 80

СОВРЕМЕННЫЕ ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО, ВЛАСТЬ

Ю.С. Пивоваров

Об «истоках» и «смыслах» современной России 103

С.Г. Кордонский

Ресурсное государство – от репрессий к депрессиям 132

В.Б. Пастухов

Предчувствие гражданской войны. От «номенклатуры» к «клептократии»: Взлет и падение «внутреннего государства» в современной России 153

О.Н. Яницкий

Россия как общество риска: Методология анализа и контуры концепции 174

Л.Д. Гудков, Б.В. Дубин, А.Г. Левинсон	
Фоторобот российского обывателя	188
Г.Г. Дилигенский	
«Запад» в российском общественном сознании	202
Г.Л. Кертман	
Статус партии в российской политической культуре	220
Б.В. Дубин	
Православие, магия и идеология в сознании россиян	234
Сведения об авторах	247

О ЗАДАЧАХ РОССИЕВЕДЕНИЯ И О НАСТОЯЩЕМ ИЗДАНИИ

(Вместо предисловия)

В 2008 г. в Институте научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН был создан Центр россиеведения. Эта организационная мера продиктована стремлением изучать Россию как особый социально-исторический феномен. Центр мыслился как один из инструментов ее решения, одна из дискуссионных площадок, на которой предлагаются и обсуждаются, приобретая публичный статус, адекватные этой задаче подходы, идеи, концепции.

* * *

Научные подразделения по изучению России возникли в 2000-е годы не только в ИНИОН. Приблизительно такие же исследовательские задачи ставили перед собой Институт русской истории Российского государственного гуманитарного университета, Центр по изучению России Российской университета дружбы народов, соответствующие центры в региональных университетах (например, Центр по изучению России и Сибири Екатеринбургского университета). Видимо, появление таких структур в постсоветской России не случайность.

По понятным причинам в СССР изучение российской социальности не выделилось в самостоятельное исследовательское направление. Этим в равной мере занимались историки, экономисты, юристы, когда стало можно – социологи, демографы и т.д. Карикатурной, неудачной попыткой преодоления ситуации «разделенности», дискретности (правда, не с целью анализировать именно Россию) была дисциплина «научный коммунизм», которую учредили в 1960-е годы. В рамках этой дисциплины пытались синтезировать разные области социально-гуманитарного знания, дав им общую методологию. Попытка не удалась. Догматический советский марксизм-ленинизм в качестве такой методологии полностью себя дискредитировал.

На рубеже 1980–1990-х годов российская наука перешла к массовой рецепции исследовательских подходов, возникших в западном обществе-

ведении. Симптоматично, что этот переход имел и политическое измерение. Как и почти столетие назад, у власти оказались люди, опиравшиеся на очень влиятельные в мире научные теории: если в 1917 г. это был марксизм, то в начале 1990-х – экономический неолиберализм. Правда, и марксизм, и неолиберализм были переиначены до неузнавания. Когда-то П.Б. Струве сказал о ленинцах: «казиатский марксизм». Так же можно характеризовать «наш» неолиберализм. И большевистские, и современные эксперименты доказали, что вырванные из контекста чужие методы не работают. Похожая ситуация сложилась и в науке. С помощью одной лишь рецепции западных концепций нельзя адекватно описать российскую реальность.

Таким образом, после отказа от марксистско-ленинской идеологии и осознания недостаточности западных исследовательских методологий «обнаружился» если не вакуум, то очень существенный дефицит понимания того, что происходит и происходит в России. В этих условиях и стали возникать подразделения по ее изучению. Во всяком случае, по этой причине создан Центр россиеведения ИИОН РАН.

Институционализация россиеведения требовала прежде всего выработки самых общих представлений о задачах и направлениях этой деятельности (иначе говоря, о ее предмете). С нашей точки зрения, россиеведение – это попытка исследовать Россию целостно и преодолеть узость, ограниченность «отраслевых» подходов (т.е. выйти за рамки историко-, экономо-, политico- и любой другой центричности). При этом мы не предлагаем отказываться от традиционной классификации наук и не выступаем за то, чтобы механически свести воедино разные области знания, прикрываясь «легендой» междисциплинарности. Нам представляется, что, работая в рамках определенного «раздела» социальной науки, следует иметь в виду Россию как целое в качестве обязательного «фона» и соотносить различные темы (природу и географию, экономику и политику, право и культуру, в том числе бытовую, семейную и т.д.) с этим целым.

Таким образом, россиеведение предполагает наличие особого объекта анализа – России. В науке есть достаточно авторитетное мнение: Россия не является самостоятельной цивилизацией. Отсюда попытки ее изучения в рамках Запада или Востока. Нам, однако, кажется очевидным: та «историческая субстанция», которая в разные времена называлась Московским царством – Российской империей – СССР – Россией (и имела преемственные связи с Киевской и княжеско-удельной Русью, а также Золотой Ордой), демонстрирует культурную общность и особость. Кроме того, эта целостность локализована в очень определенной (не схожей ни с какой иной) природно-географической среде.

В исторической ретроспективе мы имеем дело с чередой России – разных, но и чрезвычайно схожих. И эти России полностью не вписыва-

ится ни в европейский, ни в азиатский ход исторического развития. Отсюда и предложение изучать их как определенный культурно-исторический тип¹. Не раз и навсегда заданный, но постоянно изменяющийся и сохраняющий при этом особенные, типические черты. Существующий не отдельно от всех, но наряду с другими культурно-историческими типами – в общем темпоральном, цивилизационном контексте. Речь при этом не идет о выявлении какой-то российской исключительности (или «экзотичности»). Нас интересует то *особенное*, что входит в ткань *исторического бытия данной культуры* (общечеловеческое, разумеется, не отменяется).

Наставая на необходимости россиеведения, мы вовсе не выступаем за создание какой-то интегральной науки о России. Да, существует востоковедение, которое является попыткой *западной* науки понять специфику *незападного* общества. И с этой целью на передний план при изучении Востока выдвигаются дисциплины, которые в ходе анализа Запада таких позиций не имеют: культурная антропология, например. Но какой-то новой целостной науки о Востоке так и не было создано. Это связано, кстати, и с тем, что никакого единого Востока не существует, а значит, нет единого предмета науки. Имеется, так сказать, много Востоков. Единственное, что их объединяет, – они не Запад. Иными словами, остается исследовать Восток как не-Запад. Но это, безусловно, и содержательно, и методологически неадекватно. Правда, существуют американистика, франковедение, германистика и т.д. Однако для самих западных ученых эти направления, как правило, связаны с филологическими науками. В российской же традиции – это прежде всего изучение *данной, конкретной страны*, а не какой-либо другой. Принципиально новой науки для этого не требуется.

Россиеведение – это определенный подход, определенная точка зрения на Россию. В рамках такого подхода утверждается: наука не может принять какую-то культуру за норму и подходить к другим культурам с позиций этой нормы. Наука не может рассматривать разные культуры сквозь призму некоего универсального общества и предлагать в их отношении решения, которые дало бы это универсальное общество. Rossiеведение предполагает изучение России с позиций не «должного», а «сущего»; исходит из необходимости признания «нормативности фактического» (т.е. «наличной» социальности – данной экономики, данной политики и т.д.); нацелено на описание этих «данностей». Все это, конечно, не означает морального релятивизма, а также искусственного выделения России из общего исторического потока, противопоставления ее человечеству и

¹ Термин «культурно-исторический тип» принадлежит Н.Я. Данилевскому. Уважая заслуги этого мыслителя, мы вкладываем в этот термин несколько иной смысл: скорее, метафорический, чем претендующий на «научность», и уж никогда (как у Николая Яковlevича) – морфологический.

общечеловеческому, отрицания традиций русского европеизма, совместности нашей страны со свободой и демократией и т.п.

Следует подчеркнуть: мы особенно не держимся за термин «россиеведение». Более того, не убеждены в том, что «россиеведение» – лучшее название. Но мы пользуемся им так же, как термином «востоковедение», подчеркивая тем самым, что для изучения Востока недостаточно только традиционных научных дисциплин, евро (западно) центрических подходов, методологий; в Востоке есть нечто, что в них не укладывается. Мы избрали «россиеведение», поскольку полагаем этот термин содержательно нейтральным и не имеющим каких-то «опасных» коннотаций.

Кроме того, «россиеведение» уже имеет свою историю. Этот термин активно применялся в образовательной системе России конца XIX – начала XX в. Одним из первых в постреволюционные годы его употребил Петр Савицкий – лидер евразийства, крупнейший специалист по политической, экономической географии, geopolитике и т.д. В то же время (в 1920–1930-е годы) в немецкой науке появилось понятие «Russlandskunde» («россиеведение»), обозначавшее целостный подход к изучению России. Позже в послевоенной англоязычной науке возникло направление «russian studies» («русские исследования»). То есть аналоги «россиеведения» есть в языках, обеспечивающих современные научные, межкультурные коммуникации.

* * *

Надо сказать, что убеждение в необходимости россиеведения разделяется далеко не всеми в России. Напротив, большее число российских исследователей и сегодня в общем и целом удовлетворены тем научным инструментарием, который дает западная наука. (А это и есть основной инструментарий современного социально-гуманитарного знания.) Более того, в попытке сконструировать россиеведение они видят очередной экспесс русского утопизма, которому свойственно преувеличение российской специфики.

Должна признать, что россиеведение действительно опасно в русском варианте. Встав на этот путь, легко дойти до того, что по-немецки называется «Sonderweg». Это и есть реальная проблема россиеведения: как бы не поддаться искушению «особого пути». Показательно, что «россиеведение», предлагаемое в современной России в качестве учебного курса, становится чем-то схоже с «научным коммунизмом» советских времен. Кроме того, под прикрытием «россиеведения» предпринимаются попытки «прочтения» России с позиций либо черносотенных, либо псевдонаучных (зачастую эти позиции представлены в смешанном виде). Они несут в себе безответственные, но легко заражающие мифы. В этом смысле россиеведение действительно является социально опасным начинанием.

Однако существует и другая, не менее серьезная опасность: не понять, не распознать того, что происходит в России, если мерить «русское» меркой Франции, Бельгии и т.д., не замечать особенностей этого «русского». Причем это опасно и с научной, и с социальной точек зрения. В конечном счете наука должна, насколько это в ее силах¹, адекватно представлять хотя бы ближайшие возможности и потенциалы изучаемого общества. Россиеведение, какие бы подходы оно ни предлагало, предназначено именно для этого – в этом и состоит его неотменяемый вызов.

Чтобы не впасть в одну из этих крайностей, необходимы сочетание, соединение, синтез разных исследовательских подходов. Россия – чрезвычайно сложное образование. В ней есть и европейское, и евразийское, и азиатское начала. У России (как, впрочем, и у любой другой страны) может быть несколько идентичностей. И она всегда находится перед выбором: что будет доминировать, что возобладает. Вот уже в течение нескольких столетий доминантой для России является европейская ориентация. Отсюда – тяготение ученых к соответствующим познавательным методам и моделям. И то, что диагнозы и прогнозы, сделанные в рамках этих подходов, часто себя не оправдывают, объясняется не их неадекватностью, а сложностью, неоднозначностью объекта исследования.

К России, безусловно, применима европоцентрическая исследовательская логика, поскольку – и мы только что сказали об этом – в ее природе есть и европейские основы. У нас с Европой общие христианские истоки (отличия православия от католичества и протестантизма не отменяют того, что все эти «виды» находятся внутри одной «семьи»). А это значит, что в сердцевине русской культуры, как и у всех европейских, тема личности (Христос – Богочеловек, Он – Истина). В этом смысле мы с Европой родственны.

Кроме того, близость рождается из связей, из общей истории. Киевская Русь – хоть и окраинная, но значимая часть христианской ойкумены. К североевропейской цивилизации во многом принадлежала Новгородско-Псковская Русь. Европейцы издавна присутствовали в русской истории²: и «по позитиву» (жили, работали, учили), и «по негативу» (конфликтовали, воевали). Начиная со Смуты, контакты Московии с Западом становятся постоянными.

Петровская эпоха помогла становлению русской культуры как европейской по преимуществу. Даже в традиционной деспотической государ-

¹ Надо понимать, что ресурс науки ограничен. Какие-то вещи она принципиально не может описать, в отношении других способна сделать лишь предположения. В науке не может быть все известно, понятно, легко объяснимо. – Это не съезды КПСС, не партийные программы. Она имеет дело с реальной жизнью – и часто отступает перед ее сложностью.

² Хотя, конечно, мы знаем и времена русской изоляции. Большой частью – самоизоляции.

ственности стали проглядывать европейские черты – со временем все больше и больше. С начала XVIII столетия (а, может быть, даже и раньше – с XVII в.) Россия признавалась частью европейской политики. Более того, она таковой и была. Как бы ни отличалась наша страна в XVIII – начале XX в. от других европейских держав, она принимала самое активное участие в европейском концерте. Все это говорит за европейскость России.

И, наконец, не будем забывать: наиболее благоприятные периоды в русской истории случались тогда, когда Россия выбирала европейскую ориентацию. На этом пути она становилась нормальной и современной страной. Подчеркнем: чтобы стать современной (во всех отношениях – в том числе в научном), России нужна именно европейская «прививка».

В то же время Россия, конечно, не является европейской страной в классическом смысле. Принадлежать к европейской цивилизации – значит наследовать античной цивилизации Греции–Рима, быть христианско-католической, пройти феодализм, Ренессанс, Реформацию, Просвещение, капитализм и пр. Это означает преобладание тенденций к господству права, устроение власти и на договорных отношениях, а не только на насилии. Это предполагает развитие науки, университетов и, безусловно, определенные природно-климатические условия.

Кстати, особое значение для России (для толкования ее как «неевропы») имеют пространства: и их неевропейская природа (климат, огромность, неосвоенность), и неевропейский способ освоения (экстенсивный, эксплуатационный, «неэкологичный»). Это, пожалуй, одна из главных дилемм русской истории: «азиатские» пространства и действующий на них человек с некоторыми европейскими чертами характера.

Россия большинству условий «классической европейскости» не соответствует. Поэтому нельзя отказаться в глубоком понимании российского исторического пути таким мыслителям, как Чаадаев, славянофилы, евразийцы. Это не значит, что мы с ними полностью или во многом согласны, но некоторые их наблюдения, выводы представляются вполне релевантными.

Итак, для познания такой культуры, как русская, требуется особая исследовательская оптика. Применение к России того инструментария, который выработан западной социально-гуманитарной наукой, позволяет понять «русское» в том объеме и на той глубине, на котором и в которой Россия – страна европейская. Изучение же России с *российеведческих позиций, акцентирующих особость этого исторического развития*, позволяет понять «русское» в том объеме и на той глубине, в которых Россия не есть Европа.

Нам очевидна необходимость того, чтобы ученые, даже расходясь во мнениях, говорили на *научном языке* и исходили из презумпции свободы исследования. Кроме того, при различии подходов к изучению России

науке требуется общее, объединяющее целеполагание: Россия демократическая, либеральная, правовая, плюральная, социальная и т.п. Эта ориентация – единственно возможный двигатель развития страны. То есть и единственно приемлемый контекст для исследований. Вне ценностных измерений социально-гуманитарная наука теряет свои общественные роль и значение. Поэтому именно и только в таком контексте, в таком виде россииеведение в России не только возможно, но и необходимо.

* * *

Следует также сказать, что задачи и цели россииеведения со временем могут меняться. Точнее, в какой-то период на первый план выходят одни задачи и цели, в другой – другие. Когда в 2008 г. мы в ИНИОН создали Центр россииеведения и приступили к изданию «Трудов по россииеведению» (к 2015 г. вышли пять выпусков общим объемом 145 а.л.¹; кроме того, публиковались материалы семинаров Центра²), главную задачу мы видели в том, чтобы научиться рассматривать Россию как целостный социокультурный и социоисторический феномен. При этом признавалась та самая «недостаточность» западной науки в изучении России, о которой мы уже говорили.

По прошествии семи лет основные задачи россииеведения нам видятся несколько иначе. И это связано с поведением самого объекта исследования – России. В последние три года она совершила очередной исторический поворот, вновь «обманув» большинство ее исследователей. Сегодня перед нами в значительной степени другая страна, другое общество. О содержании этого поворота я говорить не буду, поскольку он очевиден для всех – правда, с разным к нему отношением. И теперь в фокусе нашего внимания – изучение причин этого поворота, его глубины. Что предполагает поиск новых подходов и к советскому прошлому, к которому, кстати, апеллируют идеологи этого поворота, и к постсоветскому историческому пути, сегодня уже почти четырехвековому.

Когда-то выдающийся русский историк Р.Ю. Виппер писал: «Произошло все как раз наоборот предвидению теории – мы притягивали историю для объяснения того, как выросло Русское государство и чем оно держится. Теперь факт падения России, наукой весьма плохо предусмотренный, заставляет... проверить свои суждения. Он властно требует объяснения, надо найти его предвестия, его глубокие причины, надо неизбеж-

¹ Труды по россииеведению. – Вып. 1. – М.: ИНИОН, 2009; Вып. 2. – М.: ИНИОН, 2010; Вып. 3. – М.: ИНИОН, 2011; Вып. 4. – М.: ИНИОН, 2012; Вып. 5. – М.: ИНИОН, 2014.

² Социальная память в институциональном измерении: Постсоветский архив. – М.: ИНИОН, 2010; Современная Россия: Дискуссия. – М.: ИНИОН, 2013.

но изменить толкования... науки»¹. Виппер имел в виду ситуацию революции 1917 г. – до и после. Только со временем стало понятно, насколько верен этот «призыв».

В XX в. в России возник особый тип общества – иной по сравнению с той социальностью, с которой имела дело западная наука (с которой до него вообще имела дело наука). Его познание требовало действительно принципиального концептуального обновления. Социальная наука на Западе в основном занималась массовым, т.е. «открытым» (в терминологии К. Поппера), плюралистическим обществом. В рамках же СССР сформировалось массовое общество «закрытого» типа, где всячески подавлялись индивидуализм и индивидуальность с их претензиями на автономию, свободу, права, право, с потребностью в их институционализации. Все строилось по преимуществу на массовых инстинктах (выживания/самозащиты), иллюзиях, энтузиазме, «вере», привычке к подчинению, страхе и т.п. И, конечно, это общество не предполагало саморефлексии. Поэтому попытки его понять имели по преимуществу ненаучный характер (как «Архипелаг ГУЛАГ»²).

Несмотря на то что изучение и описание советского общества продолжается уже едва ли не столетие, многое в нем еще не понято. Мы пока не обладаем точным (повторим: насколько это вообще возможно в науке) знанием об истоках, генезисе, природе и причинах гибели этого феномена. В качестве примера отметим: по сей день нет даже определенной ясности в том, есть ли «советский коммунизм» (или, говоря очень условно, советский коммунистический тоталитаризм) «домашнее», внутреннее дело русской истории или Россия была им инфицирована. Ведь если верно последнее, то коммунизм принадлежит всему человечеству или хотя бы какой-то другой, нерусской его части. А может, «советский коммунизм» явился комбинацией двух этих внешне противоположных причин? Или вообще прав А. Зиновьев, видевший в истории человечества два основных социальных потока: коммунально-коммунистический и «цивилизационный», связанный с поступательным развитием цивилизации и постепенным «очеловечиванием» человека как природно-биологического вида?

Да и западная советология, которая профессионально занималась исследованием «русского коммунизма» и достигла здесь значительных успехов, не выработала его адекватного понимания. Советологи, хотели они этого или нет, в известном смысле (не все, конечно) оставались бойцами идеологического фронта войны с коммунизмом. И это, вне зависи-

¹ Виппер Р.Ю. Кризис исторической науки. – Казань, 1921. – С. 3.

² «Ненаучность» этой русской одиссеи XX в. не есть какой-то ее изъян. «Опыт художественного исследования» – так сам Александр Исаевич определил жанр «Архипелага». Мы же скажем: для русского самопознания эти три тома имеют такое же (не меньшее!) значение, как поэма «Мертвые души».

ности от их личных намерений, во многом превращало цель анализа в цель, по которой ведется огонь. Повторим, несмотря на все усилия западных и российских исследователей, не преодолен дефицит понимания советского общества. (Во многом из потребности его восполнить и возникло россиеведение.) Кроме того, из всего изученного и описанного пока не сделаны социальные выводы.

И, наконец, самое главное. Все убедительные и авторитетные концепции советского общества создавались либо еще в период его существования, либо сразу после *видимой* кончины. История последних пятнадцати лет показала: «советский коммунизм» во многих своих сущностях сумел выжить в ходе Великой Преображенской (А.И. Солженицын) = Великой криминальной (С. Говорухин) = Великой демократической (демократы) = Великой антикоммунистической (антикоммунисты) = Великой национал-освободительной (национальные освободители) и т.д. революций. Он пожертвовал, кажется, всем – наличным государством, хозяйственным укладом, территорией, идеологией и т.д. Но сохранился в нас – в наших головах, инстинктах, поступках¹. Он разлит в воздухе, которым мы дышим. То есть он оторвался от видимых «материальных» субстанций, превратившись в нечто квантоподобное. И в этом смысле «коммунизм» (название, повторим, весьма условное, но и символичное – в том смысле, что современный мир движется в прямо противоположном направлении: его вектор – антикоммунистический) – это действительно призрак, который бродит по России.

То, что случилось с советским обществом, с режимами советского типа в конце XX в., стало новым вызовом для науки. Вызовом, который в полной мере осознан только теперь. Поэтому ключевой для россиеведения мы считаем тему теоретического осмыслиения выхода России из того, что можно назвать тоталитарной моделью, и попыток строительства какого-то иного (не тоталитарного и не авторитарного) типа общества. В науке существуют различные объяснительные подходы к темам происхождения и бытования тоталитарных режимов. Распад же тоталитаризма и эволюция

¹ Когда мы говорим об этом феномене, то имеем в виду вполне определенные качества, ему свойственные: насилие и упрощение в решении любых социальных вопросов, элементаризация восприятия наличной действительности и природы человека, отсутствие толерантности (жизнь по принципу «или-или»: кто не с нами – тот против нас), забвение всяких правовых процедур, постоянные ложь и фальсификации, которые выдаются за борьбу с фальсификациями, тяга не к производству и приращению, а к переделу наличной вещественной субстанции (в развитых обществах именуемой национальным богатством) и перераспределению ее не в общую, а в индивидуальную и групповую пользу, воинствующие антисолидаризм и антииндивидуализм, «чудобесие», «беспочвенность» – агрессивное отрицание традиции как культуры и т.п. Все это воспроизвело в посткоммунистической России – и не в качестве периферийных явлений («пережитков»), а totally, победно, реваншистски.

общества в каком-то другом направлении прописаны недостаточно. Правда, есть знаменитые теории демократического транзита, есть постсоциалистический опыт стран Центрально-Восточной Европы, который, кстати, был во многом обусловлен интеграцией этих стран в ЕС и НАТО. Русский же посткоммунистический «транзит» оказался иным. Поэтому мы и хотим его понять.

* * *

Одним из способов углубления знаний о России как об определенном культурно-историческом типе является подготовка хрестоматии (точнее, серии хрестоматий) по россиеведению. То есть отбор того лучшего, что было написано о России в нашей стране и за рубежом.

Здесь встает вопрос: какова должна быть структура этой серии хрестоматий. По всей видимости, необходимо, чтобы она соответствовала структуре самого россиеведения. Однако на сегодняшний день эта задача представляется неразрешимой. И хотя в наших университетах уже несколько лет читаются курсы по россиеведению и издано несколько учебников и учебных пособий, их структура далека от совершенства.

Более или менее определенная структура россиеведения как исследовательского направления возможна (если она вообще возможна) лишь по мере накопления нового знания и совершенствования методологии. В рамках сегодняшнего состояния россиеведения и создание учебных курсов, и написание учебников всегда будут носить во многом волонтаристский характер. Но это, разумеется, не является причиной отказа от них. Мы лишь подчеркиваем своеобразие момента.

Выбор формы настоящего издания во многом обусловлен той особой ситуацией, в которой находится россиеведение. Мы считаем, что россиеведение представляет собой прежде всего опыт самопознания. Поэтому его первоочередная задача – «кодификация» современной русской мысли, обобщение накопленных ею знаний о России. То есть в рамках россиеведения должны фиксироваться те «разговоры» о России, которые ведутся в самой России. Россиеведению и следует стать реакцией на эти «разговоры» – иначе говоря, опытом саморефлексии.

Этим объясняется наше обращение к текстам, наиболее заметным в современной российской социально-гуманитарной науке. Конечно, наш выбор нельзя назвать исчерпывающим и абсолютно объективным (как, собственно, и любой другой выбор). Однако нам кажется, что тексты, помещенные в первом выпуске «Хрестоматии по россиеведению» (а мы планируем – несмотря на то что произошло с ИНИОН, и даже в определенной степени реагируя на произошедшее – продолжающееся издание), действительно имеют первоочередное значение для этого исследовательского направления.

Задача хрестоматии заключается не только в том, чтобы собрать под одной обложкой лучшие работы, появившиеся в современной России. Скорее в том, чтобы попытаться найти ту Россию, к которой следует идти. Речь идет не о привычной для нас утопии: «когда на Руси жить хорошо», но о том, что мы действительно можем построить.

У современной России есть потенциал страны, которая способна обеспечить своим гражданам достойное существование. И это не нефть и газ (хотя и они нам не помешают). Но – культура, энергия созидания и сопротивление злу.

К чему эти общие слова, эти декларации? Нам кажется, именно сейчас – по сути, не по форме – они обязательны. Потому что одни наши со-граждане, травмированные и прошлым, и действительностью, потеряли всякую надежду, а другие, вдохновленные всякими опричинами и террорами, уже готовы вновь овладеть страной.

Мы хотим показать, что, перефразируя А.С. Хомякова, неправы те, кто не сомневается в правоте сомнения в России. Но не правы и другие, для кого аутентичная Россия изображена, скажем, в романах В. Войновича и В. Сорокина.

* * *

Собранные в «Хрестоматии по россиеведению» тексты чрезвычайно разнообразны: по стилю, языку, а главное – по характеру «освоения» того материала, который «поставляют» науке наше прошлое и настоящее. В одних доминирует описательная (в смысле: дать адекватный «портрет» действительности) логика; другие «концептуальны», нацелены на обобщения, построение больших теорий. В одних в основном констатируются «дефициты» российского развития (что не удалось, не получилось, не состоялось, чего мы не видим в России в сравнении с западной социальной реальностью), в других «дефицитарный» подход отвергается, и наличная действительность анализируется как нечто состоявшееся (хотя, возможно, и не вполне состоятельное – с точки зрения безопасности и возможностей самореализации человека).

В значительной степени различаются и предлагаемые теории. Одни имеют вольный, «импрессионистический» характер: авторы, скорее, следуют за социальной логикой, чем подчиняют ее своим объяснительным схемам. Во всяком случае, между социальным и его интерпретацией остается какой-то зазор, нечто недосказанное. Другие предлагают стройные, выверенные, непротиворечивые концепции. Тем самым, конечно, упрощается сложность социальной ткани. Но сама логика теоретических построений – не бесспорных, а порой и чрезвычайно дискуссионных – увлекает, захватывает.

Разнообразие подходов и форм, стилей и методов соответствует нашей позиции. Мы исходим из того, что не может быть одного норматив-

ного исследовательского подхода, что должно быть множество точек зрения на анализируемое явление. Только при использовании разных «призм» рождается стереоскопический эффект, который и приближает нас к пониманию природы изучаемого: России.

Однако есть то, что объединяет собранные в этом издании тексты и те интерпретационные модели, которые в них предлагаются: интерес к ретроспекции. В этом выпуске «Хрестоматии...» Россия рассматривается в основном с позиций политологических, социологических, культурологических, экономических. Но всегда – сквозь призму истории, в категориях «долгого времени». Это подтверждает нашу идею: история является тем раствором, которым скрепляется фундамент россиеведения. При этом россиеведение вовсе не сводится к истории. Напротив, последняя интегрируется в эту полидисциплинарную среду.

Кроме того, при всем многообразии публикуемых материалов (а это именно *авторские* тексты в лучшем смысле этого слова: в них есть автор) в каждом из них предпринимается попытка понять, с какой социальной «организацией» мы имеем дело и как придать ей новые импульсы, задействовать ее лучшие потенциалы. Собственно, именно *это* («заряженность» на научный поиск, смелость мысли и наличие перспективы: России приемлемой, состоявшейся и состоятельной) послужило главным критерием отбора. Нам кажется, что публикуемое открывает многие чрезвычайно важные для россиеведения вещи. Более того, представляет собой целую серию открытых. Поэтому эти тексты нельзя «выкинуть» из нашего понимания России. Точнее, *понимание* без этих идей, наблюдений, оценок, объяснений и проч. уже невозможно. Мы, конечно, не предлагаем за ними «следовать», но настаиваем: их следует знать и учитьывать.

Подчеркнем: все собранные в «Хрестоматии...» тексты появились в последние 10–15 лет. Что свидетельствует: социально-гуманитарные науки, которые все это время у нас обвиняли в несостоительности и объявляли ненужными, находились на подъеме. Разительно в этом смысле отличаясь от состояния того «предмета», анализом которого занимались. Подобный всплеск россиеведческих исследований (такой силы, полноты, такого качества) наблюдался еще в начале XX в., после революций и падения «старого режима». Правда, большей частью за рубежами страны: только там была возможна вольная русская мысль. Видимо, социальные катаклизмы, губительные для нашей страны и ее людей, дают мощный импульс изучению, обдумыванию прошлого и настоящего России. История, втягивая мыслящую «публику» в свой водоворот, подстегивает мысль, просвещает лучше, чем иные учебники.

Нам представляется, что исследования, вошедшие в «Хрестоматию по россиеведению», – такое же достояние нашей науки, как и работы русских мыслителей начала XX в.

И.И. Глебова

**ИСТОРИЯ –
ОПЫТ –
ТРАДИЦИИ**

Л.В. МИЛОВ

***К ХАРАКТЕРИСТИКЕ РОССИЙСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ¹***

Природно-климатический фактор имел важнейшее влияние на характер и темпы развития человеческого общества вообще и на характер и темпы развития тех или иных его социальных формирований, охватывающих племена или народы, или целостные государственные образования и государства. Причем это влияние прослеживается не только в том случае, когда разница в природно-климатических условиях резко контрастна и поэтому вполне очевидна (например, страны долин Нила, Двуречья, с одной стороны, и страны Европы – с другой), но и при отсутствии столь резкого контраста (например, Запад Европы и Восток Европы)… Разница в темпах развития человеческих сообществ на Западе и Востоке Европы прослеживается хотя и в рамках одной общественно-экономической формации, но вместе с тем она глубоко принципиальна и носит фундаментальный характер. Речь идет о разных типах феодального общества, о разных темпах их развития.

Важнейшей особенностью сельского хозяйства большей части Российской государства всегда был необычайно короткий для земледельческих обществ рабочий сезон. Он длился с половины апреля до половины сентября (а по новому стилю – с начала мая до начала октября)... В то же время на Западе Европы на полях не работали лишь декабрь и январь. Это не бросающееся в глаза в суете повседневной жизни различие носит между тем фундаментальный характер, поскольку столь серьезная разница производственных условий и, следовательно, открывшихся для человека возможностей в удовлетворении потребностей радикальным образом влияла на экономическое, политическое, культурное развитие Запада и Востока Европы.

На Западе Европы это обстоятельство обусловило на заре цивилизации интенсивный процесс трансформации общины как формы производ-

¹ Печатается по: Милов Л.В. К характеристике российской государственности // Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. – М.: РОССПЭН, 2001. – С. 554–572.

ственного сотрудничества коллектива индивидов в общину лишь как социальную организацию мелких земельных собственников-земледельцев. Раннее упрочение индивидуального крестьянского хозяйства стимулировало раннее появление частной собственности на землю, активное вовлечение земли в сферу купли-продажи, появление возможности концентрации земельной собственности, формирование крупной феодальной земельной собственности.

Результатом такой эволюции было становление своеобразного типа государственности, которому практически не были свойственны хозяйственно-экономические функции. Роль этого государства даже в создании так называемых всеобщих условий производства всегда была минимальной. При таком типе эволюции центр тяжести развития всегда был как бы «внизу»: в крестьянском хозяйстве, в хозяйстве горожанина-ремесленника и купца. Феодальной сеньории и городской коммуне была свойственна максимальная активность их административной, социальной и социокультурной функции.

В конечном счете именно отсюда проистекало удивительное богатство и разнообразие форм индивидуальной деятельности, бурное развитие культуры, искусства, сравнительно раннее развитие науки. Нет необходимости упоминать о фундаментальном основании этих процессов: быстрым и широком развитии ремесла и торговли, раннем формировании капитализма и т.д.

Разумеется, мы, выделяя лишь основную тенденцию этого типа развития, не должны забывать и о конфликтности ситуаций, возникавших в разное время в сложном переплетении национальных, конфессиональных и политических интересов групп, сословий, слоев и народов.

В пределах Восточно-Европейской равнины необычайная кратковременность цикла земледельческих работ русских крестьян усугубляется преобладанием малоплодородных почв. В таких условиях для получения минимального результата необходима была наибольшая концентрация труда в относительно небольшой отрезок времени. Однако индивидуальное крестьянское хозяйство не могло достигнуть необходимого уровня концентрации трудовых усилий в объективно существовавшие здесь сроки сельскохозяйственных работ. Так называемые «ритмы климата» в виде относительного потепления или, наоборот, сравнительного похолодания не могли существенно влиять на веками утвердившиеся сроки тех или иных работ. Они всегда были необычайно краткими.

Отсюда необходимость для российского крестьянина высоких темпов работ, крайнего напряжения сил, удлинения рабочего дня, использования детского труда и труда стариков. Однако и при этом чаще всего русский крестьянин не достигал необходимой степени концентрации труда. Усугубляло ситуацию и отсутствие необходимого времени для обязатель-

ной заготовки корма для скота, необходимые объемы которого намного превышали подобные заготовки других регионов и были обусловлены длительностью стойлового содержания животных.

Следствием этого была невысокая аграрная культура, низкая урожайность и низкий в конечном счете объем совокупного прибавочного продукта общества вплоть до эпохи механизации и машинизации этого вида труда. Все это, казалось бы, создавало условия для многовекового существования в этом регионе лишь сравнительно примитивного земледельческого общества.

Вместе с тем потребности более или менее гармоничного развития социума выдвигали к жизни, порождали своего рода компенсационные механизмы выживания.

Крайняя слабость индивидуального парцельного хозяйства в условиях Восточно-Европейской равнины была компенсирована громадной ролью крестьянской общины на протяжении почти всей тысячелетней истории русской государственности. Крестьянское хозяйство как производительная ячейка так и не смогло порвать с общиной, оказывавшей этому хозяйству важную производственную помощь в критические моменты его жизнедеятельности.

Ограниченный объем совокупного прибавочного продукта в конечном счете создавал основу лишь для развития общества со слабо выраженным процессом общественного разделения труда. Однако задача гармоничного развития общества обусловила необходимость оптимизации объема совокупного прибавочного продукта, т.е. его увеличения как в интересах общества в целом, его государственных структур, так и господствующего класса этого общества. Но на путях этой «оптимизации», т.е. объективной необходимости усиления эксплуатации крестьян, стояла также крестьянская община – оплот локальной сплоченности и средство крестьянского сопротивления.

Неизбежность существования общины, обусловленная ее производственно-социальными функциями, в конечном счете вызвала к жизни наиболее жестокие и грубые механизмы изъятия прибавочного продукта в максимально возможном объеме. Отсюда появление режима крепостничества, сумевшегонейтрализовать общину как основу крестьянского сопротивления. В свою очередь, режим крепостничества стал возможным лишь при развитии наиболее деспотичных форм государственной власти – российского самодержавия.

Российское самодержавие имеет глубокие исторические корни. Суровые природно-климатические условия сделали процесс разложения первобытного общества у восточных славян необычайно длительным, растянутым на многие столетия. Существенная ограниченность объема совокупного прибавочного продукта в конечном счете диктовала и срав-

нительно ограниченную на первых этапах численность складывающегося господствующего класса. Больше того, сам облик этого класса на ранних этапах древнерусской государственности был военизированным. Ведь чем меньше объем прибавочного продукта, создаваемого обществом на ранних его этапах, тем сильнее проявляется роль насилия в процессе изъятия и концентрации этого продукта. Кроме того, длительное время даже в условиях существования раннеклассового общества и государства война все еще продолжала сохранять функции своеобразного «средства производства». Больше того, она в этом качестве спорадически выступала много позже даже у казачьих общин, сотрудничающих с обществом, обладающим минимальным объемом совокупного прибавочного продукта. На ранних этапах государственности для обычных налогово-управленческих и даже полицейских форм время еще не пришло. И потребности управления вызвали к жизни такое явление, как полюдье.

Полюдье как форма бескомпромиссного военного господства при систематическом изъятии прибавочного продукта, видимо, очень рано обнаружило тенденцию к универсальности своих функций, к перерастанию их из чисто налоговых в общегосударственные. Отсюда, вероятно, можно предположить и раннее зарождение судебных функций полюдья, и исключительность даннических видов взимания ренты на ранних этапах развития феодальной государственности, когда рента и налог слиты вместе в единое целое. Вполне возможно, что полюдье представляет собой и наиболее раннюю, зародышевую форму проявления верховной собственности на землю.

В то же время сама форма полюдья как форма «странствующей» государственной машины также была непосредственным следствием общей ограниченности объема совокупного прибавочного продукта. К тому же общая его ограниченность усугублялась специфически экспортной формой его весьма существенной по объему части (воск, мед, меха и т.п.), что вызывало громадные государственные и людские издержки при его сбыте, превращающемуся, по словам Константина Багрянородного, в «многострадальное, страшное, трудное и тяжелое плавание» в Византию.

Динамичность «странствующей» государственной машины в немалой степени содействовала становлению такого типа феодального государства, в котором, по крайней мере в период полюдья, глава его был конкретным вершителем дел на местах. Подобное положение способствовало сосредоточению в его руках огромной власти и энергичному совершенствованию механизма изъятия и централизованного перераспределения ограниченного по объему совокупного прибавочного продукта.

Видимо, так же как и в центральноевропейских государствах, важную роль сыграла при этом созданная раннефеодальным государством система, получившая в новейшей историографии название служебной ор-

ганизации, важнейшей функцией которой было обслуживание потребностей господствующего класса. Такого рода структуры были призваны создать альтернативу системе крупного феодального землевладения и укрепить тот тип государственности, где дуализм, т.е. соотношение частнособственнических тенденций и элементов общественного землепользования, был в относительном равновесии. Итогом всех этих существенных особенностей развития восточнославянского социума был тот специфический строй, который в нашей литературе получил определение «государственного феодализма».

Важнейшим элементом такого строя был институт «власти-собственности», обнаруживающий себя, в частности, в синкретизме институции «князь» (с одной стороны, это глава государства, персона, а с другой стороны, это само государство, его казна и т.д.). Видимо, в Киевском государстве в первый период его существования в силу этого не было и княжеского домена. Передача наследства сыновьям киевского князя – это передача власти-собственности в виде удела, во главе которого наследник становился суверенным главой, со всеми имущественными следствиями.

Это обстоятельство и вызвало столь странную так называемую феодальную раздробленность, при которой сложилась иерархия удельных князей, очередность восхождения их на киевский стол, единое законодательство. И только спустя столетия, после укоренения киевских наследников в Севере-Восточной Руси, в механизм деления «власти-собственности» включаются и элементы действительного процесса феодальной раздробленности, в конце концов погубившего Древнюю Русь.

Возрождение русской государственности проходило в многовековой и мучительной борьбе как с иноземным тягчайшим игом, так и бурно развившейся феодальной раздробленностью. И вновь объективная реальность существования русского социума в суровых природно-климатических условиях Восточной Европы включила в действие по сути дела те же механизмы самоорганизации общества с минимальным объемом совокупного прибавочного продукта.

Частнособственническое землевладение господствующего класса никогда не было в России ведущей формой земельной собственности. В системе «государственного феодализма» верховная собственность на землю оставалась у государства, а крестьяне были «держателями» земли, обязанными перед государством: налогами, оброком и натуральными повинностями. В отдельных регионах в определенные эпохи такая «государственная земля» могла превращаться в фактическую собственность «государственных крестьян», оставаясь при этом всегда в орбите экономических отношений внутри этого сословия. И даже в XIX веке государь особо не различал домен и государственные земли...

Что же касается феодалов, то в их распоряжении всегда была лишь часть территории Русского государства, хотя и важнейшая часть. На заре государственности длительный период времени они имели на правах частной собственности лишь села-усадьбы, т.е. основные резиденции, где были жилище и хозяйственный комплекс. Большая же часть средств к существованию феодала поступала через государственные каналы.

В послемонгольский период феодальное землевладение развивалось, видимо, быстрыми темпами, но обладало малым запасом прочности. Будучи, как правило, дарованным феодалу государством, население того или иного села или деревни относилось к нему не как к хозяину, а как к господину, насиливо владеющему землей и строениями и вынуждающему крестьян платить ему оброк и нести повинности. На Руси долгие столетия владельческие крестьяне, объединенные в общины, считали землю, на которой живут, платят с нее налоги и выполняют повинности, по сути дела, своей землей, а не землей феодала, на которую они бы добровольно пришли и которую обрабатывали бы, вознаграждая феодала-хозяина за кров и ту же землю. Следовательно, здесь не было своего рода равновесия отношений крестьянина и вотчинника. Именно это равновесие и создавало на Западе Европы тот баланс взаимных интересов крестьянина и феодала, который придавал сеньории известную прочность. И эта прочность была тем выше, чем тверже были права феодала на землю.

Наследники Ивана Калиты вполне понимали непрочность результатов многотрудной деятельности московских князей по приращению территории Великого княжества Московского, по созданию единого государства. Видимо, не следует переоценивать и такой фактор, стимулирующий объединение княжеств, как рост торгово-экономических связей, хотя, безусловно, он имел немалое значение. Решающим же обстоятельством, стимулировавшим объединение княжений, конечно, были задачи политического характера: свержение ордынского ига и воссоздание Русского государства. Однако по достижении этой цели в конце XV – начале XVI века (разумеется, в первом приближении к ней) политическая элита, видимо, осознала реальную ограниченность во времени действенности этих факторов: ведь их влияние как стимулов к объединительной деятельности для тысяч феодалов неизбежно ослаблялось по мере реализации этих целей. На первый план резко выдвинулись задачи упрочения, цементирования нового политического формирования, в котором по-прежнему общество оставалось внутренне рыхлым, непрочным, как любое феодальное общество, где еще не созрели условия для внутренней относительной прочности каждой вотчины, где еще не возникла новая система феодальной иерархии, которая сплотила бы господствующий класс.

Исторически выход был найден в форсировании развития условной формы феодального землевладения – той формы, которая, будучи консти-

тиуированной государством, влекла за собой резкое усиление политico-экономической роли этого государства, ставила каждого помещика в прямую зависимость от государя, от центральных властей, сделав факт обладания землей лишь следствием его верной службы (и прежде всего военной и государственной) великому князю Московскому, а позднее царю. Больше того, примерно с середины XVI века и обладание вотчиной было для каждого феодала обусловлено службой царю, хотя вотчина по-прежнему была несравненно более полной формой собственности, чем поместье.

Наиболее стремительные темпы преобразования земельной собственности феодалов характерны, с одной стороны, для последней трети XV века, с другой – для эпохи правления Ивана IV. Присоединение к Москве Великого Новгорода закончилось массовой ликвидацией огромного количества вотчин, выселением их бывших владельцев в другие районы страны и насаждением в новгородских землях почти сплошь поместной формы землевладения, хотя на первых порах обладатели этих поместий не всегда ощущали себя уже не как вотчинники. Точно так же и в правление Ивана Грозного феодальное землевладение, принципы которого были теперь укреплены и упорядочены реформами 1550-х годов, стремительно развивалось именно как поместное землевладение. Думается, что столь скоротечные и широкомасштабные преобразования были бы где-нибудь на Западе Европы просто невозможны. И не потому, что Западу была не свойственна жестокость Грозного, а потому, что там сильнее была сословная корпоративность дворянства и прочнее была внутренняя устойчивость сеньории. Кроме того, за плечами грозного царя была и могучая система «государственного феодализма».

Энергичные, насильтственные реформы земельной собственности, проводившиеся, в частности, во второй половине XVI века с особой жестокостью, повлекли за собой серьезные осложнения внутриполитической и экономической жизни страны. В свою очередь, и сами они были усугублены войнами, которые вел Иван Грозный. В итоге страна шаг за шагом вползла в тяжелый экономический и социальный кризис, сопровождавшийся упадком хозяйства, голодом, запустением и т.п.

Резкое и стремительное выдвижение помещичьего класса на ведущую роль в государстве подогрело политические амбиции казачьей пролетариатии общества. С прекращением царствующей династии Рюриковичей в конечном счете в стране в начале XVII века началась жестокая борьба за место в среде господствующего класса-сословия, отягощенная бурным выступлением социальных низов. Это была своего рода «гражданская война», известная в литературе как эпоха «Смуты»... И тем не менее кардинальные цели господствующего класса даже в условиях жесточайшего кризиса были решены. Созданы были основы жестокого механизма извлече-

чения совокупного прибавочного продукта. Внедрена была система поместной формы землевладения. К первой половине XVII века, по мнению ряда исследователей, поместья составляли уже около 60% всего частно-владельческого фонда земель.

Несмотря на явное стремление владельцев поместий превратить их в вотчины и избавиться от экономической неэффективности поместий как формы хозяйствства, ярко обнаружившей себя в годы кризиса, буквально все правительства России, оберегая общество от новых потрясений, явно уклонялись от каких-либо кардинальных решений и не форсировали обратного преобразования поместий в вотчины. Слишком важна была условная система землевладения для политического укрепления системы самодержавной неограниченной власти монарха, для формирования дворянства как основы незыблемого государственного единства. В конечном счете переход поместий в статус вотчины растянулся на период, занявший более столетия. Более мощные хозяйствственные потенции вотчины, обнаружившие себя в период упадка экономики после Смуты, и прежде всего явные предпочтения крестьян, отдаваемые этой форме хозяйства, стали основой крепостничества не только как жесткой формы эксплуатации, но и вместе с тем как системы выживания на основе отношений патернализма в неблагоприятных условиях жизни российского социума. Будучи слитой с крестьянской общиной, она положила начало прочнейшему режиму самодержавного государства.

Характернейшей особенностью российской государственности являются ее хозяйственно-экономические функции. Как уже говорилось, потребность в деспотической власти была первоначально обусловлена политически (борьба с монголо-татарским игом и внешней опасностью), а потом и экономически. Ведь помимо функций изъятия прибавочного продукта и усиления эксплуатации земледельца, «государственная машина» была вынуждена форсировать и процесс общественного разделения труда, и прежде всего процесс отделения промышленности от земледелия, ибо традиционные черты средневекового российского общества – это исключительно земледельческий характер производства, отсутствие аграрного перенаселения, слабое развитие ремесленно-промышленного производства, постоянная нехватка рабочих рук в земледелии и их отсутствие в области потенциального промышленного развития.

Отсюда необычайная активность Русского государства в части создания так называемых «всеобщих условий производства». В XVI–XVII веках это строительство пограничных крепостей-городов, оборонительных циклопических сооружений в виде засечных полос, крупных металлургических производств для выпуска оружия и средств сооружения тех же засечных полос, в XVIII веке на первый план выступает необходимость строительства огромных каналов, сухопутных трактов, возведения заво-

дов, фабрик, верфей, портовых сооружений и т.п. Без принудительного труда сотен тысяч государственных и помещичьих крестьян, без особого государственного сектора экономики совершить все это было бы просто невозможно. Следует подчеркнуть, что в условиях России, и в частности огромных территорий, функционирование многих отраслей экономики без важнейшей роли ее государственного сектора, устранивавшего безжалостные механизмы стоимостных отношений, было невозможно на всем протяжении российской истории.

Реализация всех этих функций в конечном счете не может не вызвать изумления, ибо минимальный объем совокупного прибавочного продукта объективно создавал крайне неблагоприятные условия для формирования государственной надстройки над компонентами базисного характера. Речь идет о том, что даже в Петровскую эпоху господствующий класс в лице так называемого неподатного населения составлял не более 6–7% от населения страны. А ведь основная часть этой группы являлась своего рода несущей конструкцией всей структуры самоорганизации общества (административное и хозяйственное управление, судебно-правовое регулирование, финансы, внутренняя и внешняя безопасность, религиозно-культурная и идеологическая функции и т.п.). Столь незначительная численность этого слоя (а к концу XVIII века она была такой же и лишь к реформе 1861 г. достигла едва 12%) ярко символизирует крайнюю упрощенность самой российской системы самоорганизации российского общества. И не случайно, что в силу этой упрощенности из функций самоорганизации общества в начале XVIII века и в более ранние эпохи (когда этот слой был еще меньше) резче всего проявляли себя военная, карательно-охранительная и религиозная. А государственные рычаги, несущие функции управления, уходили в толщу многочисленных структур общинного самоуправления города и деревни...

Вся история русского народа и специфичность ведения земледельческого хозяйства не способствовали вызреванию сколько-нибудь твердых традиций частной собственности на землю. Это, видимо, составляло на протяжении большого периода важнейшую особенность российской государственности. Не исключено, что эта особенность надстройки общества во многом предопределила и специфику положения иных народов России, которое было нередко более благоприятным, чем положение русских.

Констатация примитивности структур самоорганизации российского общества позволяет подчеркнуть парадоксальность успеха ряда выдающихся эпох в его истории. Прежде всего это эпоха Петра Великого. Великий преобразователь сделал гигантский вклад в создание могучей России... Главное свое достижение он гордо назвал Империей. Однако это был, скорее, некий «симбиоз» империи и деспотии, социально-политичес-

кий организм, где центральное звено – Великороссия и ее крестьянство – не имело практически никаких привилегий...

Великий вклад преобразователя – создание в государстве промышленного производства, способствовавшего гигантскому скачку в развитии производительных сил страны. Однако заимствование «западных технологий» таким архаическим социумом, как Россия, дало вместе с тем и чудовищный социальный эффект: были вызваны к жизни еще более жестокие, более грубые формы эксплуатации, чем самые суровые формы феодальной зависимости, появились люди, являющиеся принадлежностью фабрики и продающиеся вместе с ней...

В то же время нельзя не признать, что чисто эволюционное развитие в весьма своеобразных природно-климатических условиях имело своим результатом лишь веками бытовавшие слабые ростки так называемых неадекватных форм капитала с присущим им относительно высоким уровнем оплаты труда, господством поденной и краткосрочной форм найма и ничтожной возможностью капиталистического накопления и расширения производства. В силу этого уровень промышленной прибыли на протяжении длительного исторического периода уступал в России размерам торговой прибыли, а удачливые предприниматели-промышленники были, как правило, прежде всего купцами.

Когда же во второй половине XIX века капитализм в России стал быстро развиваться при активнейшем содействии государства, мелкое производство так и не получило широких масштабов развития. В стране очень рано и весьма стремительно развивалось прежде всего крупное промышленное производство, набирал силу процесс его очень ранней монополизации. Думается, что природно-географический фактор, и в первую очередь необъятное пространство России, сыграл в этом далеко не последнюю роль...

Более гибкой была парадоксальная политика Екатерины Великой, положившая конец традиционной политике «насильственного» посоловского «разделения труда». Четко осознавая бедственное положение крестьян исторического ядра России, она развернула широкую кампанию законодательного поощрения крестьянской торговли и промышленности. Но поскольку продукция земледелия Нечерноземья оставалась общественно необходимой, то удержать крестьянские массы на земле можно было только общим усилением режима крепостного права...

Таким образом, развитие государственных структур, государственного хозяйства и «государственной машины» было обусловлено двумя ведущими факторами. Один из них связан с проблемами оптимизации объема совокупного прибавочного продукта, другой – с внешней, оборонительно-наступательной функцией государства.

Оборонительно-наступательная функция в истории Российского государства обуславливалась по крайней мере тремя основными факторами. Первый из них уходит корнями в далекое прошлое, в эпоху монголо-татарского нашествия, когда единое Русское государство, раздробленное на удельные княжения, пало не только под натиском сильнейшей армии монголо-татарской Орды, но и под военным напором католической Польши и молодого языческого Литовского государства. Судьба русских людей, оказавшихся под верховной властью самых различных суверенов, сложилась по-разному. История распорядилась так, что раньше других обрела свободу Северо-Восточная Русь. И с тех пор стратегическая задача воссоединения древнерусских земель была для нее одной из важнейших...

Второй важнейший фактор развития оборонительно-наступательной функции государства связан с природно-климатическими условиями страны. Как уже говорилось, обилие малоплодородных почв, необычайно короткий сезон земледельческих работ имели своим следствием постоянный «недобор» урожая, что в конечном счете и обусловило низкий объем совокупного прибавочного продукта. Однако общество в целом еще в далеком прошлом приспособилось к суровым условиям хозяйствования сохранением традиционных распорядков сельской жизни. Крестьянская община на протяжении тысячи лет Российской государственности являлась важнейшим средством защиты крестьянского хозяйства от множества житейских неожиданностей, ведущих крестьянскую семью к разорению, нищете и смерти. Община не только спасала миллионы крестьян от пауперизации, она в значительной мере содействовала сохранению генофонда русского населения (впрочем, не только русского, но и других народов России).

В свою очередь, крайне экстенсивный характер земледельческого производства и объективная невозможность его интенсификации привели к тому, что основная историческая территория Русского государства не выдерживала увеличения плотности населения. Отсюда постоянная, существовавшая веками, необходимость оттока населения на новые территории в поисках более пригодных пашенных угодий, более благоприятных для земледелия климатических условий и т.д. Объективные условия плотной заселенности Европы открывали для русских лишь путь на Юг, Юго-Восток и Восток Евразийского континента, путь опасный, трудный, но единственно возможный.

Колонизация Юга и Юго-Востока имела благотворное влияние на развитие Центра России. За более чем столетний период (1744–1857) население Промышленного Центра и Черноземного Центра увеличилось в 1,6 раза, а население Среднего и Нижнего Поволжья, Приуралья, Пермского края, Южного Урала и Оренбурга – в 4 раза. Даже при неизменном размере душевого высеива зерна масса товарного хлеба, идущего с Юга и Юго-Востока в Центр, постоянно возрастала. В то же время земледельче-

ская роль Нечерноземья менялась. Исследование автором этих строк механизма функционирования единого аграрного рынка Европейской России в 90-х годах XIX века показало, что колебания урожайности в каждой из нечерноземных губерний практически не влияли на динамику местных цен, не говоря уже о том, что эти колебания никак не воздействовали на динамику цен в черноземных, южных и юго-восточных губерниях страны. Это означало, что рост занятых в промышленности Центра России в немалой степени обусловлен расширением территории, расселением русских людей на новых землях и включением в единую экономику других народов Российского государства. Однако то и другое доставалось далеко не просто, так как на протяжении XIX – начала XX века валовой душевой сбор постоянно балансировал на грани допустимого минимума, иногда опускаясь и ниже...

Наконец, третий фактор, стимулирующий оборонительно-наступательную функцию государства, связан с необходимостью выхода России к незамерзающим портам... Такая земледельческая держава, как Россия, рано или поздно должна была развернуть крупномасштабную торговлю продуктами земледелия, т.е. крупногабаритным товаром, продаваемым оптом. А транспортировать такие товары можно было только водными путями... Уже к концу царствования Петра I Петербург стал самым крупным торговым портом, а торговля через Архангельск была сокращена в 12 раз. Вторым по значению стал торговый Рижский порт, открывший ворота для потока товаров черноземных районов России, тяготеющих к Верхней Оке. К концу XVIII века крупнейший перевалочный центр на пути сельскохозяйственной продукции этих регионов к Западной Двине – Калуга – превратился в крупнейший город России. Освоение южных степных районов, присоединение Крыма к России открыло возможность строительства черноморского торгового флота... Борьба за развитие экономики России была борьбой за Черное море, и не только с Турцией, но и с ведущими державами Европы...

В основе многовекового формирования Российского государства был важнейший фактор – русский народ, и прежде всего великорусское крестьянство, особый менталитет которого формировался под мощным воздействием природно-климатического фактора... Многовековой опыт российского земледелия, по крайней мере с конца XV по начало XX века, убедительно показал практическое отсутствие сколько-нибудь существенной корреляции между степенью трудовых усилий крестьянина и мерой получаемого им урожая. Точнее говоря, мера трудовых усилий подтверждалась не всегда, а часто – далеко не всегда, соответствующей прибавкой урожая...

Господство на большей части территории Российского государства крайне неблагоприятных климатических условий, нередко сводящих на

нет результаты тяжелого крестьянского труда, закономерно порождало в сознании русского крестьянина идею всемогущества в его крестьянской жизни Господа Бога. Труд – трудом, но главное зависит от Бога («Бог не родит, и земля не дает», «Бог народит, так и счастьем наделит», «Не земля хлеб родит, а небо», «Бог – что захочет, человек – что сможет» и т.д.).

Крестьянское восприятие природы – это прежде всего постоянное, бдительное и сторожковое отслеживание изменений, фиксация работы разнообразных природных индикаторов, сигнализирующих селянину о грядущих изменениях, о грозящей или возможной опасности благополучию крестьянской семьи, дома, хозяйства. Глубочайшее и доскональное знание разнообразных природных явлений позволяло крестьянину приспосабливаться к тем или иным годовым, сезонным и сиюминутным изменениям климата. Многочисленные приметы поведения представителей животного и растительного мира давали крестьянину сигналы о характере сезонов и их смене, о благоприятности условий и времени посева и сбора урожая, прогнозах на сам урожай; они же «предсказывали» болезни и смерть близких и т.п...

Вполне возможно, что именно эти явления постоянно пробуждали в крестьянском менталитете чисто языческие эмоции локального поклонения объектам природы (типа архаичных обрядов моления у овина, у воды, у дерева и т.д.), что способствовало причудливому переплетению многих праздничных ритуалов господствовавшего в России христианского вероучения с языческими суевериями и обрядами. Думается, что масштабы столь своеобразного «синкрезизма» для христианской страны, какой была Россия, поистине огромны. И суть дела заключена не в необыкновенной силе традиции язычества, к которому изначально приспособилась христианская православная церковь, а в живучести языческого менталитета русского крестьянина, который питали могучие природно-климатические факторы...

Поэтому христианизация на Руси весьма своеобразно отразилась на менталитете крестьянина: в нем поселился не только христианин, но и сохранился язычник. Это не означает, что русский крестьянин не принял основные догматы православного христианства. Наоборот, многочисленные свидетельства XVIII–XIX веков говорят о том, что русский народ искренне исповедовал христианство. Однако необычайно суровые климатические и природные условия, вечная сверхнапряженная ситуация ожидания хоть мало-мальски приемлемого результата чрезвычайно тяжелого труда, обилие воздействия разного рода факторов на этот результат порождали «языческую самодеятельность», погружая русского крестьянина в бездонный мир суеверий, примет и обрядов.

Думается, что своеобразие менталитета российского крестьянства имело немалые политические следствия. Одно из них: максимальная кон-

тактность с народами иных конфессий, что имело громадное значение в практике масштабных миграционных подвигов и мирном проникновении на новые территории русского населения. Вместе с тем вполне очевидным становится и то, что без государственного статуса, без поддержки государственной машины российская православная церковь не имела бы серьезных перспектив всепоглощающего влияния на крестьянство. В конечном счете именно христианское православие отвечало духовным потребностям социума с минимальным объемом совокупного прибавочного продукта, с общинной структурой консолидации в противостоянии природе и внешним врагам...

Отсутствие значимой корреляции между мерой трудовых затрат и мерой получаемого урожая в течение многих столетий не могло не создать настроений определенного скептизма к собственным усилиям, хотя они затрагивали лишь часть населения. Немалая доля крестьян была в этих условиях подвержена чувству обреченности и становилась от этого отнюдь не проворной и трудолюбивой, проявляя безразличное отношение к собственной судьбе.

Такова была реальность. Таковы были косвенные следствия влияния на ментальность природно-климатического фактора. Приходится только удивляться, что категория равнодушных, не верящих в свои силы людей, да и просто опустившихся была незначительной. Что в целом народ русский даже в годину жестоких и долгих голодных лет, когда люди приходили в состояние «совершенного изнеможения», находил в себе силы и мужество поднимать хозяйство и бороться за лучшую долю.

У подавляющей массы населения всегда были живучи традиции колlettivизма и взаимопомощи, хотя у любого крестьянина одновременно никогда не исчезала и естественная тяга к личному, частному способу ведения хозяйства. В крестьянской психологии в России во все времена идея принадлежности земли Богу, а стало быть, обществу в целом, была ведущей, основной идеей...

С момента концентрации крестьянских хозяйств и дворов в много дворные деревни и села резко возрастает процесс демократизации общин, который усиливается и обретает силу в качестве защитной функции с ростом крепостнической эксплуатации. Систематическая практика «помочь» и даже барщинные работы целыми бригадами на господских полях также стимулировали чувство колlettivизма.

Взятые в целом, все эти факторы механизма выживания определенным образом повлияли на характер российской государственности и прежде всего породили всемогущество и жестокость власти российских самодержцев и сопутствующий ей суровый режим внутреннего подавления сословий. Самым тяжелым было положение крестьянства, единственным оружием которого была локальная сплоченность общинного мира. Когда

К характеристике российской государственности

же эта сплоченность стала разрушаться рынком, судьба общества в целом была поставлена под сомнение...

В силу различия природно-географических условий на протяжении тысячи лет одно и то же для Западной и Восточной Европы количество труда всегда удовлетворяло не одно и то же количество «естественных потребностей индивида». В Восточной Европе на протяжении тысячелетий совокупность необходимых потребностей индивида была существенно больше, чем на Западе Европы, а условия для их удовлетворения гораздо хуже. Иначе говоря, объем совокупного прибавочного продукта общества в Восточной Европе был всегда значительно меньше, а условия для его создания значительно хуже, чем в Западной Европе. Это объективная закономерность, отменить которую человечество пока не в силах. Именно это обстоятельство объясняет выдающуюся роль государства в истории нашего социума как традиционного создателя и гаранта «всеобщих условий производства».

Э.С. КУЛЬПИН

**СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС XV ВЕКА
И СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ¹**

Существенную роль в жизни цивилизаций играют географические, климатические, демографические и прочие природные факторы. Изучение взаимных влияний общества и природы в рамках социоестественной истории позволяет глубже понять специфику исторического развития цивилизаций, рельефнее обрисовать картину переломных периодов, слабо освещенных письменными источниками. В частности, в подобных уточнениях, на мой взгляд, нуждается история средневековой Руси.

«Татарское иго» – период прозябания или экономического благодеяния?

По замечанию В. Ключевского, стержневым процессом российской истории была колонизация новых земель. В XII–XV веках зона освоения переместилась с южных (позднее украинских) на северо-восточные, собственно российские земли. Надо отметить, что освоение славянами центра и севера Русской равнины шло двумя потоками. Колонизация была крестьянской и княжеской. Крестьяне бежали от княжеской власти. Следом двигались князья и сажали на новые земли зависимых от себя людей. Крестьяне двигались вдоль рек, в поймах которых вели интенсивное земледелие, а также углублялись в леса, где вели комплексное хозяйство, в основе которого были охота, собирательство и экстенсивное кочевое подсечно-огневое земледелие. Крестьянская колонизация шла по рекам – естественным путям сообщения, используя летом самый дешевый во все времена водный транспорт, а зимой – санный. По рекам строились города, села, деревушки, отдельные рыбачьи и охотничье хижинки. Распахивались мысы рек и пойменные луга, которые в зоне неустойчивого земледелия были

¹ Печатается по: Кульпин Э.С. Социально-экологический кризис XV века и становление российской цивилизации // Общественные науки и современность. – М., 1995. – № 1. – С. 88–98.

более доступны к освоению и давали наиболее устойчивые урожаи при тогдашней крайне низкой агротехнике. Основой плодородия была почва – наносные, аллювиальные отложения, ежегодно обновляемые илом во время паводков.

Князья предпочитали большие пространства свободных от леса земель – *ополий* и расширяли их сведением под пашню лесов. Технология земледелия, применяемая при княжеской колонизации, в отличие от крестьянской, была интенсивной – двух- и трехполье. Такая технология позволяла осуществлять концентрацию населения на небольших территориях, что и давало возможность княжеской администрации держать под своим контролем крестьян.

Монгольское нашествие XIII века внесло корректизы в интенсивность и характер обоих колонизационных процессов. Монгольский каток проехался по *княжеским опольям*, но не мог сколько-нибудь существенно затронуть бедные и малочисленные селения, созданные в ходе крестьянской колонизации. На первых порах после нашествия княжеская власть была сильно ослаблена. Дружины князей (пожалуй, единственный в то время инструмент власти, поскольку церковь еще не была в состоянии оказывать сильное воздействие на умы людей) сильно поредели после кровопролитных сражений с кочевниками. Наступил период, возможно, максимальной независимости личности от власти в Восточной Европе.

Известно, что во время так называемого «татаро-монгольского ига» крестьянская колонизация успешно продолжалась. Однако теперь она была почти полностью переориентирована на экстенсивное кочевое подсечно-огневое земледелие. Стали осваиваться леса. В местах концентрации княжеской власти было тягостно от повинностей и неспокойно от междоусобиц, столь часто разрешаемых с помощью отрядов, которые князья вызывали из Орды. Население городов и вокруг них росло много медленней, чем в лесах. В XV веке 70% населения Северо-Западной Руси жило в лесных деревнях – в одно- двухдворках, всего же в лесных поселениях – в одно-двух и трех- четырехдворках – было сосредоточено 89% населения Руси. Специфический кочевой тип хозяйствования при подсечно-огневом земледелии делал крестьян если не полностью, то в значительной степени независимыми от власти бояр и князей. В населенных пунктах вне леса, насчитывающих более 50 дворов, жили 0,1% населения¹.

Из этих данных, полученных в результате многолетних археологических раскопок и анализа писцовых книг научным коллективом под руководством А. Шапиро, недвусмысленно следует, что история Руси, которую мы знаем, есть история древнерусского города, в котором жили менее

¹ См.: Аграрная история Северо-Западной Руси: Вторая половина XV – начало XVI века. – Л., 1971. – С. 324.

0,1% населения страны, а также история князей, бояр да княжеских крестьян, которых было около 1/10 общего числа жителей¹. Подавляющее большинство населения жили иначе – вдали от гнeta бояр и князей, от яростных, кровавых и аморальных княжеских междуусобиц, в которых обязательно горели и грабились городские посады и попадавшиеся по дороге деревни, от нашествий степных карательных отрядов, наконец, от церковной пропаганды. Мы знаем о том, как жило меньшинство населения, и неправомерно распространяем наше представление о жизни меньшинства на все население, предполагая, что жизнью одной десятой русских людей жили все.

О том, как действительно жил народ, простой древнерусский человек, мы можем судить лишь по немногочисленным косвенным данным, прежде всего исходя из закономерностей жизни в эпоху подсечно-огневого земледелия и соответствующего типа поселений. Подсечно-огневое земледелие, как утверждает его исследователь археолог В. Петров, не просто определенная технология. Оно требует особого образа жизни и воспитывает специфический характер. Прежде всего земледелец должен иметь глубокие знания о жизни леса во всех ее проявлениях. Крестьянин должен быть не только и не столько земледельцем, сколько охотником, собирателем даров природы, постоянно наблюдающим округу радиусом в 50 км. Таковы размеры вмещающего ландшафта, жизненного пространства одной семьи. Этую территорию крестьянин должен был знать, как свои пять пальцев, изучить и запомнить, что, как и где растет, какие где почвы и какова гидрология, каков микроклимат в отдельных вмещающих ландшафтах. При подсечно-огневом, или лесном, земледелии человек живет с лесом одной жизнью и вся названная территория – его дом, в котором при необходимости он и его семья могут укрыться от кого угодно, в том числе от государства, феодалов и иноземных захватчиков². Крестьяне в лесу жили фактически догосударственной жизнью, парными или большими семьями, вне сферы власти и давления общинны, отношений собственности и эксплуатации.

Подсечное земледелие строилось как система хозяйства, основанная на отсутствии собственности на землю и лес. При необходимости крестьянской семьи захватывался и расчищался новый участок в лесу, стволы деревьев при этом подсушивались и сжигались, зола вносилась в почву. Земля обрабатывалась мотыгой или бороновалась «суковакой», и участок был готов для эксплуатации в течение трех-четырех лет, после чего почва истощалась и необходимо было осваивать новый участок, переходя на но-

¹ См.: Шапиро А.Л. Проблемы социально-экономической истории Руси XIV–XVI веков. – Л., 1977.

² См.: Петров В.П. Подсечное земледелие. – Киев, 1968.

вое место. «После того как подсеку забрасывали... угодье вновь становилось ничейным. Подвижность крестьянина (отсутствие у него постоянного жилья) вытекала непосредственно из производственной структуры подсенного земледелия. Для крепостного крестьянина, работавшего на барина на надельной земле, подобная подвижность была исключена»¹.

Для осуществления самой трудоемкой операции при подсечном земледелии – валки леса – был нужен полный состав большой патриархальной семьи, но – что важно – не рода. Трудозатраты на единицу площади при подсечно-огневом земледелии были больше, чем при пашенном, примерно вдвое, но отнесенные к полученному урожаю, как показано ниже, они меньше в 1,5–15 раз.

Проанализировав большое число источников, Петров писал, что «почти всегда можно получить 100 пудов при посеве 3 пудов на десятину, с плодородных лесопаров... можно снять до 150 пудов ржи с десятины, посеяв пуда 2–3»². Это означало получение урожая сам-30–75 (а порой и сам-100), совершенно невероятного в условиях пахотного земледелия (правда, при использовании гораздо большей территории из-за необходимости перемещать обрабатываемые делянки с места на место).

Для сравнения: согласно писцовыми книгам, средний урожай на пашне в XIV–XV веках составлял сам-3–5, максимальный – сам-6–9, минимальный – сам-2. На лучших пойменных землях, удобляемых естественным путем – весенним илом («поилком»), средний урожай ржи был сам-4, овса – сам-3, высокие урожаи для ржи – сам-7³. Даже в XVIII веке, когда уже достаточно широко применялся в качестве удобрения навоз, средний урожай на пашне – сам-3, на паре – сам-6.

Приведенные данные позволяют сделать вывод: *неурожай* на десятине подсеки соответствовал в Средневековье *хорошему* или даже *максимальному* урожаю на десятине пашни! В рассматриваемое нами время для семьи из пяти человек нужно было 75 пудов зерновых. При плохом урожае в условиях подсечно-огневого земледелия (сам-10 на «кубышах») получали 40 пудов с десятины⁴. В этом случае на семью нужно было засевать две десятины. При пожоге векового леса для семьи достаточно было одной десятины. Согласно технологии подсечно-огневого земледелия, минимальный размер одной новины (нивы, ляды) составлял 0,75 десятины. Известно, что одна семья имела не одну ниву в лесу, а несколько. Таким образом, при подсечном земледелии крестьянин застраховывал себя практически от *любых* неурожаев. Действительно, столь частые в Средне-

¹ См.: Петров В.П. Подсечное земледелие. – Киев, 1968. – С. 13.

² Там же. – С. 90.

³ См.: Шапиро А.Л. Указ. соч.

⁴ См.: Шапиро А.Л. Указ. соч. – С. 14; Петров В.И. Указ. соч. – С. 177.

вековье голодовки имеют своим адресом не лес, а пашни, где крестьянской семье нужно было иметь минимум шесть десятин.

С точки зрения А. Черепнина и многих других историков, переход от подсечно-огневого к пашенному земледелию был благом. Особенно негативно о лесном земледелии отзыается Г. Kochin: «Подсечно-огневое земледелие, по существу, было таким, что не могло ни совершенствоваться, ни улучшаться. Экстенсивное по своему характеру, оно связывалось с хищническим истреблением лесов»¹.

С последним утверждением, конечно, нельзя не согласиться, но с первым трудно, учитывая производительность лесного земледелия – свидетельство высокой технологии. Лесное земледелие требовало того, что для нашего времени называется *сложной рабочей силой*: глубокого понимания жизни леса, знания его законов, умения творчески использовать.

Из приведенных выше аргументов следует, что в период XIII–XV веков в Северо-Восточной Руси имели место такие факторы, как:

- отсутствие дефицита плодородных земель и возможность неограниченной занятости производительным трудом и пользования благами охоты, собирательства, рыболовства;
- эксплуатация технологии, позволяющей иметь производительность труда в земледелии наивысшую за всю историю России, возможно, превышающую современную по зерноводству;
- реальная возможность вознаграждения упорного труда обеспеченным, безбедным существованием, отсутствие сколько-нибудь существенных налогов и, возможно, полное отсутствие повинностей для лесных людей;
- полная свобода землепользования при отсутствии реальной собственности на землю;

независимость подавляющего большинства населения от княжеской власти и давления общины, максимальная раскрепощенность личности.

В целом, похоже, это время было периодом *наибольшего благоденствия* для большинства живущих на территории Северо-Восточной Руси, не исключено, и всей Руси за всю историю Восточной Европы нашего тысячелетия.

Однако как такие выводы согласуются с общепринятыми представлениями о черных веках татаро-монгольского ига? Или эти представления – выдумки традиционной имперской историографии, не имеющие ничего общего с действительностью? Но исторические свидетельства летописей о кровавых междуусобицах князей, нашествиях карательных отрядов Орды, периодических, хотя и редких в сравнении с последующими веками, не-

¹ Kochin G.E. Сельское хозяйство на Руси в период образования русского централизованного государства: Конец XIII – начало XVI века. – М.; Л., 1965. – С. 129.

урожаях и голодовках, наконец, Куликовская битва вряд ли могут быть подвергнуты сомнению. Тогда мы имеем *две правды и две истории* Северо-Восточной Руси: одну для лесного человека, хозяйствующего по технологии подсечно-огневого земледелия, и вторую для князей, церкви, горожан, крестьян ополий, хозяйствующих по технологии пашенного земледелия. Первая практически никому не известна, вторая – известна всем чуть ли не с пеленок. Первая есть история большинства населения Руси, вторая – меньшинства, возможно, ничтожного, но по умолчанию (другая-то история практически не известна) распространяемая на весь этнос.

Ю. Алексеев пишет: «Борьба соперников – московских, тверских, суздальских князей – за заветный ярлык на великое княжение наполняла весь тревожный XIV век, сопровождалась поездками в Орду, унизительным выкляничиванием милостей хана, заискиванием перед его советниками (с подношением щедрых подарков), картинами кровавых расправ и вероломств.

Распоряжение великокняжеским столом, верховный арбитраж в спорах между русскими князьями – именно это, а не получение дани было самым главным, самым тяжелым признаком векового владычества ордынских ханов над Русской землей¹. Если арбитраж между десятком князей (а не дань, налагаемая на всех) был «самым главным, самым тяжелым признаком» «ига», то известная нам история Руси – это не история народа, а история десятка князей и привлеченных ими к решению своих проблем нескольких тысяч так или иначе зависимых от них людей.

Социально-экологический кризис XV века

Безопасность, устойчивость существования, высокие урожаи, получаемые при подсечно-огневом земледелии, обусловили темпы роста населения, немыслимо высокие не только для Западной Европы того времени, но и для всех стран и народов Средневековья: в XV веке население Северо-Западной Руси без малого удвоилось². Эти высокие темпы роста населения привели Русь к кризису: были исчерпаны возможности технологии подсечно-огневого земледелия, требовавшего в десятки раз больше пространств земли, чем при пахотном.

В конце XV века Русь была *вынуждена* перейти к технологии пашенного земледелия. Переход означал снижение производства зерновых – основы средневековой экономики – в 3–5 раз. Это падение произошло бы-

¹ Алексеев Ю.Г. Государь Всех Руси. – Новосибирск, 1991. – С. 64.

² Подсчитано по: Аграрная история Северо-Западной Руси: Вторая половина XV – начало XVI века. – Л., 1971. – С. 323.

стро, возможно, в ходе смены двух-трех поколений – за 40–50 лет. Ситуацию усугубило ухудшение климатических условий. После длительного периода климатического оптимума новой эры (с VIII века) в середине XVI века начался так называемый «малый ледниковый период». Переход от благоприятных климатических условий к неблагоприятным пришелся на XV век. Для любого переходного периода характерны высокая степень неустойчивости погоды, экстремальные природные явления: засухи, наводнения, бесснежные морозные зимы. В XV веке общие закономерности еще раз подтвердились. Резкое ухудшение условий существования требовало кардинальных решений.

Хозяйственный кризис, спровоцированный демографическим ростом и невозможностью далее эксплуатировать основную технологию земледелия (технологический кризис), ухудшение природных условий (для общества – это экологический кризис, для природы – лишь смена режима функционирования, но и природа испытывала стресс – антропогенизацию ландшафта) обусловили экономический, политический и идеологический кризисы. Экономический кризис выражался в падении уровня и качества жизни, политический – в неспособности господствующих слоев поддерживать прежний уровень жизни населения без радикальных социально-экономических и социально-политических реформ. Эти реформы требовали идеологического обоснования, что означало пересмотр если не всей системы ценностей, то некоторых центральных ее элементов. Все это вместе составляло социально-экологический кризис, *самый тяжелый вид* кризиса, который время от времени переживает общество. Такой кризис обязательно требует выбора нового вектора эволюции. От того, каким будет выбор, зависела судьба русского этноса и в конечном счете – суперэтноса, цивилизации.

Выйдя из леса, точнее, сведя леса, соединив селения дорогами, к середине XV века лесные в прошлом жители, возросши численно, стали сельскими, деревенскими. Одинокий лесовик, в недавнем прошлом член либо парной семьи, либо большой патриархальной семьи, стал членом созиума – соседской общины и оказался вовлеченым через церковь и государство в жизнь всего этноса. С этого момента редкая и разорванная ткань этноса стала более плотной и непрерывной. Одной жизнью начали жить и разбросанные на больших пространствах лесные люди, и люди, жившие компактно в городах и опольях. Собственно говоря, именно тогда была создана материально-пространственная основа общества. Теперь уже нельзя вести речь о двух историях этноса. История этноса становится единой.

Но и былая защищенность лесовика от внешних и внутренних врагов осталась в прошлом, а доступность обложению налогами и повинностями со стороны мелких и крупных феодалов резко возросла. При столь

быстрых переменах во многих сферах жизни человек не мог избежать стрессового состояния и не стремиться к выходу из него. Далее сработало универсальное правило: если общество не может найти выхода из кризиса (точнее, его рядовые члены не могут сами остановить падение уровня и качества жизни), оно делегирует свои права государству. Рядовой крестьянин второй половины XV века, в отличие от предков XIII–XIV веков, выбирал не между свободой и зависимостью, а перед ним был выбор подчинения: боярину, монастырю или государю.

Как показало развитие политических событий второй половины XV века, создание централизованного государства если и не отвечало прямо, то никак не противоречило желаниям большинства населения, тем более что государство на первых порах не слишком ущемляло свободного трудащегося человека.

«Центральная государственная власть не была в состоянии доходить до каждой отдельной личности» и, согласно Судебнику 1497 года, санкционировала обязательное участие в процессе принятия решений на локальном уровне представителей местных «миров»¹. Как полагает, например, Алексеев, крестьяне явно предпочитали государя вотчиннику. «Переход на черные (государственные) земли давал крестьянам свободу от власти вотчинной администрации, от выплаты ренты в пользу землевладельца. Хотя на черных землях крестьяне несли все повинности в пользу феодального государства и выплачивали налоги, а в вотчине пользовались в этом отношении льготами, в XV веке, как правило, они стремились жить именно на черных землях, отставая свою относительную свободу»².

Самодержавное русское государство в XVI веке получило неограниченные права; самостоятельность государства по отношению к обществу стала максимальной из всех мыслимо возможных вариантов тогдашнего состояния этноса. Полномочия, полученные Московским государством во время первого социально-экологического кризиса, на века (во многом вплоть до настоящего времени) определили путь развития Российского государства и общества, характер сложения суперэтноса и современный (второй по счету) социально-экологический кризис.

Государство должно было решить проблему сдерживания быстрого падения уровня и качества жизни массы населения. Решить ее можно двояко. Предложить обществу искать новую, более производительную, интенсивную технологию земледелия или ввести в оборот новые природные ресурсы, пойти по пути экстенсивной технологии. Современное государство выбрало бы первый путь, но средневековое могло предложить только второй: ограбление соседей и захват их природных ресурсов. В ре-

¹ Покровский Н.Н. От редактора // Алексеев Ю.Г. Государь Всея Руси. – С. 6, 7.

² См.: Алексеев Ю.Г. Указ. соч. – С. 57.

зультате колонизация земель, закончившаяся в Западной Европе к XIII веку, в России продолжалась еще многие века и стала стержнем всей истории страны.

Экстенсивный путь развития хозяйства и его духовные предпосылки

Для того чтобы развивать интенсивное производство, необходимы особое духовное состояние, становление этики, превращающей труд из бытовой нормы в одну из главных духовных ценностей культуры. Такая этика стала складываться в Западной Европе еще во время первичной распашки ее земель в XII–XIII веках и окончательно утвердилась в период Реформации в форме протестантской трудовой этики. Кардинальные сдвиги во всех сферах жизни, определившие переход от феодального к буржуазному обществу, стали возможны лишь после того, как труд стал самоценным, вошел в систему главных ценностей европейской цивилизации. Именно тогда значимость каждой конкретной работы стала определяться спросом и предложением на рынке, весомость же труда в глазах окружающих – его результатами, а не целями, т.е. тем, что он есть, а не тем, ради чего он совершился. В эпоху распашки XII–XIII веков превращение труда в одну из высших ценностей в Западной Европе способствовало быстрому росту уровня и качества жизни, а также установлению социально-экологической стабильности. Хотя последняя была не абсолютной, а относительной и, самое главное, кратковременной – на два с немногим века, – важно, что она была достигнута. Во всяком случае можно констатировать наличие основных ее параметров.

В Восточной Европе итоги, как известно, были иными. Социально-экологическая стабильность здесь не была достигнута прежде всего потому, что территория расселения великорусского этноса не оставалась неизменной после распашки XIV–XV веков, но с XVI века стала увеличиваться и возрастала до конца XIX века. После кратковременной экономической стабильности при Иване III, которая могла бы стать основой социально-экологической стабильности, произошло разорение земледельческих хозяйств (крестьянских и боярских) при Иване IV, а после его смерти – экономический и политический кризисы, так называемое Смутное время.

Отличия в истории европейской и российской цивилизаций в значительной мере определялись разной ролью христианской веры и монастырей в жизни соответствующих культур. Если в Европе монастыри стали первой организационной формой утверждения новой трудовой этики и подкреплявшего ее идеала «молись и работай», то в России этого не произошло. Отчасти это было связано с глубокими традициями язычества в русской народной культуре. В центре деятельности людей, в том числе священнослужителей православной церкви, еще в XV–XVI веках стояла

не трудовая, а магическая практика. «Культ мертвых, имевший такую силу в дохристианскую эпоху, сохранился в неприкосновенности до второй половины XVI века... Вера в единение мертвых с живыми и в огромное практическое значение культа мертвых была неискоренима и поддерживалась клиром... В крестьянской среде с попами конкурировали ведуны и колдуны, и чтобы выдержать конкуренцию с последними, представителям клира приходилось перенимать у них “волхования и чарования всякие...”»

От отправителей христианского культа на Руси требовалось знание языческих обычаем и магических формул. «Даже в XVII веке жили еще не только анимистические представления, но сохранялись и старинные культуры березки, домового, водяного, а местами даже Перуна и Хорса, которым подкладывались трябы. Священник мог прожить своей профессией, только пройдя всю науку волхвов». В отличие от этой «науки», которая была жизненной необходимостью, как ни парадоксально, ежедневное чтение Священного Писания и соблюдение норм христианской морали не были обязательным даже для клира. «Низший клир был малограмотным или вовсе безграмотным, учился службам со слуху», высший отличался «величайшей распущенностью». Мирянин «искал близкого бога, который был бы всегда, во всякое время и без особых трудов доступен просьбам верующего», абстрактный бог был ему непонятен. Икона была самым распространенным объектом культа. Человек обращался не к богу, а к иконе. «Иностранныцы, бывавшие в русских церквях той эпохи во время богослужения, видели непостижимую для иностранного наблюдателя картину молящихся, обращенных в разные стороны и стоящих каждый перед своей иконой. Для тогдашнего общества икона была подлинным фетишем, она видит и слышит, живет и чувствует». В оплату за заботы икона должна была помогать ее владельцу, а если не выполняла своей функции, «хозяин был вправе отказать ей в дальнейшем культе»¹.

Если к занятию волхованием рядовой священник вынужден был подходить со всей серьезностью, то христианские обряды такого подхода не требовали. В результате «на почве формального благочестия выросло своеобразное многогласие: так как службы были длинны и утомительны, а пропусков не полагалось, то, чтобы пропеть и прочитать возможно скорее все положенное по уставу, несколько причетников одновременно пели и читали молитвы и псалмы: один – одно, другой – другое. Молящиеся же, придавая всю силу именно формулам, держали себя в церкви, как на базаре, и стояли в церквях в шапках, громко разговаривали и сквернословили; попы совершали богослужения в пьяном виде, заводили между собой ру-

¹ Никольский Н.М. Реформа Никона и происхождение раскола // Три века: Россия от Смуты до нашего времени. – М., 1991. – Т. 2. – С. 7–11.

гань и драки “даже до кровопролития”¹. Разумеется, при подобных картинах говорить о сколько-нибудь глубоком приобщении русских людей того времени к одной из мировых религий просто не приходится.

Однако и в России существовали довольно влиятельные духовные движения, способствовавшие зарождению новых форм трудовой этики, соединению практики труда и спасения души. Прежде всего речь идет о традиции византийского исихазма, проявившейся в русском «нестяжательстве» XV–XVI веков. Становление этого идеологического направления в православии было связано с широким развитием монашеского движения в стране.

Ключевский отмечал, что до переломного момента в XIV веке монастырей на Руси было мало, что «первоначально они идут вслед за русско-христианской жизнью, а не ведут ее за собою, не вносят ее в пределы, дотоле ей чужды... Почти все эти монастыри ются внутри городов или жмутся к стенам, не уходя от них далеко в степную или лесную глушь», являясь «пока спутниками, а не проводниками христианства». В X–XII веках из 100 известных монастырей «лесных пустыней» было менее десятка.

Лишь «с XIV века мы замечаем важную перемену в способе распространения монастырей. Движение в лесную пустыню развивается среди северного русского монашества быстро и сильно: пустынны монастыри, возникшие в этом веке, числом сравнялись с новыми городскими (42 и 42), в XV веке превзошли их более чем вдвое (57 и 27), в XVI веке – в полтора раза (51 и 35). Таким образом, в эти три века построено было – в пределах Московской Руси – 150 пустынных и 104 городских и пригородных монастыря...

Первой хозяйственной заботой основателя пустынного монастыря было приобретение окрестной земли, обработка ее – главным хозяйственным делом собирающейся в нем братии. Пока на монастырскую землю не садились крестьяне, монастырь сам обрабатывал ее, всем своим составом, с устроителем во главе выходя на лесные и полевые работы...» Как и в Западной Европе, «монахи расчищали лес, разводили огороды, пахали, косили, как и крестьяне». Вскоре «вокруг пустынного монастыря образовывались мирские, крестьянские селения, которые вместе с иноческой братией составляли один приход, тянувшийся к монастырской церкви»².

Из приведенных положений следует, что распространение христианства среди основной массы населения было самым непосредственным образом связано с монастырской колонизацией лесов. Ключевский под-

¹ Никольский Н.М. Реформа Никона и происхождение раскола // Три века: Россия от Смуты до нашего времени. – М., 1991. – Т. 2. – С. 10.

² Ключевский В.О. Сочинения: В 9-ти т. – М., 1988. – Т. 2, Ч. 2. – С. 231–233, 237, 246.

черкивал, что колонизационные потоки крестьян и монахов шли с XIV века одновременно и в одном общем русле: они «были попутчиками, шедшими рядом либо один впереди другого». Этот колонизационный процесс вовсе не был мирным. Столкновения колонизаторов с местными землевладельцами и «сельскими обществами» были типичными. Как выше отмечалось, «пустых» земель на Руси уже не было, более того, возник *острый дефицит* земли, необходимой для лесного земледелия. Колонизаторы – монах и крестьянин пашенного земледелия – приходили на земли, уже освоенные лесными людьми, которые составляли в конце XV века основную часть населения.

Распашка лесов под пашенное земледелие осуществлялась в процессе жестокой борьбы «человека города» (т.е. людей, жизнь которых проходила вне леса: горожан, духовных и светских феодалов, монахов, крестьян ополий), человека подневольного, впоследствии «государственного», против слегка охристианенного язычника, свободного, независимого, самостоятельного, естественного хозяина леса. Человек города уходил вовсе не в «пустынь», а во вмещающий ландшафт хозяйствующего лесного человека. Человек города не понимал лесного человека, не признавал его прав, боролся с ним, лишал его традиционных средств существования. За человеком города стояла концентрированная военная сила крупных феодалов, а со второй половины XV века – государство. В целом можно говорить, что средневековый русский человек города вел себя в лесу как классический колонизатор.

Лесной человек исторически был обречен собственным демографическим ростом, разрушением равновесия между численностью населения и возможностями вмещающего ландшафта, эксплуатируемого по неизменной технологии. Он был обречен стать человеком пашенного земледелия. Но каким? С какими представлениями о мире и о себе? Здесь многое зависело от того, какими были подобные представления у человека города и ополя и каковы были идеалы и практика главной идеологической силы Средневековья – церкви.

Основной конфликт в жизни тогдашней русской церкви – борьба «нестяжателей» и «иосифлян». В этой борьбе для нас важны позиции сторон по отношению к роли труда, его месту в системе ценностей. Одной из причин столкновений между нестяжателями и иосифлянами был вопрос об обязательности производительного труда для людей, посвятивших себя Богу.

Главным идеологом *нестяжательства* был духовный наследник Сергия Радонежского Нил Сорский, происходивший из московской семьи, близкой к велиkokняжеской фамилии. Он сознательно отказался от мирской карьеры и основал свой скит вдали от поселений на р. Сорке, в низменной заболоченной местности, где летом вились тучи комаров. Созда-

ние скита имело целью восстановить утраченный в «общежительских» монастырях идеал общинной жизни, провозглашенный Сергием Радонежским и включивший в себя принципы равенства, обязательного труда и самоотречения¹. Нил Сорский в своем скиту упразднил установившиеся в других монастырях нормы подчинения рядовых монахов игумену-управителю или учителю-наставнику. Центральным в его учении был идеал общего труда во имя спасения души. «Служение ближним приобретало чистый вид: «брать братом помогает». Нил звал к отказу от богатств... Монахам следовало жить в пустынях и кормиться от праведных трудов своего рукоделия. При этом физический труд выступал лишь предпосылкой труда духовного, «сумного делания»².

Отсюда видно, как близко учение Нила Сорского стояло к идеологическим постулатам западноевропейской церкви – спасению через труд, идеалу «молись и работай», т.е. к тем идеям, воплощение которых в жизнь обеспечило Западной Европе «прорыв» в будущее, заложило основы «духа капитализма». Идеал «молись и работай», через работу обретай спасение души означал, что простой человек не делегирует свои права наверх, а сам решает все возникшие перед ним проблемы, решает «здесь и теперь», не откладывая на завтра, не перенося решение в другое место, т.е. делает выбор между рабством и свободой в пользу свободы, между интенсивным и экстенсивным путями развития хозяйства в пользу интенсивного, между решением своих проблем самостоятельно и их решением с помощью других людей, социальных слоев, этносов в пользу самостоятельности.

Однако на деле победило другое направление, представленное иоантифлями. Их лидером был игумен Волоколамского монастыря Иосиф Волоцкий, в миру Иосиф Санин. В его идеологии положительный идеал созидания был подменен отрицательным идеалом *повиновения и покаяния*. Он не считал физический труд обязательным для монахов, но требовал от братии строгой дисциплины.

«Ни одна обитель не имела более строгого устава, чем Иосифов монастырь. Подробный свод всевозможных запрещений служил как бы подпоркой твердого монашеского жития. Санин верил в грозного судию Христа Вседержителя, карающего мировое зло... Подвиги монахов... носили традиционный характер. Особое место среди них занимали не требовавшие большой душевой работы (как у Нила Сорского. – Э.К.), но крайне утомительные поклоны... Виновный должен был отбить 50–100 поклонов. В исключительных случаях инока приговаривали к “сухождению”, некото-

¹ Скрынников Р.Г. Государство и церковь на Руси XIV–XV веков. Подвижники русской церкви. – Новосибирск, 1991. – С. 98, 108–110.

² Там же. – С. 98.

прых сажали “в железо”. Новшества Санина снискали его обители славу по всей Руси¹.

Победа иосифлян означала, что главная ценность христианства – спасение души после смерти, – с одной стороны, и труд как ценность, с другой стороны, были отделены друг от друга, даже противопоставлены друг другу. Основной формой деятельности по спасению души в православии стала *заупокойная молитва*. Это вело к снижению нравственного уровня общества, так как позволяло людям меньше думать о своих грехах в надежде, что они будут замолены другими после их смерти. Этую обязанность брали на себя монахи, и поэтому богатые люди завещали монастырям свои земли, крепостных, денежные средства, другие материальные ценности. Монастыри богатели, монахи же при этом все больше отдалялись от идеала труда.

Р. Скрынников так описывал этот процесс: «Состоятельные люди усвоили своеобразный взгляд на грех и покаяние. Любой грех они надеялись после кончины замолить чужой молитвой. Власть и преступления были нераздельны, а потому князья на старости лет щедро наделяли монастыри селами, выдавали им жалованные грамоты. Их примеру следовали другие богатые землевладельцы... Монахи назначали все более крупные суммы за внесение имени умершего в монастырские поминальные книги – синодики-Монахи, удалившиеся от мира во имя духовного подвига, стали вести жизнь, весьма далекую от идеалов иноческой подвижнической жизни. Вместо того чтобы кормиться “рукоделием”, они предавались стяжанию, собирали оброки с крестьян, вымогали пожертвования у вдов, вели вполне мирской образ жизни. Старцы не жалели усилий на то, чтобы приумножить свои владения. Они вели торговлю, занимались ростовщичеством, а полученные деньги тратили на приобретение недвижимости»².

Однако надо оговориться, что и возможная победа нестяжателей на церковном соборе 1503 года (в случае выздоровления их заболевшего покровителя Ивана III) вряд ли привела бы к утверждению новой трудовой этики в России. Это была бы уже не столько их победа, сколько победа великого князя. Целями же последнего были не освобождение крестьян и утверждение ценности труда как такового, а захват монастырских земель и имущества для раздачи дворянам в поместья. (Вспомним, что в Западной Европе приход крестьян в монастыри, где труд был всеобщей обязанностью, означал для крестьян обретение свободы от феодалов³. Такую свободу от себя самого Российское государство дать крестьянам не могло.)

¹ Скрынников Р.Г. Государство и церковь на Руси XIV–XV веков. Подвижники русской церкви. – Новосибирск, 1991. – С. 102.

² Там же. – С. 109.

³ См.: Кульпин Э.С., Пантин В.И. Решающий опыт. – М., 1993. – С. 28.

Э.С. Кульпин

Западноевропейский идеал «молись и работай» не стал императивом в русских монастырях, а следом за этим и для русского человека, что обусловило далеко идущие (вплоть до наших дней) последствия.

Поздний приход в русскую общественную жизнь нестяжателей – главная причина, обусловившая их поражение. Великая русская распашка – процесс, в ходе которого могла сложиться новая этика, – была уже на исходе, когда интеллектуальная элита общества стала пропагандировать новые ценности. В результате труд не вошел в систему основных духовных ценностей русского человека. Ценность личности лишилась важной идеологической базы и уже не могла стать ценностью номер один, что обусловило становление в качестве главной ценности этноса, а затем и суперэтноса ценности государства. Монастыри не только служили нуждам простых людей, сколько эксплуатировали последних. Черное крестьянство лишилось возможности иметь экономически и юридически сильного, да к тому же (что немаловажно для того темного времени) грамотного защитника своих интересов перед всевластным могуществом государства.

Таким образом, можно сказать, что события социально-экологического кризиса XV века были центральными в процессе формирования российской цивилизации. С ним был связан переход от разорванности общества культуры на две несовместимые одна с другой части (крестьян-полуязычников – обитателей лесов и христиан – обитателей городов и зон пашенного земледелия) к единству российского общества. В тот же период утвердилась особая роль Российского государства в жизни общества. Выбор между интенсивными или экстенсивными формами экономики был сделан в пользу экстенсивных ее форм. Следствием этого явилось превращение кратковременного для Западной Европы процесса – колонизации и распашки земель – в длительный, стержневой для истории России процесс. Присоединение все новых земель обусловило специфические политические, социальные, этнические проблемы, затруднило складывание российского суперэтноса, реформирование общественного и государственного строя, что привело, частности, к современному кризису в развитии страны.

О.Э. БЕССОНОВА

***РАЗДАТОЧНАЯ ЭКОНОМИКА
КАК РОССИЙСКАЯ ТРАДИЦИЯ¹***

Картина мира, которая в явном и неявном виде содержится в экономических рассуждениях и действиях современных российских реформаторов, выглядит примерно следующим образом. К концу XIX века Россия встала на путь рыночных отношений, которые привели бы ее к капитализму. Однако в 1917 году большевики, взяв власть, прервали естественный ход истории и создали искусственное государственное образование, основанное исключительно на идеологии под названием «плановая экономика». В этой экономике все определялось волонтизмом и эгоистическими интересами центра, круговой порукой номенклатуры. Плановый эксперимент большевиков закончился крахом, поэтому смыслом сегодняшних экономических реформ стало возвращение России на путь рыночной экономики.

Безусловно, в этой схеме нет нюансов, присущих разнообразным точкам зрения, которые смягчают, но не изменяют сути господствующего понимания экономического пути России. Между тем, как представляется, возможна иная гипотеза, основанная на других исходных предпосылках:

1. Российская экономика советского периода не есть продукт прерывания естественного рыночного развития, не является она и экспериментом по планированию, поскольку она – закономерный результат эволюционного развития экономических отношений в России.

2. В ходе эволюции была сформирована саморегулирующаяся экономика, отличная от рыночной. Как и рыночная, она функционирует на принципах самоорганизации, но по другим правилам. Несмотря на централизованное управление, основные пропорции и диспропорции этой системы складывались спонтанно.

3. Сущность экономических отношений России выражается в механизмах «сдач-раздач», в отличие от механизмов «купли-продажи», и потому экономику России можно охарактеризовать как раздаточную.

¹ Печатается по: Бессонова О.Э. Раздаточная экономика как российская традиция // Общественные науки и современность. – М., 1994. – № 3. – С. 37–48.

О.Э. Бессонова

Для исследования саморегулирующейся раздаточной экономики, сформировавшейся в ходе естественно-исторической эволюции, мною был выработан специфический методологический прием. Его сутью стало объяснение специфики экономики России без применения понятий из теорий, сформулированных для рыночных систем, чтобы освободить самобытные экономические феномены от привнесенного смысла. «Нерыночная», «квазирыночная экономика», «бюрократический рынок» – это все интеллектуальный продукт, первоначально произведенный на Западе, исходя из имеющихся там языковых возможностей. Понятия раздаточной экономики «берутся» из самой реальности, из устойчивых речевых стереотипов, подобно тому как это было сделано на ранних этапах создания рыночной теории. Ф. Хайек отмечал, что цены стали понятием после того, как экономисты обратили внимание на связь изменений записей на ценниках с изменением фундаментальных экономических процессов. Сущность экономических отношений расшифровывается через лингвистический анализ терминов экономической жизни с древнейших времен и до наших дней.

Сущность раздатка

На всем протяжении русской истории имущество отдельных граждан образовывалось в результате «пожалования», «дарствования», «государского данья», «раздача». Во всех этих словах в явном или неявном виде содержится глагол «дать». Глава рода на Руси являлся, по выражению С. Соловьева, «раздавателем пищи и одежды», а глава Российского государства, выделявший участки земли подчиненным владельцам во временное или наследственное управление, – величался государем, что напрямую означало «господин дарствующий». Главной государственной функцией было, по словам матери царя Михаила Федоровича Романова, «служилых людей жаловать и против пограничных государей стоятия». В советский период при отсутствии государя сохранилась и максимально проявилась сущность экономики как го-су-дарства – «хозяйства раздаточного».

Дачи

Все, что давалось в форме земли, продуктов и денег, называлось «жалование», «дача», «надел». Современный язык сохранил и демонстрирует сущность «дач», которыми сейчас называются выделенные за городом участки земли. Раньше наряду с земельными дачами были «хлебные дачи», «натуральные дачи» и «денежные дачи». Главная расходная статья государственной росписи XVIII века – «окладные дачи» – перекочевали в современную финансовую систему под названием «окладов».

Правила и нормы раздач вырабатывались на протяжении всей истории формирования экономической системы. В начальный период раздачи

проявлялись в форме жалования дружине, получавшей от князя пищу, одежду, коней и оружие. Земля в этот период не раздавалась, поскольку, по мнению С. Соловьева, дружине невыгодно было брать ее без населения, гораздо выгоднее было оставаться при князе и получать от него содержание непосредственно.

В удельный период, когда русское общество разделилось на уделы, земля становится главным объектом раздач. Принципы первых земельных раздач были выработаны в ситуации, когда князья решили обосноваться в определенных землях и им предстояло сделать выбор. В основу этого выбора легло два критерия. Согласно первому, князь мог владеть «той волостью, которой владел отец его». Однако только в том случае, если на родовой лестнице он занимал ту же ступень, что и отец. Таким образом, выработался принцип, по которому, выражаясь языком летописи, «владения волостями условливались степенью на родовой лестнице». Эти два условия слились в одном слове и образовали исторически первое название землевладения – «вотчина», от слов «отчич» и «чин». Что означает передаваемое от отца владение, полученное отцом в соответствии с его родовым рангом.

Со второй половины XV века вырабатывались правила раздачи земли для поместного землевладения. В. Ключевский записал эти правила следующей формулой: «Оклад – по чину, дача – по вотчине, придана и к окладу, и к даче – по количеству и качеству службы». Из этой формулы видно, что раздаточная система вырабатывала более сложные принципы для обеспечения ее внутреннего развития и балансировки. С целью стимулирования «придана» зависела от продолжительности и исправности службы, а для ограничения дифференциации размер земельной дачи был обратно пропорционален вотчинам. К концу XVIII века, когда продвижение по службе осуществлялось уже не за заслуги, а за выслугу лет, формула раздачи земельного поместья свелась к раздаче по чину.

В начале советского периода были выработаны сложная нормативная база натуральных раздач и тарифная сетка денежных должностных окладов. Несмотря на внешне уравнительные правила распределения материальных благ, итоги функционирования советской экономики выявили основной стандарт раздач этого периода. Общеизвестно, что каждый советский гражданин получал в соответствии со своим должностным положением. Таким образом, выработанное на ранних этапах экономической эволюции правило раздач – «каждому по чину» – не потеряло в России универсального характера и является неотъемлемым принципом раздаточной системы.

Сдачи

Одновременно с выработкой правил раздач формировались способы пополнения доходов казны, сначала княжеской, затем государевой, впоследствии государственной. В России казна формировалась в основном за счет дани, подати, оброков. С приходом князей славянские племена сдавали им мед, меха и воск, а также выполняли разнообразные повинности. Сдаточные отношения в этот период приобрели форму дани и имели разнообразные воплощения в виде «урока», «полюдья» или «повоза». Старинное слово «данье», означающее вклад, принос, дар, выявляет сущность отношений сдачи. По смыслу – это добровольная или принудительная передача продуктов или труда. Это выражалось в финансовой категории «дань», которую русская финансовая система сохраняла вплоть до XVIII века.

В удельный период возникла специфическая форма сдачи продукции в виде «кормов». Областные управители того периода сами собирали мясо, печенный хлеб, сено, для чего в определенное время обезжаживали свои округа. Доля собранного шла в казну в пользу князя и центральных управителей. В период реформ местного управления Ивана Грозного кормления сначала были нормированы, а затем и вовсе заменены государственным оброком. Вплоть до конца XIX века российское население облагалось различными оброками. Они были столь разнообразны по форме и содержанию, что вызывали дискуссии относительно их природы. П. Милков, анализируя ход этих дискуссий, выявил их общую характеристику: «Оброк – это подать с разных угодий».

И дань, и оброк определяются в словарях через «подать» как наиболее распространенное и обобщенное название сдачи. Производительное население Российской империи с точки зрения казны называлось «податным». В отличие от двух первых наименований, в термине «подать» заложен принцип сдачи в ответ на раздачу. Дело в том, что на разных этапах финансовых реформ шел поиск адекватной меры сдачи части произведенного продукта, о чем свидетельствуют периодические изменения податной единицы обложения. Главные принципы, которыми руководствовались реформаторы, состояли в поголовном обложении всего населения пропорционально возможностям каждого. Эти возможности, как правило, определялись величиной земельного надела и количеством трудоспособных членов семьи. Для обеспечения соответствия система выработала механизм передела через крестьянские общины. Ключевский, анализируя сущность общинного союза, видел в нем исключительно финансовый механизм, в котором земля в общине распределялась соразмерно с рабочей и податной мочью крестьян, т.е. земля делилась между дворами по наличным рабочим силам каждого и делилась принудительно. Таким образом,

каждый должен был отдавать часть произведенной продукции в соответствии с выданными условиями производства (землей), т.е. «по-дати», по тому, что дано.

В современном языке аналогичные отношения передачи произведенного продукта для последующей раздачи выражаются термином «сдача»: сдача урожая, сдача объекта, сдача жилого дома и т.д. Плановая советская экономика XX века также неукоснительно следила за тем, чтобы произведена, а затем сданная государству продукция была пропорциональна тем ресурсам (основным и оборотным фондам), которыми располагала первичная экономическая организация.

Другими словами, в плановой экономике также соблюдался принцип сдач «по-дати», что объясняется не столько приверженностью традициям, сколько внутренней логикой раздаточных отношений.

Закон раздатка

В ходе спонтанной эволюции раздаточная система выработала принципы сдаточно-раздаточных отношений: «От каждого – по-дати, каждому – по чину». Но поскольку сама «дать» выдавалась по месту в должностной структуре, то в конечном счете функционирование раздаточного общества определялось соответствием сдач и раздач. Это означает, что любые отклонения от установившихся пропорций сдач-раздач вызывают настолько сильное стремление к балансированию отдаваемых и получаемых потоков, что можно говорить о существовании закона соответствия сдач и раздач.

По его логике, если объем раздач для какого-нибудь хозяйства или территории превышал объем сдач, то возникало активное стремление попасть именно туда. Это обстоятельство всегда использовалось российским правительством и при освоении новых территорий, и при создании новых отраслей. Так, по свидетельству Ключевского, в XVI веке заселение монастырских земель шло значительно успешнее потому, что земельные пожалования соединялись со щедрыми податными льготами. Общеизвестна и практика советской власти по изменению пропорций хозяйства путем перераспределения средств.

Распространенность административных мер – крепостного права XVI–XIX веков, прописки XX века и др. – лишь подтверждает наличие этого закона, поскольку они использовались для регулирования экономического поведения, напрямую зависевшего от соотношения сдач-раздач (миграции, текучести кадров, профессиональной карьеры).

Жалобы

Самой распространенной и активной реакцией на несоответствие потоков сдач-раздач были жалобы. Традиционно жалобы рассматривались в нашей литературе как специфический феномен культуры советского периода. Единственная интерпретация массовости жалоб связывалась с инфантилизмом советского человека, с его изждивенческой психологией и синдромом give me.

Между тем в раздаточной системе именно жалобы играют роль обратной связи. Действительно, если в этой системе получить что-либо можно только путем «пожалования», то это побуждает просить о пожаловании, т.е. жаловаться. Именно так и поступало российское население в тех случаях, когда было не удовлетворено той или иной ситуацией. Челобитные и жалобы имели настолько повседневный характер на протяжении всей российской истории, что являются одним из важнейших исторических документов любой эпохи. Соловьев, Ключевский, Милюков, Сперанский и другие историки часто использовали эти документы для аргументации. На протяжении всего своего развития экономическая система России вырабатывала механизмы обратной связи, искала и находила наиболее адекватные формы для сигнализации об отклонениях от нормальной ситуации. Таким сигнальным и корректирующим механизмом стали жалобы, исходящие от всех слоев населения и со всех уровней управления.

Еще во времена «полюдья» русские князья отправлялись с дружиной к подчиненным племенам, чтобы, по выражению Соловьева, «исполнить свои обязанности относительно народонаселения». По жалобам своих подданных князь вершил суд и расправу, изменял величину дани. В период существования кормленников выработался порядок должностной ответственности по жалобам. История сохранила факты, когда по окончании срока очередного кормленника обыватели, потерпевшие от произвола управителей, могли жаловаться на его действия, если находили их неправильными. В результате многие наместники, проигрывая такие тяжбы, лишились не только нажитых на кормлении «животов», но и старых своих наследных имуществ, платя убытки истцов и судебные пени.

На земских соборах XVII века жалобы выражались в форме докладов представителей членов княжеских «обо всяких нуждах своей братии». При Петре I было создано специальное ведомство по приему челобитных и жалоб – рекетмейстерство. Право жаловаться давалось или отбиралось наряду с имущественными пожалованиями. Так, при Екатерине II право крепостного крестьянина жаловаться на помещика было отменено специальным указом.

В советский период, когда раздаточная система функционировала в условиях спонтанной координации потоков сдач и раздач, жалобы явля-

лись для нее главным сигнальным элементом. Поскольку любая жалоба включает три компонента: неудовлетворенность ситуацией, обоснование этой неудовлетворенности и просьбу о решении ситуации, вся совокупность жалоб в определенный период дает полную картину наиболее проблемных участков хозяйства. Так, в 60-е годы XX века, когда на фоне относительных успехов в производстве жилищная и социальная сферы сильно отставали в развитии, шел нескончаемый поток жалоб, вызвавший в конечном счете жилищную реформу.

Советская экономика довела до совершенства механизмы прохождения жалоб и принятия решений по ним. Каждый человек и каждый хозяйственник имели право жаловаться, но не каждая жалоба являлась руководством к действию. Необходима была критическая масса жалоб на каждом уровне, чтобы она перешла на следующий. Чем выше положение жалующегося, тем больший вес имела жалоба, поскольку чем выше уровень управления, тем для большего числа хозяйственных ячеек необходима была координация потоков сдач и раздач. В результате жалоба приобретала соответствующий вес, от которого зависели очередность и объем выделения ресурсов. Именно для придания большего веса практически каждое министерство и регион создавали при себе научные институты для составления «научно обоснованных» жалоб.

Поскольку раздачи осуществлялись через систему нормативов и жалобы демонстрировали отклонения от принятых норм, количество жалоб выступало индикатором сбалансированности системы в целом и каждого ее уровня. А их минимизация была критерием поведения управляющих раздаточной системы. Она могла достигаться за счет изменения норм раздачи, выделения ресурсов, смены руководства и раздачи обещаний.

Таким образом, жалобы предстают не столько как явление бытовой культуры населения, сколько в качестве важнейшего сигнального элемента для механизма функционирования раздаточной системы. Раздаточная система, в отличие от рыночной, открыла и использовала механизмы неценовой регуляции экономики. Но в таком случае что же представляют собой деньги и цены в раздаточных системах, столь же распространенные и, несомненно, нужные?

Деньги и цены

В экономической науке до настоящего времени деньги и цены связываются исключительно с развитием рыночных отношений. В теории столь общепризнана трактовка денег исключительно как атрибута рыночной экономики, что денежное обращение и ценообразование плановой экономики советского типа рассматривались в основном как феномен исказжения «правильных» рыночных денег и цен. Между тем и деньги, и цен-

ны являются имманентным атрибутом раздаточной системы, поскольку обслуживают сдаточно-раздаточные отношения. Только при этом они имеют иное происхождение и иную природу. Первоначально роль денег на Руси выполняли «скот» и «куны». Почему именно эти продукты? Припомним, что, согласно Ключевскому, древнейшую дань, о которой говорит начальная летопись, Русь платила своим князьям или сторонним завоевателям мехами, и вскоре термин «куны» получил значение денег, денежных знаков вообще.

Само слово «денга» имеет более позднее, татарское происхождение. Им обозначалось все, что завоеванные племена вынуждены были отдавать в виде дани. Но и после окончания выплат дани татарам термин «деньги» использовался в русской финансовой практике как синоним сборов: даные деньги, стрелецкие деньги, ямские деньги.

Поскольку деньги обслуживали и раздаточные потоки, достаточно широко использовались «денежные дачи». Ключевский подробно описывает принципы выдачи этих денежных дач в соответствии с «чином», по местным окладом, характером и ходом службы.

До образования Московского государства потоки сдач и раздач были натуральными. Однако с увеличением размеров страны для отдаленных районов натуральные сдачи заменились денежными. И все же XVI–XIX века характеризовались преимущественно натуральными отношениями. В XX веке раздаточная система приобрела денежно-натуральный характер, поскольку к денежным окладам присоединились натуральные раздачи. Их объем зачастую превышал денежную часть всех выдач, но на поверхности этого не было видно, как подводную часть айсберга.

Анализируя роль денег в социалистических экономиках, Я. Корнаи подчеркивал, что все, относящееся к деньгам, – лишь поверхностное впечатление, своего рода денежная иллюзия. В действительности же под денежной вуалью скрываются процессы количественного регулирования.

Регулировка потоков сдач-раздач осуществлялась посредством цен, с их помощью менялось направление ресурсов из одного хозяйства в другое, от одной территории к другой. Эту практику начало осуществлять еще московское правительство в XVII веке. В своем исследовании «Русский рубль XVI–XVIII веков в его отношении к нынешнему» Ключевский обратил внимание на то, что во времена царствования Михаила появилась возможность уловить высшие и низшие цены. Казна позволяла себе своего рода игру: взимала хлебные налоги иногда натурай, а в иных случаях деньгами, смотря по тому, как ей было прибыльнее, точно так же производила платежи своим служильм людям. Вскоре эта «игра» вылилась в двойную систему цен: одна – казенная отаточная, другая – казенная приимочная. И обе с разным денежным весом.

Периодическая практика московских государей вылилась в сложную изощренную систему ценообразования советского периода, в основе которой лежал двойной стандарт цен: «сдаточные», по которым продукция сдавалась государству, и «отпускные», по которым она выдавалась. Таким образом, в ходе экономической эволюции раздаточная система, используя деньги как экономический инструмент, начала заменять ими как более удобными натуральные потоки сдач-раздач. При этом цены стали выступать в качестве важнейшего инструмента координации денежных сдач и раздач.

План

Основой любой экономической системы, безусловно, являются производство и производственные отношения. Раздаточные системы организуют производство в виде сдаточно-раздаточных материальных потоков. Другими словами, не следует путать раздаточные отношения и распределительные. В зависимости от общественного разделения труда, от масштабов и локализации хозяйства (в рамках отдельного крестьянского двора, в рамках крупного поместья или в масштабах всего государственного хозяйства) выделяются три этапа в развитии сдаточно-раздаточных отношений.

На первом этапе в Древней Руси часть продукции отдается в виде дани, не меняя процесса общинного или семейного воспроизводства. Этот процесс организовывался и управлялся старшим рода. По описанию С. Соловьева, избранный старшина был распорядителем занятий, хранил общественную казну, вносил подати, раздавал пищу и одежду, наказывал за проступки. На втором этапе, в период поместного землевладения, вся земля и часть средств производства (скот, посевные материалы) раздаются ступенчато (от государя – землевладельцам, а от них – крестьянам) при соответствующих двух потоках сдач от производителя: один – государственной казне в виде подати и повинностей, другой – помещику в виде оброка и барщины. При этом сам крестьянин-производитель находился на самообеспечении, за исключением случаев «месячины». На третьем этапе в едином раздаточном государственном хозяйстве вся произведенная продукция сдается, а все средства производства и предметы потребления раздаются либо в натуральном виде, либо через посредство денег. Здесь имеет место случай всеобщего разделения труда и полного государственного обеспечения.

На первом этапе правила сбора дани определялись княжеской грамотой. На втором – координация потоков сборов и выдач происходила на двух уровнях: государственном (с помощью государственной росписи) и локальном (посредством «книг сборов и выдач», имеющихся у каждого

помещика и монастыря). На третьем этапе план становится единой государственной «книгой» сдач-раздач, а вся разветвленная плановая деятельность оказывается необходимым элементом производственных раздаточных отношений в условиях всеобщего разделения труда.

Таким образом, плановая система является продуктом развития общественного разделения труда на базе сдаточно-раздаточных отношений. Не умоляя интеллектуальных усилий теоретиков, экономистов и политиков, следует подчеркнуть, что план – не искусственная идея, привнесенная в экономическую практику России, а результат закономерного хода событий. Поскольку всегда и везде жизнеспособными оказываются только те идеи, которые необходимы в данный момент и для данной ситуации.

Служебный труд

Итак, экономическая система России представляет собой раздаточную систему с внутренней неценовой регуляцией, сложившуюся в ходе эволюционного развития сдаточно-раздаточных отношений. Однако экономический механизм сдач-раздач, в свою очередь, связан с особыми трудовыми отношениями, которые начали формироваться еще в Древней Руси. В экономической науке разрабатывались представления только о наемном труде, в России же была создана служебная организация труда, а сам труд – производительный, управляемый, ратный – приобрел характер служебного труда. Колossalный исторический материал о служебном характере труда в России до сих пор остается вне поля зрения российской экономической науки, а ведь именно служебная организация труда и определила специфические экономические механизмы сдач-раздач.

Служебный труд носит обязательный характер, который вызван внешними по отношению к каждому человеку условиями, когда общество обязывает его выполнять определенные функции. И хотя обязательный труд это не всегда труд принудительный, государство закрепляло за всеми слоями населения определенные обязательства. Схематично эти обязанности делились на два основных вида. Одни должны были служить по хозяйственным и военным делам, другие – кормить тех, кто служит. На протяжении всей истории служебная структура российского общества поддерживала это разделение обязанностей. «Государевы служилые люди» и «податное население» Российской империи сменились «государственными служащими» и «рабочими-и-крестьянами», составлявшими основу податного населения предыдущих эпох.

Однако структура российского служилого населения еще ждет своего специального исследования, поскольку в России служили все: и земельцы, и ремесленники, и торговцы, и купцы, и охотники, и рыбаки. Это закреплялось в документах и оборотах речи, которые дошли до нас. Слу-

жебный труд подразумевает отдачу своего труда в разных формах в том объеме, в каком требуется, но и предполагает, что для осуществления службы создаются необходимые материальные условия, которые и раздаются. Потому принцип «от каждого подати и каждому – по чину» является проявлением служебной организации общества, которая в скрытом виде содержит в себе отношения сдачи-раздачи.

Одновременно в служебном труде содержится идея служения, каждый раз наполнявшаяся новым смыслом и содержанием (царю, отечеству, народу, социализму). В ходе исторического развития эта идея настолько прочно увязалась со всей экономической структурой общества, что в XX веке уже практически невозможно было отделить идеологию от экономики. Экономическая наука склонна считать эту ситуацию характерной только для XX века, между тем неразделенность экономики и идеологии, слитых в служебном труде, была характерна для всех эпох русской истории. На это обратил внимание Ключевский: российский служащий обычно расположен смотреть на свой оклад как на действительную цель своей службы, а на служебные труды свои как на предлог к получению оклада. Но над этим низменным ремесленным взглядом на оклад высится официальная идея самой службы как служения общему благу, народным нуждам и интересам, а должностной оклад – только служебно-цензовое вознаграждение за труд, знания, время и издерожки, какие в требуемой по штату мере служащие приносят государю и отечеству.

Служебный труд вызвал к жизни специфические организационные формы в виде ведомств. Это изобретение относится еще к удельному периоду российской истории, когда при дворце Великого князя слагалась целая система административных служб, управители которых назывались в актах удельного времени «бояре введенные». Российские ведомства прошли сложный путь эволюции от «наказов» и «путей» княжеского периода через «приказы» Ивана Грозного и «коллегии» Петра I к министерствам советского периода. Логика спонтанного появления новых ведомств наглядно демонстрирует, как расширялись хозяйствственные службы вслед за изменением границ Российской государства и расширением его внешних и внутренних задач. Именно ведомства позволяли структурировать сложную экономическую реальность и «переводить» ее в управляемые хозяйственные структуры.

Ведомственная организация потребовала определенного порядка по координации служебных функций внутри ведомств и породила иерархию служебных чинов. Каждому уровню иерархии предписывались определенный набор обязанностей и соответствующий чин. Впрочем, чины появились задолго до возникновения первых ведомств, уже в княжеской дружине каждый знал свое место. Можно смело утверждать, что именно чиновник – самая древняя профессия на Руси. На определенных этапах

функцию чиновников выполняли разные сословия. В княжеский период – бояре, которые руководствовались родословием (особым списком, определяющим знатность рода и высоту чина). К XVIII веку их сменили дворяне, для которых правила занятия служебных мест определялись в «табели о рангах». В советский период чиновники стали именоваться по названию их служебного реестра – «номенклатура».

Таким образом, служебная организация труда в России характеризуется тремя феноменами, которые вне ее не имеют логического объяснения: ведомства, иерархия, номенклатура.

Условия раздатка

Для более глубокого понимания экономической природы раздаточных обществ, базирующихся на служебном труде, необходимо выявление причин возникновения, сохранения и воспроизведения раздаточных систем. Здесь мы имеем дело уже не с современными экономическими фактами, а с древними историческими свидетельствами, позволяющими лишь предполагать.

До сих пор по-разному интерпретируется легенда о призвании славянскими племенами варяжских князей. Однако именно с приходом князей в общество была внесена идея службы. Сам князь, по преданиям, был призван служить племенам, его позвавшим, защищать и преумножать русскую землю. Племена же наложили на себя обязанность платить дань для прокормления князя с его дружиной и, если надо, служить в его дружины.

Служебная организация, как было уже показано, лишь создает условия для раздаточных отношений, однако столь эффективные на Западе товарно-денежные отношения не смогли противостоять экспансии раздаточных отношений и переносу их с военной на все стороны жизни в условиях России. Причины неэффективности у нас товарно-денежных отношений вплоть до XVI века хорошо известны. Историческая литература накопила массу свидетельств о непроходимых дорогах, огромных расстояниях и суровом климате. Общий вывод о неразвитости внутренней торговли России заключался в том, что, по выражению Иммануэля Валерстайна, «потеря на обмене превысила бы прибыль».

В итоге самым эффективным способом прокормления в России было получение земли. Князья начиная с XI века активно стали использовать этот стимул для привлечения на службу. С XIV века связь между землей и службой становится неразрывной, постепенно правило «кто служит, тот владеет землей» приобрело и оборотную сторону «кто владеет землей, тот служит». Этот принцип заставлял российских государей расширять границы государства для все новых и новых земельных пожалований. Российская земля в этот период стала и условием, и целью службы, полностью

приобретя характер служебной. В XX веке, когда вся территория советского государства не была разделена на обособленные владения и носила общественно-служебный характер, ее обустройство вызвало к жизни такие технологии и такие масштабные формы, что сделало ее нерасчленимой.

Все это говорит о том, что на разных этапах истории всегда находился фактор, по значимости превышающий возможности индивидуальных выигрышей при обменах и торговле. Таким фактором для всех раздаточных систем является определенный источник общественного благополучия, для поддержания которого требуются особые усилия всего общества, порождающие служебную организацию труда и идею служения этому обществу. Там, где торговля была выгодной и сглаживала перекосы и недостатки раздаточных отношений, государство способствовало ее развитию или просто не запрещало. Сама идея принимает формы разнообразных идеологий и религий, в зависимости от культурного и экономического развития страны.

Собственность в раздатке

Распространенным названием экономической системы России для историков и экономистов XIX века было «государственное хозяйство». При описаниях экономической жизни СССР чаще всего использовался термин «советское государство». И действительно, само слово «государство» как нельзя более точно проясняет сущность экономических отношений России. «Го» – первый слог от слова «господин» – «хозяин», «хозяйство»; «дарство» означает «дарить», «одаривать»; «су» – первое древнейшее обращение на Руси (еще до «сударя») к служилому человеку. Таким образом, сам термин «государство» содержит в свернутом виде только что проясненный смысл экономической системы России – служебно-раздаточное хозяйство.

Это необходимо иметь в виду при анализе крайне запутанных отношений собственности в России. Эта запутанность была порождена марксистской теорией общественной и частной собственности. Потребовалось достаточно много времени, чтобы западная экономическая наука полностью освободилась от подобной дихотомии и разработала концепцию «прав собственности». Россия освобождается от этой наследственности не в теории, а на практике, разрабатывая в настоящее время конкретные механизмы владения. Между тем и для теоретической мысли важно непредвзято проанализировать отношения собственности.

Эволюция отношений собственности в России связана с формированием всей раздаточной системы в целом. Владение по обычай, по факту освоения постепенно замещалось раздачей земли за службу. С XIV века раздаточная собственность приобрела условный характер, поскольку вы-

давалась, как правило, под условие службы. К XVII веку раздаточно-служебная собственность стала делиться на виды по тому объему прав, которые выдавались вместе с земельными пожалованиями. Это были срочные, поместные и вотчинные владения. Срочные земли выдавались на определенный срок, поместные – пожизненно, вотчина – с правом наследования и купли-продажи. В советский период не только земля, но и практически вся собственность стала носить служебный характер и не подлежала раздаче отдельным лицам.

Таким образом, раздаточно-служебная собственность означает, что наряду с имущественными раздачами система вырабатывает правила и нормы обращения с этой собственностью, распределяет объем прав по ее использованию между частными лицами и управляющими. Чем больше прав делегируется непосредственным производителям, тем больше возникает горизонтальных связей, нераздаточных отношений, которые часто интерпретируются как рыночные. Чем больше прав у управляющих, тем больше вертикальных связей в раздатке и тем он «чище». Существует определенная логика в распределении прав: чем хуже экономическое положение страны и ограниченнее возможности получения ресурсов извне, тем больше прав государство стремится отдать непосредственным производителям и гражданам, которые вынуждены самоопределяться в экономической жизни.

Нераздаточные отношения

Определяя экономическую систему России как раздаточную, не следует упрощать все многообразие экономических взаимодействий. На всем протяжении истории проявлялись и жили особой жизнью отношения, отличные от раздаточных. Эти отношения склонны называть «рыночными», хотя, на мой взгляд, точнее их называть «нераздаточными», поскольку их логика и формы задаются сложившимися условиями конкретного раздатка. Это сложное взаимодействие двух типов отношений проявлялось либо в виде конфликта, либо в виде партнерства, либо одно становилось тенью другого.

В XVI веке, когда натуральные сдачи частично заменились денежными, правительство стимулировало развитие торговли хлебом. Выдавая право купли и продажи поместий, оно создавало возможности для торговли земельными участками. Широкое распространение получила практика мены поместьями с денежными придаными. В современной практике аналог этих отношений сохранился при обменах жилья. Все это лишь поддерживало определенные балансы в раздаточной системе.

В широком смысле нераздаточные отношения – это обмены «дачами», т.е. тем, что получено в результате раздачи, или тем, что произведено

с разданных средств производства. Внешне они трудноотличимы от рыночных. Именно поэтому периоды распространения этих отношений обычно путают с развитием в России капитализма. Рожденные в раздатке, легально или нелегально, они имеют свою логику, которую нам всем предстоит в скромом времени выявить.

Проблемы раздатка носят органический характер, поскольку они вызваны перерождением ключевых элементов самого раздаточного механизма. В ходе функционирования каждый элемент системы, выполняя определенную функцию, может приобретать негативные свойства. Идеология, призванная сплачивать общество и вдохновлять людей на самоотверженное служение, порождает косность, лицемерие и культуры. Глава раздаточной системы, призванный служить обществу в целом и способствовать установлению порядка и справедливости, склонен злоупотреблять своим положением и устанавливать единовластие. Рядовые раздатчики-чиновники, обеспечивающие осуществление и координацию сдач-раздач, подвержены соблазну изменения потока ресурсов за взятку, порождая коррупцию.

Ведомства, структурирующие экономическую реальность и концентрирующие ресурсы для решения проблем, приводят к дезинтеграции экономики и устанавливают ведомственные барьеры. Иерархия, обеспечивая управляемость общества с увеличением числа организаций, порождает бюрократизацию и отчуждение. Правила занятия служебных мест (табель о рангах), направляющие служебную карьеру и обеспечивающие отбор компетентных людей, имеют тенденцию вырождаться в сословный и кастовый механизм. Раздачи по чинам, обеспечивая вознаграждения по заслугам в условиях несоответствия должности и заслуг, осуществляются за стаж и выслугу, стимулируют «выслуживание» и некомпетентность. Нормы сдач должны обеспечивать эффективное использование мощностей, а сдачи не по возможностям приводят к истощению материальных и людских ресурсов.

Цены, необходимые для балансировки сдач и раздач, могут использоваться для перераспределения ресурсов на непроизводительные и неэффективные программы. Жалобы, являясь проблемным сигналом, способны перерождаться в доносительство, кляузы и использоваться в корыстных целях. Сама система, настроенная на улавливание жалоб, на предкризисных этапах блокирует их прохождение либо запретом, либо путем возврата жалобы на местный уровень.

В ходе экономической эволюции человечество выработало два типа жизнеспособных экономических механизма, в рамках которых возможна координация усилий больших сообществ: рыночный и раздаточный. Под влиянием определенных условий в каждой стране создается тот или иной тип отношений, формируется либо рынок, либо раздаток. Каждая из этих систем развивается по собственным законам, проходя стадии подъемов и

О.Э. Бессонова

кризисов. Экономическая практика обнаружила, что устойчивость любой системы достигается путем дополнения разных типов отношений в определенной логике. Опыт показывает, что в мире не существует двух одинаковых экономических систем, поскольку их многообразие зависит от доминирования одного из двух типов отношений и способов сочетания рыночно-раздаточных элементов. В ходе формирования экономических раздаточных отношений уже было пройдено несколько этапов. С приходом князей «общинный» раздаток трансформировался в «княжеский», а когда русское общество разделилось на уделы во главе с Великим князем, видоизменился в «великокняжеский» раздаток. С объединением Руси под властью Москвы он развился в «государский» раздаток, преобразовавшийся впоследствии в «государственный». На каждом этапе возникали новые экономические задачи, для которых раздаток находил адекватные формы решения. Сейчас идет спонтанный поиск новых организационных и институциональных форм естественных раздаточных механизмов.

Главная задача современной реформы заключается в обеспечении максимально возможной экономической свободы каждому субъекту, но не разрушая при этом всей системы в целом. Мы привыкли думать, что только рынок обеспечивает экономическую свободу, между тем уровень свободы не связан с характером экономической системы. Рынок не приводит автоматически к демократии, как и раздаток – к тоталитаризму. Степень свободы зависит не от экономической организации хозяйства, а от уровня культурно-технологического развития общества. Осознав пороки политического устройства государственного раздатка, российское общество на рубеже XXI века способно самостоятельно выработать либеральную форму раздаточной экономической системы.

В.П. БУЛДАКОВ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМНЫХ КРИЗИСОВ В РОССИИ¹

Последние восемь–девять десятилетий истории РСФСР–СССР–РФ можно представить как время поглощенности мифической круговертью – начиная с агрессивного утверждения мифа о «Великой Октябрьской социалистической революции», кончая его не менее яростным отторжением. И этот процесс далек от завершения. Во всяком случае, и историческая память, и общественное сознание вряд ли смогут освободиться от него в ближайшем будущем.

...Исследовательское поле революции превратилось в зимнюю арену когнитивной уязвимости современной историософии. Непонимание революции парализует постижение хода и смысла истории России в целом. Казалось, не нужно доказывать, что сегодня особенно необходимо знать, что может «неожиданно» разрушить сложноорганизованную систему, что способствует этому изнутри и извне ее.

Непонимание природы революций в России связано с тем, что они изучались исключительно в «прогрессистской» (формационно-поступательной) парадигме. Идея циклического движения во времени лишалась права на существование, хотя, казалось бы, и Смуты XVII в., и 1917 год, и недавняя «эпоха реформ» требовали переосмысления всей истории России именно под таким углом зрения.

Большинство авторов не задумывается о том, что системные кризисы в России в минимальной степени связаны с феодализмом и (или) капитализмом, что социализм играл в массовом сознании роль утопии, а не реальной социально-экономической доктрины, что, наконец, люди *сами* выбирают свою историческую судьбу в силу исторически врожденных слабостей. Поражает размытость граней между реальным, воображаемым и символичным – отсюда редкостное недоумение: почему «славное» прошлое всякий раз перечеркивается «неведомыми» силами...

¹ Печатается по: Булдаков В.П. Революция как миф и проблема российской истории // Труды по россиеведению. – М., 2009. – Вып. 1. – С. 68–71, 97–113.

Несмотря на появление отдельных работ, так или иначе показывающих, что кризисность является «нормой» российской истории, «научная» мысль пугливо уходит от всякой новой постановки вопроса о причинах революции, довольствуясь устаревшими теориями, или наивно подменяет их очередными мистификациями, демонизациями и эстетизациами российских смут. Люди попросту не знают, как им быть с феноменом революции (отсюда крайняя произвольность связанных с ним словоупотреблений). Поэтому в сложившейся ситуации надежнее всего исходить из того, что проблема революции (системного кризиса, «смуты») – это проблема истоков нестабильности развития России.

Проблема революции в России может быть сведена к вопросу о распознании тех геосоциальных особенностей ее государственной конструкции, которые составляют слабые (в управлеченческом смысле) места системы. Это, с другой стороны, проблема улавливания истоков хаоса, способного вызвать неконтролируемый рост так называемых малых возмущений, порождающих великую Смуту...

Необходимо попытаться уловить общие черты российских смут, ибо они не только прошлое, но и настоящее.

В системном кризисе (смуте) можно условно выделить уровни или стадии его протекания: *этический, идеологический, политический, организационный, социальный, охлократический, рекреационный*. Соответствующие им компоненты действуют на всех стадиях его развития, но с различной интенсивностью соответственно изменениям психологии людской массы.

Этический компонент кризиса наиболее трудноуловим социологически, хотя понятно, что смута невозможна без своего рода грехопадения власти в глазах подданных.

Предпосылки Смутного времени, конечно, уместно искать в неистовствах Ивана Грозного. Последовавший за ними династический надлом мог быть воспринят в низах как «воздаяние за грехи». Важными знаками отторжения от системы стали образы «благородного разбойника», социального «отщепенца», «хищника» и «изгоя»¹. Теперь массу притягивали к себе диссипативные элементы.

Нравственные коллизии, предшествовавшие российским революционным взрывам начала XX в., в значительной степени были производным от столкновения глобальных этико-мыслительных парадигм – традиционно-патерналистской идеологии и идеологии Просвещения. На фоне рационализирующегося сознания тогдашних элит «отеческое правление»

¹ Лотман Ю., Успенский Б. «Изгой» и «изгойничество» как социально-психологическая позиция в русской культуре преимущественно донетровского периода // Труды по знаковым системам: Типология культуры. Взаимное воздействие культур. – Тарту, 1982. – Вып. 15. – С. 110–121.

представало синонимом иррационального застоя, противного естественному ходу вещей. Уже для А.Н. Радищева российская система стала вместилищем греха и воплощением зла для народа.

Моральную проповедь подхватила русская литература, подспудно усвоившая революционную эсхатологию, а потому невольно включившаяся в подготовку бунтарей, настроенных освобождать страну от любой скверны. Сознание образованного слоя сконцентрировалось на этатистской «монаиде»: для революционеров ее воплощение связывалось со справедливым и рациональным мироустройством, для либералов – с новыми западными институтами, для бюрократов – с «совершенной» манерой управления. Ну а народу попросту надоело работать на «странных» господ и верить в негодного царя. В исторической ретроспективе все это выглядит не столь оригинально – достаточно вспомнить о богоильских и анабаптистских экспериментах.

В советское время параметры этического компонента кризиса задавались крахом хрущевской авантюры построения коммунизма. Поэтому громадную роль сыграло «разоблачение» так называемого сталинского террора. Не случайно появление квази-Радищева – А.И. Солженицына, человека доктринерского склада, призвавшего «жить не по лжи». Неформальные информационные связи стали доминировать: дело дошло до того, что антисоветские анекдоты пересказывались генсекам.

Идеологическая составляющая кризиса связана с оформлением альтернативы существующей форме правления – пусть умозрительной, а не реальной.

Иногда зарождение «конституционной альтернативы» самодержавию связывают с посланиями А. Курбского Ивану Грозному. На деле ничего подобного Курбский не мог продуцировать, он лишь клеймил царя, который якобы «дьяволом послан на род христианский»¹. Царь свои жестокости, напротив, считал делом естественным: «Даже во времена благочестивейших царей можно встретить много случаев жесточайших наказаний», – так они спасали свои царства «от всяческой смуты и отразили злодеяния и умысли злобесных людей». А, в общем, имея власть от Бога, русские государи «ни перед кем не отчитывались, но вольны были жаловать и казнить своих подданных...»². Вполне аналогичная ситуация возникла в СССР с той лишь разницей, что на месте Бога оказался идол «самого совершенного общественного строя».

С точки зрения тогдашних российских представлений о власти Грозный был прав. Идолу поклоняются не потому, что он добр, а потому, что он может *сожрать* кого угодно, отделяя «чужих» от «своих», исходя

¹ Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. – М.: Наука, 1979. – С. 119, 121.

² Там же. – С. 128, 129, 144.

из одному ему понятных побуждений. Сакральная жертвенность не нуждается в рациональных и тем более гуманистических оправданиях. Тем не менее риторика Курбского со временем должна была взять верх – в эпоху общественных нестроений протестанты плодятся в геометрической прогрессии, тогда как деспоты единичны по определению.

Семена последующего кризиса империи были заложены еще во времена Петра I. «Люди, командированные правительством для усвоения надобных ему знаний, привозили с собой образ мыслей, совсем ему не нужный и даже опасный.., – писал по этому поводу В.О. Ключевский. – Против правительства, борющегося со своей страной, стал просвещенный на правительственный кошт патриот, не верящий ни в силу просвещения, ни в будущее своего отечества»¹. Так, в сущности, возникло первое поколение интеллигентов-«транзитологов». Строго говоря, сама попытка обновления фасада с их помощью чревата растущим противоречием между ожидаемым и действительным *внутри* империи.

Известно, что в конце XIX и особенно в XX в. идеологическая составляющая в жизни всех народов приобрела качество былых религиозных «эпидемий». Этому не приходится удивляться в связи с резким уплотнением жизненного пространства и информационных связей. Но это вовсе не предполагало чистой материализации какого-нибудь «призрака коммунизма» – всякий вирус в новой среде претерпевает настолько сложные мутации, что подчас невозможно распознать его истинное лицо. Мир действительно вращается вокруг великих идей, но это не предполагает их буквального воплощения в жизнь.

Исследователи отмечают, что в свое время революция вознесла французов «над миром неосмысленных традиций и впервые заставила задуматься о них»². К сожалению, в России не задумываются об этом до сих пор. Между тем в основе российских партий, чисто символически представлявших классы или сословия наборами соответствующих идей, лежала не столько политика, сколько социально-нравственные максимы и (или) утопии – это напоминало переодетый по последней моде традиционализм.

Несомненно, марксизм, адресуясь массам, нес в себе элементы и доисторических поверий, и мессианских надежд, и эсхатологически-хилиастических ожиданий. В связи с этим примечательно странноватое для «материалиста» заявление Ленина о том, что «учение Маркса всесильно, потому что оно верно». Бывают времена, когда, по словам Умберто

¹ Ключевский В.О. Письма, дневники, афоризмы и мысли об истории. – М.: Наука, 1968. – С. 316.

² Анкерсмит Ф.Р. Возвышенный исторический опыт. – М.: Европа, 2007. – С. 445.

Эко, даже «глубоко знающие люди» с легкостью отдаются «ночным химерам»¹.

Поставить магическое на службу бюрократии не удалось, а потому откат от мифического социализма приобрел черты нового доктринального неистовства. Примечательно, что постперестроечные квазиреволюционеры не оставили традиционных упований на власть: их заведомо ложным символом стал Петр I – неуемный недоросль, поднявший Россию на дыбы ради отнюдь не западнической демократии, а собственной власти. Оказывается, что по вневременной шкале интеллигентских оценок петровские метания и бесчинства полагается именовать реформами. Такова неосознанная фетишизация властного, т.е. антиобщественного, начала в современной России, порождающая «революционное» понимание реформ как насильтственных преобразований.

Политическая составляющая кризиса в минимальной степени отвечает классическим понятиям *политии*. Применительно к Смутному времени ее проще назвать боярскими «разборками». И если нынешняя политическая ситуация напоминает картину тех времен, это не случайно.

Российская политика связана преимущественно с сопротивлением слабеющей власти, которое с крайним запозданием приобретает организационное оформление. Скорее, это ритористическая и ригористичная *протополитика*. «У нас выработалась низшая форма государства, вотчина, – писал в свое время В.О. Ключевский. – Это собственно не форма, а суррогат государства»². Всеобщая критика именно *такого* государства и составляет основное содержание российской политики – и это вопреки тому, что «политическая» культура образованного меньшинства заметно отличается от элитистских представлений низов. Ситуация сохранилась до нашего времени, хотя теперь элиты и народ заметно сблизились в своих скептических представлениях о власти.

По большому счету, российская политика – это бунт «детей» против «отцов» за *свою власть* (точнее иллюзии по ее адресу). Не случайно интенсивность такой политики связана с «омоложением» (в начале XX в.) или «старением» (в конце XX – начале XXI в.) населения. Парламентаризм, не имеющий точек опоры в реальном представительстве *меняющихся* интересов масс и больше напоминающий парад идей, может превратиться в боязливую форму подстрекательства.

Партийно-политическая система 1905–1917 гг. стала орудием нагнетания социального хаоса. В ее рамках деструктивный характер приобретало даже неумеренное верноподданничество в лице пресловутых черносотенцев. Из числа последних многие со временем не случайно смирились с

¹ Цит. по: Эко У. Маятник Фуко. – М.: Симпозиум, 2007.

² Ключевский В.О. Указ. соч. – С. 377.

большевизмом, как не случайно и то, что для пришедшего к власти Сталина главным пугалом стали не они, ни Милков, а Троцкий. Впрочем, сам «вождь народов» на поверку оказался вовсе не «консервативным революционером»¹ и не «модернизатором»², а скорее ограниченным отщепенцем, которому русская смута поручила сперва роль «благородного разбойника», затем – многомудрого «отца народов».

Ту же роль сыграла суррогатная многопартийность конца XX в. Впрочем, вялотекущая революция 1991 г. произошла вообще без революционеров, но зато при избытке квазиреволюционеров и псевдореволюционеров. Ей помогло то, что среди «прогрессивной части» номенклатуры было немало скрытых полудиссидентов, легко менявших ориентиры в соответствии с «велениями времени». Поскольку задачу поддержания «обратной связи» между народом и властью новая многопартийность не выполняла, правительство легко преобразовало ее в «полупартийность», которая существует *при власти*, т.е. попросту подпирает ее.

Конечно, в критические моменты истории реальная демократия достойна самое себя лишь в силу способности к самоограничению: европейская политическая мысль – от Франсуа Гизо до Карла Шмитта – не случайно периодически возвращалась к идее «демократического» единства правителей и управляемых (в лучшем случае это оборачивалось авторитаризмом, в худшем – фашизмом). Нынешнее тяготение власти к «суворенной демократии» отражает наивную надежду на достижение такой же управляемской «эффективности», как в прежние – то ли советские, то ли досоветские – времена. Иностранные заимствования претерпевают на русской почве довольно неожиданные метаморфозы: суворенитет буквально означает верховную власть, *независимую* от кого бы то ни было. В распадающемся СССР этот термин поначалу служил эвфемизмом, призванным декларировать независимость мест от центра, а по мере укрепления власти стал прикрывать стремление центра быть независимым от мест. Круг замкнулся – российская власть приблизилась к идеалам Ивана Грозного.

Надежды на гражданина иллюзорны: чувство собственного достоинства у современного россиянина минимально, свою «добрость» он видит в обмане государства и себе подобных. Люди вновь готовы искать традиционный выход – то ли бунт, то ли деспотия, а то и просто смута.

Организационный компонент кризиса связан с растущей неэффективностью, а затем и распадом управляемых структур, включая

¹ Так склонны думать даже серьезные западные авторы (см.: Mayer A. The furies: violence and terror in the French and Russian revolution. – Princeton.: Princeton univ. press, 2000. – P. 616).

² David-Fox M. Multiple modernities versus neo-traditionalism: On recent debates in Russian and Soviet history // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. – Regensburg, 2006. – Bd. 54, N 4. – S. 65.

вновь возникающие. Его острота определяется как внешними воздействиями (неумением реагировать на изменившиеся обстоятельства), так и внутренними сбоями. Кризис усугубляется тем, что люди усматривают теперь в законе «не обдуманную необходимость, а не допускающую рассуждений угрозу»¹. Организационный развал не случайно оборачивается территориальным распадом державы.

Наиболее причудливые параметры организационный кризис приобрел во времена Смуты. Решающую роль сыграла неспособность власти накормить народ во время голода. Не случайно также обилие всевозможных самозванцев. Однако приказной аппарат работал относительно независимо от них – он был более органично связан с местами, чем с правителями и претендентами на их место. Но этот же аппарат обнаружил ставшую классической для России склонность к коррупционному переделу собственности. Позднее один мемуарист писал: «Порой мне кажется, что наша великая Россия только благодаря лихонимству и взяточничеству ее служилых людей, а также беспечности и халатности в верхах, дошла до такой пагубы, как коммунизм»².

Механизмы кризисов управления оставались прежними, хотя к началу XIX в. Россия обладала уже несколько иной – более иноэтничной и идеально-космополитичной управленческой элитой. В принципе, масонствующие управленцы могли бы выстроить в России «регулярную» государственность, столь необходимую для преодоления пережитков удельно-приказной системы. Но это было возможно только при условии синхронизации управленческих инноваций с формированием гражданского общества. Вот об этом последнем не задумывались, хотя провал декабристов давал на этот счет недвусмысленный намек.

Может показаться, что анализ развала империи можно ограничить ее организационно-экономическим аспектом. Это было бы возможно, если бы бациллы разложения порождались только управленческой средой. Но в том-то и дело, что этот процесс развивался в совершенно иных сферах. Если во Франции Старый порядок определялся триадой «юстиция, полиция, финансы», то Россия начала XIX в. намеревалась существовать, опираясь на «православие, самодержавие, народность».

Царская империя вступила на роковой путь, когда ее аппарат стал модернизироваться для более эффективного изъятия податей с косногого и малограмотного населения, не успевая при этом «накормить». Культурные верхи стали казаться низам совершенно чужими, «немецкими», враждебными в своей основе. Важнейшую роль в падении самодержавия сыграл

¹ Ключевский В.О. Православие в России. – М.: Мысль, 2000. – С. 331.

² Кулаев И.В. Под счастливой звездой: Записки русского предпринимателя, 1875–1930. – М.: Центрполиграф, 2006. – С. 147.

«межрегиональный конфликт», подготовленный неумелым разделением в годы войны сферы управления на военную и гражданскую. В целом царизм оказался неспособен вовлечь земские и городские учреждения в органическое сотрудничество в условиях тотальной войны¹. Более того, деньги, выделенные казной на «общественную самодеятельность», стали использоваться против власти. В конфликт втянулись частные предприниматели, использовавшие аргументы либералов для нейтрализации обвинений в провале снабжения армии². Развал власти символизировал пре- словутая «министерская чехарда».

Современный организационный коллапс связан с крахом «распределительной экономики», чудовищно деформированной и отягощенной военно-промышленным комплексом. Распад СССР был подготовлен не действиями всевозможных сепаратистов, а неспособностью центра «накормить» регионы – в них стало складываться представление, что если бы он не изымал сельскохозяйственную продукцию, то они «жили бы при коммунизме». Именно это обусловило развитие центробежных тенденций, которые на деле имеют мало общего с пресловутым феноменом «колониальной неблагодарности». Попросту говоря, произошел саморазвал «государства-склада» – именно такую доисторическую форму государственности в своем военно-коммунистическом рвении вольно или невольно реанимировали большевики.

Как известно, «развитой социализм» в лице комбюрократии и «красных директоров» не мог обслуживать утопию иначе, как с помощью приписок. «Виртуальность» распределительной экономики разворачивала всех и вся. На ее почве складывалось сообщество «неформалов» – именно из их среды (а не из разгромленных диссидентов) составилась оппозиция времен Горбачева. Поскольку со склонностью к управлению у нее дело обстояло плохо, она лишь способствовала разрастанию хаоса.

Организационно-управленческая нестабильность пронизывала все времена президентства Ельцина. Тон задан был экономистами гайдаровской школы, доктринальная решительность которых напоминала о временах военного коммунизма, а стремление перевести нерентабельные отрасли народного хозяйства на режим самовыживания обернулось реанимацией монэкспортной экономики. Между тем хозяйственная «однобокость» всегда уязвима – ситуация сравнима с ролью зернового производства в экономике царской России. С другой стороны, спекуляция советских времен выросла до банковского ростовщичества, причем «рентабельность» здесь оказалась намного выше, чем в секторе реальной экономики. В пу-

¹ Земский феномен: Политологический подход. – Саппоро: Slavic research center; Hokkaido univ., 2001. – С. 197–198.

² См.: Айрапетов О.А. Генералы, либералы и предприниматели: Работа на фронт и на революцию, 1907–1917. – М., 2003. – 256 с.

тинские времена эта тенденция окончательно закрепилась. Возникает вопрос: какое хозяйствственно-организационное будущее ожидает Россию при господстве монопольно-рентных и государственно-ростовщических форм извлечения прибыли?

Как ни парадоксально, организаторам очередного российского дого-няющего рывка приходится вновь – как в начале XX в. – рассчитывать на глобальный кризис – на сей раз финансовый.

В основе **социальной составляющей кризиса** лежит спонтанное стремление к «справедливому» переструктурированию системы – на деле это обернулось стремлением одних социумов выжить за счет других. Каждый из них вел «единственно справедливую» войну. При этом люди последовательно отказываются от официальных вождей, а затем очередных идеиных лидеров в пользу всевозможных диссипативных элементов. Накал страстей определяется не социальным неравенством, а ощущением несправедливости власти и властей.

Маргинализация сословной структуры приняла поистине ужасающий характер во времена Смуты – тяглы люди «перебегали» в другие со словия, служилые убегали со службы, шло тотальное разложение социальной ткани. Процесс не приобрел, однако, необратимого характера: поскольку этому не предшествовали попытки модернизации хозяйства, подгонять распад хозяйственной жизни было некому.

Социальный кризис начала XX в. помимо этого предполагал решительную перетряску верхов и низов. В 1917 г. в конфликт втянулись буквально все «трудящиеся», причем на основе заведомо ложной идентификации: служащие возомнили себя «пролетариями пера» и даже полицейские порой отождествляли себя с «народом». Социальные экспессы психологически стимулировались ненавистью к «эксплуататорам-кровопийцам» – под покровом революционных учений шла спонтанная реанимация крайне архаичных (магических и протосоциальных) представлений. В конечном счете все это обернулось бессмысленным растаскиванием общественного богатства под видом экспроприации «чужих» классов, «враждебных» этносов и отдельных лиц.

Стоит отметить, что социальные страхи вызывали к жизни феномен этноконсолидации и этноизоляции. Паника «распада державы» привела к тому, что это явление получило ложное – сепаратистское – истолкование. На деле так называемые национальные движения начала века были связаны преимущественно со сложностями *социального* выживания, что давало интеллигентным этномаргиналам шанс на лидерство. Примечательно, что большевики, поддерживающие «национально-освободительные» движения *внутри* и *вне* империи до Октября и в последующее время, решительно отмежевались от «буржуазных» националистов.

После распуска Советского Союза получили развитие сходные процессы – попытки селективной приватизации и производственного самоуправления скрывали стихию очередного передела собственности, которая сопровождалась всеобщей растащиловкой. А поскольку советское «общество» было деструктурировано возобладанием пассивно-потребительских интенций над производительными, самостоятельные хозяйствующие субъекты неуклонно вымывались из социального пространства. Стоит напомнить, что у тружеников города и деревни давно сложилась установка на *переориентацию* своих детей на сферу управления или хотя бы *обслуживания*. Это не случайно: официальные принципы стратификации (рабочие, колхозники, служащие) были ложными – «слугами» государства стали все, включая номенклатуру.

П. Бурдье не случайно предположил, что в СССР существовал совершенно иной принцип социальной дифференциации, связанный с «*политическим* (точнее было бы сказать *властным*. – В.Б.) капиталом», определяющим образцы потребления и стиль жизни. Конечно, в целом его определение советской системы как «*политической*» (предельно политизированной), а не «*экономической*»¹, вряд ли можно признать корректным в буквальном смысле слова. Однако несомненно, что иерархия и престиж определялись неравенством применительно к принципам *распределения*, а не труда и производства. Эта система могла держаться до тех пор, пока соотношение достатка и статуса подданных КПСС складывалось в терпимую иерархию социальных энергий, официальных ценностей и бытийственных смыслов.

Как только основные производительные страты – рабочие и колхозники – в 1980-е годы стали утрачивать былую социальную укорененность, а социальный престиж работников сферы обслуживания неоправданно взрос (сыграл свою роль поток нефтедолларов), система потеряла устойчивость. По мере разбухания находящейся в обращении денежной массы произошло резкое усиление социального неравенства по доктринально непредусмотренным параметрам, а именно – по близости к источникам распределения общественного богатства. Не случайно вскоре последовала девальвация образования. Что касается науки, то целые ее отрасли показались попросту ненужными. «Если ты умный, то почему такой бедный?» – этот самодовольный лозунг социальных отморозков 1990-х годов стал определять нравственное лицо системы задолго до ее развода.

Конечно, люди, воспитанные в категориях марксистской политэкономии, будут искать «принципиальные» различия между кризисами применительно к отношениям собственности. Но не стоит обманываться: в

¹ Bourdieu P. La variante «sovietique» et le capital politique // Raisons pratiques: Sur la théorie de l'action. – P., 1996. – P. 33.

1917 г. в условиях нехватки жизненно необходимого люди решили, что справедливость – в ликвидации богатых; в 1991 г. в обстановке тотального дефицита они «дозрели» до идеи избавления от бедных методом шокового «лечения». Социальная справедливость между тем может быть построена только на основе *труда* (индивидуального творческого вклада в создание общественного богатства), а не *распределения* его продуктов государством. Возможно, в этом главный урок российской истории.

Охлократическая составляющая кризиса связана с выдвижением на первый план маргинальных и диссипативных элементов, которые исходят из воинственно-потребительских установок. В этот период правят бал толпы и соответствующие поведенческие стереотипы. Коллективная психика регрессирует, инфантильные эмоции проникают на все уровни социальной структуры. Вожаки охлоса, сами того не сознавая, задают и навязывают цели, установки и образ действия всем социумам (а затем и революционной власти).

Во времена Смуты охлократия означала господство вооруженных разбойников, грабящих всех подряд. Порой атаманы претендовали на роль самозванцев; неудачливые претенденты на престол, напротив, опускались до роли предводителей банд. Поражает жестокость расправ, становящихся демонстративным средством властеутверждения. Даже после воцарения Михаила Романова в Москве страна оставалась в развалинах, повсюду бродили грабительские шайки под названием казаков.

В 1917 г. охлократия означала господство толпы и самосудных расправ на улице, особенно заметных на фоне слабеющей власти (согласно Э. Дюркгейму, генезис «цивилизованного» наказания начинается с регламентации процедуры самосуда). При этом обнаружилось, что «уличные революционеры» действуют независимо от партийно-политических деятелей даже в тех случаях, когда прикрываются их именами. Революция в целом произошла совсем не в тех формах, на которые рассчитывали политики, и эта тенденция усиливалась. Начиная с 1918 г. целые регионы оказывались во власти «революционных» банд неопределенной (или перманентно изменчивой) идеально-политической ориентации.

Наиболее вызывающий характер охлократия приобретает в области культуры. Охлос отождествляет свое бытие – реальное или мнимое – с господством «балаганной» культурной матрицы. Поэтому толпы утверждают свое господство демонстративным поношением старой культуры и утверждением субкультурной вседозволенности. Впрочем, карнавал революции вовсе не обязательно должен быть кровавым в буквальном смысле слова.

Охлос кардинально меняет систему взаимозависимостей между информационным пространством и социальной энергетикой. При слабости последней – фактически за отсутствием полноценного общества – ох-

лократия может приобрести «замещенный» характер, воплощенный во всесилии СМИ. Не случайно в конце XX в. произошло вторжение «низких» и уличных жанров в *mass media*. Говорить о том, что обществу навязываются насилиственно-органистические формы поведения сверху, вряд ли справедливо; толпы сами требует от политиков «балаганных» действий – эпатаж рождает псевдохаизму. Фигура какого-нибудь Жириновского во все не случайна. В СМИ фактически легализовалась «культура дна», которая не без успеха принялась навязывать обществу свои «нравственные» нормы и приоритеты. Впрочем, отказ от запретов, как известно, провоцирует тотальное запретительство.

В условиях охлократии номинальной власти остается только имитировать свое присутствие – это помогает ей выжить. Дело в том, что в условиях, когда связь лидер–масса приобретает «вождистский» характер, рождается система клановых и клиентальных коммуникаций, объективно нуждающаяся в своем верховном арбитре. В этом случае феномен Ельцина поучителен, Путина – символичен. В любом случае охлократия провоцирует диктатуру, выставляя прежнюю власть в роли надоевшего клоуна.

Рекреационный компонент кризиса связан с самоупорядочением тонкой материи – смеси потаенных страхов, надежд и утопий. Именно их непредсказуемые комбинации вынуждают силы, работавшие на разрушение системы, помимо своей воли содействовать ее воссозданию. В значительной степени это обеспечивается взаимоуничтожением и (или) энергетическим истощением диссипативных и пассионарных элементов. Сказывается и парадокс позиционирования – любой субъект изнутри определенной культуры невольно воспроизводит заложенные в ней стереотипы.

Если старая система отталкивала народ от правителя, то рекреационные процессы означают восстановление властной пирамиды *снизу* с помощью *укрепляющейся* веры.

В Смутное время историческая (но не династическая!) власть была спасена низами. Примечательно, что в ходе возрождения самодержавия возникали всевозможные соборные представительные органы («советы»), которые затем сходили на нет – была система властовования воссоздавалась вкрадчиво. Но уже «тишайший богомолец» Алексей Михайлович внушал привычный страх. В значительной степени это было связано с закреплением патерналистско-репрессивной системы знаменитым Соборным уложением (1649 г.).

Почти 1000 статей этого своеобразного свода законов были выстроены в характерной последовательности: в 1-й главе предписывалось сжигать богохульников и «казнити смертию» за прерывание литургии, за непристойные речи патриарху полагалась торговая казнь (битие кнутом), там же воспрещались «челобития» царю и патриарху в церкви; во 2-й –

предписывалась смертная казнь за один лишь «умысел» против царя, а также за самозванство и измену; в 3-й – предусматривались наказания за «бесчинства и брани» на государевом дворе. Смертная казнь грозила также за самовольный выезд за границу с целью измены (глава 6-я). Громадное внимание уделялось сбору налогов – вплоть до зафиксированного в последней 25-й главе положения о корчмах, запрещавшего безлицензионное опаивание населения.

Патерналистский характер Уложения отражало то, что глава 21-я «О разбойных и татных делах» открывалась статьей о смерти за отцеубийство, причем отец, убивший сына, отделялся годом тюрьмы и церковным покаянием¹. Разумеется, основная масса статей отражала ход закрепощения крестьян и посадского населения и практику навязывания государством удобной для него сословной структуры. По подсчетам исследователей, предусматривалось 60 случаев применения смертной казни за преступления против земельной *собственности* – новым верхам необходимо было закрепить за собой плоды ее грандиозного передела.

Таким образом, Соборное уложение – крепостнический плод уроков Смуты. Но, между прочим, попытка создания вседесущего фискально-террористического государственного аппарата повлекла за собой серию бунтов, увенчавшихся действиями Степана Разина. Конечно, народ бунтовал против чиновников, а не против самодержца или монархического принципа.

Не приходится пояснять, что события последнего времени весьма напоминают итоги Смуты. Можно даже говорить о том, что анализ итогов Смуты мог бы рассказать о современности больше, чем все современные политологи вместе взятые. Разумеется, за тем исключением, что в XVII в. не было ни *mass media*, ни интеллигенции, изъясняющейся на языке мифогенерирующих абстракций.

Революционеры XX в. пребывали в уверенности, что смогут создать не просто справедливое, но и качественно новое общество. На деле вновь произошло возрождение *привычной для масс* государственности с помощью «перебесившейся» под покровом утопий традиции. Ельцинская власть укрепилась, царственно даровав людям *временное «право на анархию»* в обмен на лояльность режиму. В этом тоже ничего удивительного: как только у охлоса истощаются фантазии знаковой рефлексии, как только толпа убеждается, что винить и наказывать больше некого, а из ее революционных утопий не сшить кафтаны, приходит момент торжества для притаившегося призрака власти.

Рекреационный процесс получает преобладание тогда, когда «человек толпы» окончательно соглашается на роль существа, ведомого госу-

¹ Соборное уложение царя Алексея Михайловича 1649 г. – М.: Гос. изд-во юрид. лит., 1957. – С. 22, 28, 430.

дарством – не важно каким. В 1925 г. один интеллигент так описал это состояние в письме из Советской России: «...Ненависть к большевикам огромная, но и только» – столь же огромна и *пассивность* (курсив мой. – В.Б.). Всеобщее желание сводится тому, «чтобы был какой-нибудь законный *modus vivendi*, а не только революционное усмотрение»¹. Государственность в очередной раз возрождалась на *уставшем* социальном пространстве. Большевики облегчили проблему выбора, предложив квазиэлигию построения «социализма в одной, отдельно взятой стране», вполне изоморфную традиционным утопиям. Но они же, уступив националистическим элитам и тем самым облегчив задачу сохранения *собственной* власти, обозначили процесс, который может перерости из кризисного в *энтропийное* качество. Такая перспектива, увы, слишком заметна.

Российская система обретает устойчивость, только переломав народ. События последних десятилетий это подтвердили. Конечно, рекреационный процесс корректируется и стимулируется стандартными приемами самопрезентации власти. Отсюда попытки создания образов «тишайшего» самодержца, «гения всех времен и народов», «непогрешимого и вездесущего» президента и т.д. и т.п. С помощью этих образов власть добивается того, чтобы ее подданные «сосредоточили свой гнев не на режиме в центре, а на мелких чиновниках, местных администраторах, в традициях народного монархизма сохраняя лояльность к самому главе государства»². «Государство спектакля» иначе существовать не может.

* * *

Что же такое смута в России? Это системный кризис недееспособной государственно-демографической структуры (реальной и воображаемой), включающей в себя относительно кратковременные «революции» (перевороты и повороты). Последние – не автосубъектны, а составляют промежуточные этапы синергетического процесса, направленного на самосохранение определенного типа государственности. «Настоящая» революция в России пока вообще *невозможна* – нет общества, способного переложить на себя *основное бремя* управления по-прежнему турбулентным людским пространством.

С чем связана перспектива избавления от кризисной цикличности – установить нетрудно. Это возможно как на путях обуздания утопий, проекторства и социальных фантазий, так и избавления от фетишизации и

¹ Струве П.Б. Дневник политика, (1925–1935). – Москва–Париж: Русский путь, 2004.

² Эта характеристика Л. Энгельштейн, относящаяся к подвергнувшимся большевистским гонениям сектантам (Энгельштейн Л. Скопцы и Царство Небесное: Скопческий путь к искуплению. – М.: Новое лит. обозрение, 2002. – С. 275), с полным основанием может быть отнесена к мироощущениям основной массы советских людей.

«зрелищности» власти. В общем, это проблема преодоления иллюзорности социального бытия, подгонки его под «Град небесный» ради осмысленных практических целей, это «заземление» общественного сознания для избавления от детской привычки ожидания «чуда». Но есть ли в современной России силы, готовые и способные осуществить подобное?

И.М. КЛЯМКИН

ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ПРОБЛЕМА¹

...Тема этого доклада – особенности сегодняшней ситуации в России, переживаемого ею социокультурного кризиса. Однако преобладающая его часть касается российской истории. Этот акцент на прошлом сделан сознательно. Потому что ... своеобразие переживаемого момента... можно понять только в контексте отечественной истории.

Наше настоящее – это, одновременно, и незавершенное прошлое, и прошлое завершенное. Оно завершено, потому что прежние способы решения проблем, стоящих перед страной, исторически и культурно исчерпаны. И оно остается незавершенным, потому что новые способы российское общество не в состоянии пока ни выработать самостоятельно, ни заимствовать извне. В этом и заключается переживаемый им кризис.

Сила, вера и закон в российской истории

Государственность и, соответственно, культура послемонгольской Московии изначально складывались как государственность и культура милитаристского типа. Эта особенность была зафиксирована еще старыми русскими историками: Василий Ключевский отмечал, что московское государство характеризовалось «боевым строем»², а Николай Алексеев – что оно выстраивалось по модели «большой армии, по принципу суровой тягловой службы»³. Сходные с этими характеристики можно найти и у Сергея Соловьева.

Нетрудно заметить, что речь идет о милитаризации не только в смысле расходования большей части ресурсов на военные цели, но и о

¹ Печатается по: Клямкин И.М. Демилитаризация как историческая и культурная проблема: Доклад на семинаре «Куда ведет кризис культуры» в фонде «Либеральная миссия» // Куда ведет кризис культуры? Опыт междисциплинарных диалогов. – М.: Новое издво, 2011. – С. 261–306.

² Ключевский В. Курс русской истории: В 5 ч. – М.: Соцэкиз, 1937. – Ч. 2. – С. 424.

³ Алексеев Н. Русский народ и государство. – М.: Аграф, 2000. – С. 73.

способе организации государства, равно как и его взаимоотношениях с населением. О милитаризации, распространяющейся не только на военное, но и на мирное время, что не могло не размывать в сознании людей границы между войной и миром. И, соответственно, не могло не сказываться на утверждавшемся в Московии типе культуры. Если, вслед за нашими культурологами, признать, что лучше всего он характеризуется понятием «раскол» (между личностным и антиличностным началами, между культурой государственной и догосударственной), то можно сказать: милитаризация повседневности – это способ существования культуры в расколе.

Такое устройство государства означало, что из трех базовых факторов, его консолидирующих – силы, веры и закона, – основополагающим и системообразующим фактором выступала сила, а два других были по отношению к ней подчиненными и к ней адаптировались. Так, православная вера, заимствованная у Византии, корректировалась с учетом того, что самой Византии не удалось устоять под натиском османов: вера, которая, будучи истинной, Византии не помогла, дополнялась московскими идеологами более высокой духовной инстанцией – *правдой*, проверяющей приверженцев веры на искренность. Правдой, к которой допустимо принуждать силой¹.

По сути, то было поиском культурного синтеза османского султанизма – иноверческого, но победоносного – с православием. Политическим персонификатором этого синтеза стал Иван Грозный: его репрессивная практика утвердила в Московии самодержавный принцип правления, который и означал верховенство силы и над верой, и над законом. Верховенство ее над верой нагляднее всего проявилось в убийстве митрополита Филиппа, чья «неправедность» проявилась в протесте против произвола силы, а ее верховенство над законом – в опричнице. Показательно, что учреждение последней было формально санкционировано Боярской думой, наделенной Судебником 1550 года законодательными полномочиями, лишь после устрашающих выборочных казней думцев и поддержки царя московским людом. Это свидетельствует о том, что такая царская правда имела и глубокие народные корни...

Петр I, приспособливавший милитаристскую государственность к условиям Нового времени, старомосковскую веру (вместе с правдой) отодвинул на идеологические задворки, а закон, широко и монопольно им используемый, превратил в разновидность военного приказа. Он создавал и создал милитаристскую систему, предназначенную исключительно для

¹ Подробнее о понимании московскими идеологами и правителями понятий «веры» и «правды» см.: Алексеев Н. Указ. соч. – С. 54–59; Люкс Л. Третий Рим? Третий рейх? Третий путь? Исторические очерки о России, Германии и Западе. – М.: Московский философский фонд, 2002. – С. 12–18; Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. – М.: МИРОС, 1998. – С. 77–85.

войны и легитимируемую военными победами. Он, как и старомосковские идеологи, тоже любил ссылаться на печальную судьбу Византии, но причину ее падения усматривал не в слабости ее веры, а в том, что греки слишком много уделяли ей внимания. Византия погибла, потому что не сумела осуществить милитаризацию государства, – вот в чем смысл и пафос петровского понимания судьбы Второго Рима. И потому «не подлежит ослабевать в воинском деле, дабы с нами не так сталося, как с монархию греческой»¹.

Милитаризация жизненного уклада, достигшая предельных форм при Петре, не могла не смениться послепетровской демилитаризацией. Сверхнапряжение, требуемое во время больших войн от элит и населения, не может быть увековечено; казарменная организация жизни не может стать жизненной нормой. Поэтому движение в направлении демилитаризации началось сразу после смерти Петра и продолжалось, не без отступлений и попытных шагов, до окончания жизненного цикла самодержавно-монархического государства.

Наиболее важные вехи на этом пути – указ Петра III о вольности дворянства и последующие жалованные грамоты Екатерины II дворянству и горожанам, отмена крепостного права Александром II и октябрьский Манифест 1905 года, впервые поставивший закон выше самодержавия и открывший дорогу представительному правлению. И этот растигнувшийся почти на два столетия демонтаж милитаристской «вертикали власти» завершился, как известно, обвалом государства. Потому что демонтаж этот не сопровождался накапливанием достаточных экономических, политических и, что особенно важно, культурных предпосылок для обретения государством и социумом нового качества, альтернативного милитаристскому.

Культурная европеизация дворянской элиты, доведенная преемниками Петра I до освобождения дворян от обязательной государственной службы, разрушала «парадигму служения»... Европеизация, отделившись от инициировавшего ее самодержавия, начала самостоятельную жизнь в культуре, политическим итогом чего стало выступление декабристов. А их неудача, сопровождавшаяся появлением асоциального типа «лишнего человека», показала, что у европеизированного дворянства не было ресурсов для завершения российской европеизации. Потому что противостояла им не только охранительная культура фамусовых и скалозубов, но и культура низовая, культура подавляющего большинства населения страны. Во времена декабристов это, быть может, еще не было очевидно, но в начале XX века элитный европеизм и низовая архаика столкнулись в непримириимом конфликте в Таврическом дворце, где заседала Государственная дума.

¹ Подробнее см.: Грушкин А.И. Публицистика Петровской эпохи // История русской литературы: В 10 т. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941–1956. – Т. 1: Литература XVIII века.

В русских пословицах и поговорках, анализируемых Павлом Солдатовым в статье «Русский народный судебник»¹, перед нами предстает культура, которая одновременно и копирует культуру официальную, и выступает альтернативой ей. При этом в культуре официальной народное сознание не различает ее милитаристскую и демилитаризаторскую версии. Поэтому, возможно, и не различает, что демилитаризация к тому времени, когда Владимир Даль составлял свой свод пословиц и поговорок, крестьянское большинство населения еще не затронула. А освобождение дворян от обязательной службы при сохранении крепостного права выглядело в его глазах нарушением того неписанного принципа, на основе которого была возведена послемонгольская московская государственность. Принципа, согласно которому крестьянин служит дворянину лишь постольку, поскольку тот служит царю².

Как бы то ни было, в русских пословицах и поговорках зафиксировано однозначно враждебное отношение населения к дворянству. Но – не только к нему. Оно распространялось и на сошедшее уже с исторической сцены боярство, и на чиновников, и на судей, и на священников. Оно распространялось на все государственные институты, включая армию, которая, судя по народным изречениям, выглядела в глазах людей не символом державной мощи и военных побед, а символом жизненных тягот. Все, что касалось государства, воспринималось как воплощение чужой и чуждой силы, веру и закон поправшей. Поправшей, говоря иначе, ту самую правду («велика святорусская земля, а правде нигде нет места»), именем которой и освящалось в свое время создание послемонгольской московской государственности.

Но эта народная правда выступала не как альтернатива враждебной государственной силе, а как ее инибитье. Если наши культурологи считут тут уместным слово «ментальность», то я возражать не буду. Но то была не ментальность сопричастности господствовавшей силе, а ментальность ее отторжения в ожидании иной силы, «святорусской земле» соответствующей. То была ментальность временного проживания на оккупированной территории в смутном предощущении будущего «и на нашей улице праздника», до наступления которого все профанно, все не всерьез, а потому все – «авось», «небось» да «как-нибудь».

А как выглядела эта народная правда в практическом воплощении, наглядно продемонстрировал Емельян Пугачев. Он, напомню, обещал уничтожить всех господ, расположившихся между царем и народом, поголовно превратить своих подданных в казаков, а государство, соответст-

¹ Солдатов П. Русский народный судебник. – Режим доступа: <http://www.liberal.ru/articles/4801/>

² Подробнее см.: Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. – Ростов н/Д: Феникс, 1999. – С. 470.

венно, перестроить по образцу *казачьего войска*. Таким или примерно таким было народное представление о Должном. Представление об альтернативной милитаризации, призванной сменить антагонистов Екатерининскую демилитаризацию дворянства. А впоследствии выяснится, что это Должное не может быть вытеснено из культуры и демилитаризацией более глубокой, будь-то освобождение крестьян или даже ограничение самодержавия парламентским представительством с сопутствующим предоставлением населению политических прав.

Это Должное, как и во времена декабристов, не имело точек соприкосновения с идеалами русских европеистов. Но после самоограничения царя оно утратило контакт и с ним. Поколебленность его сакральности таким самоограничением лишила его возможности сохранять зафиксированный в пословицах и поговорках образ «царя-грозы», потенциально способного противопоставить свою божественно-праведную силу силе его неправедных слуг. Народное представление о Должном, долгое время ассоциировавшееся именно с царем, оказалось политически бесхозным. Отныне вопрос заключался в том, кому это представление удастся приватизировать. Удалось, как известно, большевикам.

Их победа – едва ли не самое убедительное свидетельство того, что и к началу XX века главным государствообразующим фактором в народной культуре, ее основанием оставалась сила. Это и стало той ловушкой демилитаризации, в которой оказалась российская государственность. И вряд ли кто трагизм складывавшейся ситуации уловил лучше и глубже, чем Лев Толстой, призвавший нейтрализовать силу своим «непротивлением злу насилием». Не случайно, думаю, родиной толстовства оказалась именно Россия.

Однако это предельное в своей абсолютности моральное основание, предложенное писателем для выхода из тупика, не могло быть культурой воспринято. Запрос на предельное в ней действительно существовал. Но он, во-первых, существовал не в верхах, которым Толстой адресовал свою идею, а в народных низах. Во-вторых, то был запрос на *иное* предельное, ассоциировавшееся как раз с силой, а не с морально-религиозным противостоянием ей. И он не мог быть потеснен не только апелляциями к законности, к возможностям которой и Лев Николаевич относился, как и к возможностям силы, скептически, но и взыванием к вере, на которую он уповал.

Будь иначе, большевикам не удалось бы обойтись с верой и законностью так, как они обошлись. Не удалось бы им и на протяжении семи с лишним десятилетий легитимировать свою власть, апеллируя к октябрьскому вооруженному перевороту 1917 года. Коммунистическая идеология могла сыграть свою роль лишь постольку, поскольку опиралась на силу и милитаристский принцип, заложенный в основание государства и социу-

ма. И вовсе не случайно Сталин взял себе в исторические союзники ключевые фигуры первого милитаризаторского цикла – Ивана Грозного и Петра I, а не самодержавных персонификаторов послепетровской демилитаризации, списанных в разряд реакционеров.

Советская милитаризация жизненного уклада, которая началась с политики «военного коммунизма» и пик которой приходится на сталинскую эпоху, была беспрецедентной по глубине и всеохватности даже для России. Не было еще в ее истории столь явного уподобления ее «осажденной крепости», окруженней внешними врагами, которые, опираясь на своих агентов внутри страны, хотели якобы вернуть «проклятое прошлое» с его «помещиками и капиталистами» и прочей неправедной публикой. Не было, говоря иначе, столь явного уподобления мирной повседневности военной, что нашло свое отражение и в официальном языке.

Универсальное значение приобрело в нем слово «победа», которое распространялось на любые успехи и достижения – как реальные, так и имитируемые. Предельно широкое значение было придано и таким словам, как «бой», «битва», «сражение», «штурм», не говоря уже о «борьбе»: она могла относиться и к проведению коллективизации, и к сбору урожая, и к форсированному строительству нового завода, и к развитию метода социалистического реализма. Но едва ли не самым универсальным наряду с «борьбой» в коммунистическом лексиконе стал «фронт», который мог быть трудовым, промышленным, сельскохозяйственным, идеологическим, культурным, бытовым – каким угодно.

А еще была *героизация труда* как новый способ его стимулирования, были ордена и медали, приравнивавшие достижения в работе к военному подвигу («из одного металла лют медаль за бой, медаль за труд»). И была милитаризация самой правящей партии, которая во всех своих уставах называла себя *боевой организацией*, а ее члены именовались «солдатами партии», призванными служить ей «беззаветно», т.е. без всяких условий и контрактов. Была, наконец, атмосфера тотальной секретности – для «осажденной крепости» вполне органичная.

Я столь подробно останавливаясь на этих общеизвестных явлениях только потому, что в контексте культуры они до сих пор не рассматриваются. Но в таком случае возникновение и консолидация советского государства и советского социума оказываются необъяснимыми. Это государство и этот социум могли возникнуть только потому, что в народной среде имело место враждебное отношение ко всем институтам государства прежнего («неправедного») и ко всем социальным группам, с которыми оно ассоциировалось. Потому что власть этих групп воспринималась как временная, которой предстоит исчезнуть примерно так же, как исчезла оккупантская власть монголов. Потому что существовал смутный запрос на их насильственное устранение. Этот запрос и воплотился в ходе совет-

ской альтернативной милитаризации, для осуществления которой в народной среде нашлось достаточное количество желающих.

Но и эта тотальная милитаризация, подобно петровской, оказалась временной и преходящей, сменившись после смерти Сталина очередной демилитаризацией. И очень быстро выяснилось, что бесконтрольную силу и внушаемый ею страх, от которых советская элита и население успели устать, заменить нечем. Выяснилось, что ни вера (коммунистическая идеология), ни «социалистическая законность», эту веру призванная обслуживать, сами по себе не в состоянии предохранить государство и общество от разложения. А после того, как от выдохнувшейся коммунистической веры отказались, и советское государство распалось, обнаружилось, что и возникшему на его руинах новому Российскому государству альтернативу консолидирующей и развивающей роли силы найти непросто.

В культуре, какой она в России сложилась, для этого в очередной раз не оказалось ресурсов. Вступление в цикл послесталинской демилитаризации, в котором страна пребывает до сих пор, обернулось проблемой, для России беспрецедентной. Обернулось кризисом культуры такой глубины, что выход из него почти не просматривается...

Особый путь в Новое время

В конце XIX века Герберт Спенсер, продолжая интеллектуальную традицию, идущую от Огюста Конта, указал на различие двух типов социальной организации («воинствующего» и «промышленного») и, соответственно, двух типов кооперации («насильственного» и «добровольного»). «Типичный строй первой системы, – писал он, – мы видим в регулярной армии, все единицы которой в разных чинах должны выполнять приказания под страхом смертной казни и получают пищу, одежду и плату по произвольному распределению; типичный строй второй системы представлен армией производителей и потребителей, которые входят между собой в соглашение и за определенную плату оказывают определенные услуги и которые, по желанию и по предварительному заявлению, могут вовсе выйти из организации, если она им не нравится»¹.

Автор отмечает также, что второй, добровольно-контрактный тип социальности существовал не всегда, что он – порождение европейского Нового времени... Можно сказать, что Спенсер рассматривает милитаризацию не как некое культурно-генетическое свойство тех или иных цивилизаций, а как историческую стадию, через которую все они (или почти все) в своем развитии проходят. Я понимаю, что такой ход мысли близок сторонникам стадиального подхода к изучению истории, равно как и то,

¹ Спенсер Г. Личность и государство. – Челябинск: Социум, 2007. – С. 1–2.

что он, этот ход мысли, увеличивает степень оптимизма относительно будущего России. Мол, раз все проходят через этап милитаризации, а потом из него в разное время и с разной скоростью выходят, то рано или поздно выйдет и она. Возможно, так оно и будет, но стадиальный подход сам по себе ничего такого не доказывает.

Потому что из принудительно-милитаристской социальности можно прорваться в социальность добровольно-контрактную, а можно и не прорваться, подвергнувшись необратимому разложению и гибели. С некоторыми странами, оказавшими влияние на Россию, так и произошло – в отличие от стран Запада, они в Новое время прорваться не сумели. Однако Россия на вызовы этого времени ответить все же смогла. Ответить, оставаясь в границах милитаристского типа государственной и общественной организации и используя его потенциал. Ответить, говоря иначе, создав собственное Новое время, в чем-то сходное с европейским, но в главном существенно от него отличающееся.

В чем же причина таких различных исторических маршрутов и судеб? Думаю, что, не в последнюю очередь, ее надо искать в способах милитаризации и создаваемых ими культурных предпосылках дальнейшего развития либо, наоборот, барьерах на его пути. Именно в этом заключается принципиальное отличие России от Европы.

Средневековый европейский феодализм представлял собой, безусловно, одну из моделей милитаристской *организации* государства и социума. Многоступенчатая феодальная иерархия, возведенная на основе условного владения землей в обмен на службу, была иерархией военной, на вершине которой находился король, а в подножье – крепостной крестьянин, обслуживавший все звенья этой иерархии. Особенность же последней заключалась в том, что отношения в ней строились на основе правовых принципов, когда у вассалов были не только обязанности перед сюзеренами, но и определенные права. Это была милитаристская модель, включавшая в себя договорную, контрактную составляющую, предусматривавшую и судебную процедуру разрешения конфликтов. Или, говоря иначе, милитаристская модель, потенциально способная к качественной культурной трансформации.

В постмонгольской Московии ничего подобного не было. Точнее, было условное владение землей, которой дворяне наделялись в обмен на государеву службу, но на этом сходство заканчивалось. Московия не знала ни феодальной сюзерен-вассальной иерархии, ни присущих ей договорно-правовых отношений и рыцарской морали. Здесь изначально утверждалось то, что большевики впоследствии называли «беззаконным служением». То есть служением, никакими нормами и правилами не опосредованным. Служением, в котором приказ не оставлял места для самостоятельной роли закона. Реально же это означало формирование культуры всеобщего

холопства по отношению к великим князьям и царям московским: в официальном языке оно стало закрепляться уже при Иване III¹, которого некоторые историки склонны считать почему-то эталоном русского европеизма.

Не возьмусь сейчас обсуждать вопрос о том, были ли у такой милитаризации ментальные источники в российском социуме или культура «беззаботного служения» (она же культура холопства) была наследована сверху. Факт лишь то, что она укоренилась, а укоренилась потому, что альтернативы ей в постмонгольской Московии не выдвигалось. Она просматривается разве что в княжеско-боярской аристократии, о чем можно судить, например, по переписке Ивана Грозного с Андреем Курbsким. Но если помнить о поведении последнего в его литовском имении после бегства из страны², то не избежать вывода, что московская аристократия не хотела царского произвола по отношению к себе при сохранении права на свой собственный произвол в отношении населения. Поэтому московский люд и поддержал Ивана Грозного в его конфликте с боярами, став низовой опорой опричнины. Поэтому в народном сознании, как свидетельствуют о том русские пословицы и поговорки, сохранялся негативный образ боярства и спустя многие десятилетия после того, как оно перестало существовать.

Понятно, что при таком положении вещей не могли сложиться и утвердиться и институты феодального сословного представительства. Но причины тому были не только внутри страны. Дело в том, что в Европе ко времени освобождения Московии от монголов феодализм уже уходил в прошлое, вытесняясь монархическим абсолютизмом и сопутствовавшей ему централизацией. Но складывавшаяся самодержавная русская государственность по своей политической и культурной природе с этим абсолютизмом имела очень мало общего. Самодержавие укреплялось посредством усиления милитаризации. Утверждение же европейского абсолютизма означало, наоборот, демилитаризацию социума.

С появлением в XV веке огнестрельного оружия и резко возросшей в армии роли пехоты пошло на убыль и военное значение феодальной рыцарской конницы, а вместе с этим оставалась в прошлом и зависимость монархов от претендовавших на политическую субъектность баронов³. Европейские армии стали становиться наемными, оплачивавшимися из казны. От социума они отделились. И феодалы, которые утрачивали свою военную функцию и власть которых на местах все больше ограничивалась усилившейся королевской бюрократией, потянулись в столицы, чтобы

¹ Подробнее см.: Кобрин В.Б., Юрганов А.Л. Становление деспотического самодержавия в средневековой Руси (К постановке проблемы) // История СССР. – М., 1991. – № 4. – С. 54–64.

² См.: Юрганов А. У истоков деспотизма // Знание-сила. – М., 1989. – № 9. – С. 22–27.

³ Розенберг Н., Бирдцелл Л.Е., мл. Как Запад стал богатым: Экономическое преобразование индустриального мира. – Новосибирск: Экор, 1995. – С. 69–73.

искать у монархов службы. Но при этом последние на феодальную собственность не покушались: бароны могли не служить, оставаясь землевладельцами. Договорно-правовая традиция, заложенная в феодальную эпоху, из культуры полностью вытеснена не была, преемственность с той эпохой сохранилась.

В послемонгольской Московии вектор развития был иным. Здесь создавалось сословие служилых дворян, обязанных, вместе с боярской элитой, пожизненно выполнять воинские повинности. А так как землю, которой великие князья и цари московские расплачивались с дворянами, надо было обрабатывать, приходилось закрепощать крестьян. То, что в Западной Европе уже становилось прошлым, в Московии выступало настоящим и будущим. Милитаризация и в данном отношении будет завершена Петром I, заставившим дворян находиться в воинских частях постоянно (а не только во время военных действий), а также принудительно превратившим часть крепостных в пожизненных солдат и создавшим таким образом регулярное войско.

Это была модель, альтернативная европейской. Это был «особый путь» адаптации к Новому времени, выбор которого, помимо прочего, обусловливался и тем простым соображением, что русскому самодержцу, в отличие от европейских монархов, наемную армию нечем было оплачивать. Попытки формирования такой армии стали предприниматься лишь в XVII веке, но обязательность дворянской службы при этом под сомнение не ставилась.

Существуют два способа приращения общественного богатства – силовой захват чужих ресурсов и торговля, стимулирующая производительную деятельность. Им как раз и соответствуют те два типа социальности, о которых писал Герберт Спенсер. И именно в то время, т.е. в конце XV века, когда Московия высвободилась из-под монгольской опеки, в Европе начинал складываться тип социальности и культуры, противостоявший милитаристскому. Свободная городская среда, к тому времени уже сформировавшаяся в результате долгой борьбы городов с феодальными баронами, способствовала появлению фигуры *профессионального торговца*, добившегося права торговать не по предписанным, а по добровольно оговариваемым – с продавцами и покупателями – ценам¹.

Соответственно, формировались и институты, такую деятельность обслуживавшие, а именно – системы правовой защиты контрактов, прав собственности и страхования рисков, системы банков, использовавших векселя, и некоторые другие². В свою очередь, наличие таких институтов

¹ Розенберг Н., Бирдцелл Л.Е., мл. Как Запад стал богатым: Экономическое преобразование индустриального мира. – С. 83–85.

² Там же. – С. 122–129.

способствовало вызреванию новой морали, санкционированной религией и предполагавшей доверие друг к другу партнеров, не находившихся в родственных отношениях¹. Этот городской уклад и стал опорой складывавшегося абсолютизма в его противостоянии феодальным баронам: богатевшие города становились важнейшим источником налоговых поступлений и тем самым ослабляли финансовую зависимость monarchov от феодалов и от их военных услуг, характер которых уже не соответствовал к тому же вызовам времени.

Купцы, как известно, были и в Московии. Но никакого собственного социокультурного уклада они в ней не создали и создать не могли. Маркиз де Кюстин, посетивший Россию в XIX веке, при Николае I, отметил, во-первых, их относительную немногочисленность и, во-вторых, отсутствие с их стороны какого-либо влияния на происходившее в стране². А несколько десятилетий спустя, когда в ней стали создаваться акционерные общества, русские купцы не обнаружили желания вступать в них, предпочитая им традиционные семейные формы ведения бизнеса³. Деловое доверие между людьми, не состоявшими в родстве, в России не появилось и спустя столетия после того, как оно закрепилось в правовых и моральных нормах в европейской культуре.

Русское купечество, в отличие от европейского, возникло не из самоуправлявшейся городской среды. Такая среда для складывавшегося милитаристского государства была бы инородной и антисистемной, и потому там, где она в предыдущую эпоху сформировалась, она подавлялась, свидетельством чему – судьба Новгорода. Русское купечество было независимым в своей деятельности лишь в той мере, в какой это сочеталось с полной зависимостью от государя. О европейских правовых институтах и коммерческих технологиях, упомянутых выше, не было и речи⁴. В эпоху послепетровской демилитаризации положение купцов, естественно, менялось, их положение становилось более устойчивым и гарантированным, но это было разве что удлинением поводка, на котором их держала власть.

Как бы то ни было, таким источником приращения богатства страны, как на Западе, купцы в России не стали. Не стали они и социальным и культурным субъектом, способным выдвинуть и реализовать альтернативу российской милитаризации и российскому типу демилитаризации. Не-

¹ Розенберг Н., Бирдцелл Л.Е., мл. Как Запад стал богатым: Экономическое преобразование индустриального мира. – С. 130–132.

² Де Кюстин А. Россия в 1839 году // Россия первой половины XIX в. глазами иностранцев. – Л.: Лениздат, 1991. – С. 512.

³ История предпринимательства в России: В 2 кн. – М., 2000. – Кн. 2.– С. 228–231.

⁴ Кулишер И.М. История русского народного хозяйства. – Челябинск: Социум, 2004. – С. 123.

смотря на огромные масштабы благотворительности¹, их общественный статус по сравнению с дворянством и чиновничеством, оставался низким, равно как и престиж их деятельности². Не было у них и точек соприкоснения с той культурой большинства населения, об особенностях которой говорилось выше. Перед первыми выборами в Государственную думу российские предприниматели создали несколько партий, но эта попытка обрести субъектность полностью провалилась.

Тем не менее в границах тех целей, которые ставили перед собой и страной ее правители, отечественный способ милитаризации государства и социума нельзя признать неудачным. Россия, в отличие, скажем, от монгольской и Византийской империй, прорвалась в Новое время, а в отличие от тоже вошедшей в него империи Османской, закрепилась в нем уверенно и надолго. Она сумела стать пионером двух беспрецедентных и тоже милитаристских по своей природе технологических модернизаций (петровской и сталинской), вторая из которых завершилась обретением сверхдержавного статуса.

Это стало возможным потому, что в культурном коде большинства населения сила доминировала над верой и законом. В данном отношении Новомосковия большевиков мало чем отличалась от Московии Рюриковичей. Но факт ведь и то, что советская сверхдержава, войдя в цикл послесталинской демилитаризации, обвалилась, став первой континентальной империей, рухнувшей в мирное время. И сегодня мы видим, как послесоветская государственность в этом цикле застrevает – подобно тому, как в своем демилитаризаторском цикле застrella когда-то государственность досоветская. Тогда ее из этого состояния вывели в новую милитаризацию большевики. Но сегодня страна, похоже, оказалась перед проблемой, с которой никогда раньше не сталкивалась.

Кризис развития или кризис упадка?

Почему российские демилитаризации сопровождаются кризисными явлениями, ведущими к государственному распаду? Потому, думаю, что они выявляют хроническую болезнь отечественной государственности. Болезнь заключается в том, что во всех своих исторических формах государственность эта выступает не столько выражением общего интереса, консолидирующего интересы частные и групповые, сколько компенсато-

¹ См., например: Бурышкин П.А. Москва купеческая. – М.: Высшая школа, 1990. Подробнее см.: Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства: В 2 т. – Т. 2. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2000. – С. 317–318, 324.

² Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 18 т. – М.: Воскресенье, 2004. – Т. 12. – С. 87.

ром неразвитости в культуре самого понятия о таком интересе. Откуда было взяться этому понятию в послепетровской России? При том откровенно враждебном отношении населения к государственным институтам и ассоциируемым с ними элитным слоям общества, которое зафиксировано в пословицах и поговорках, и при замкнутости крестьянского большинства в локальных сельских мирах понятию об общем интересе взяться было неоткуда. И чем глубже была демилитаризация, тем острее ощущался в обществе порождавшийся ею социальный и культурный распад.

Дискуссии, которые велись в России после отмены крепостного права и других реформ Александра II, и своей непримиримостью, и проектной беспомощностью мало чем отличаются от наших постсоветских словесных баталий. И точно так же, как почти все политические и интеллектуальные элиты консолидировались во время второй чеченской войны и пятидневной войны с Грузией, консолидировались элиты эпохи Александра II в поддержке русско-турецкой войны на Балканах, в которой видели единственный выход из ситуации, воспринимавшейся как состояние духовной деградации. «Нам, – писал тогда Достоевский, – нужна эта война и самим; не для одних лишь «братьев-славян», измученных турками, подымаемся мы, а и для собственного спасения: война освежит воздух, в котором мы дышим и в котором мы задыхались, сидя в немощи растления и в духовной тесноте»¹.

Но консолидирующий ресурс войны (даже победоносной) в демилитаризаторском цикле может быть только ситуативным, что показала и та давняя война на Балканах, и проходившие на наших глазах войны в Чечне и в Грузии. Устойчивую консолидацию государства и социума, предполагающую трансформацию военного типа социальности в социальность экономическую (промышленную, если пользоваться терминологией Спенсера), таким способом обеспечить нельзя. Потому что экономическая (добровольно-контрактная) консолидация может состояться только при наличии в культуре *невоенного* понятия об общем интересе и соответствующей ему ценностной матрице. Если же таковых в ней нет, то она оказывается в кризисе, на который ищет ответ в альтернативной милитаризации, т.е. в силовом подавлении всех, кто имеет отношение к зашедшей в исторический тупик государственности.

В начале XX века политическим воплощением такого ответа стало утверждение у власти военизированной партии большевиков, которой, в свою очередь, суждено было пережить свою собственную демилитаризацию. В результате же военное понятие об общем интересе снова размылось,

¹ Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1877 г. Апрель // Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 15 т. – Л., 1980. – Т. 14.

и население стало ускоренно атомизироваться, превращаясь в механическую совокупность индивидов и семей, движимых лишь своими частными потребительскими интересами. Возник специфический исторический и культурный тип – тип «частного» человека в обществе без частной собственности. И этот новый персонаж, возникший в индустриализированной и урбанизированной большевиками стране, быстро ставший доминирующим в элитах и в населении, оказался лишенным какой-либо мотивации на технологическую модернизацию, с необходимостью которой столкнулся все больше отстававший от развитых стран СССР.

Ответа на этот исторический вызов у коммунистической системы не оказалось, и советское руководство вынуждено было инициировать «перестройку», суть которой заключалась, по замыслу, в высвобождении энергии «частного» человека от все еще сковывавшего его экономического огосударствления и возвращения ему таким образом утраченного понятия об общем интересе.

Фактически это было признанием в том, что силой назревшую модернизацию обеспечить нельзя, что петровско-сталинской методикой ее осуществления воспользоваться уже невозможно. Но отказ от применения силы обрушил и советскую империю, выявив несамодостаточность советской идентичности, и коммунистическую веру, выявив ее неукорененность в культуре, и «социалистическую законность», выявив слабость ее упорядочивающего потенциала. Выяснилось также, что освобождавшийся от государственного силового диктата советский «частный» человек добровольным носителем общего интереса становиться явно не собирался.

Между тем российские реформаторы 1990-х годов после распада СССР тоже сделали основную ставку на этого человека, наделив его правом собственности. Но воспользоваться предоставленным правом смогли лишь немногие, которые не только не претендовали на роль субъектов общего интереса, но и стремились вместе с государственной собственностью приватизировать и само государство, к исполнению функции такого субъекта предназначеннное. То был культурный продукт разложения советской ментальности, на развалинах которой произросла постсоветская квазисоциальность, не скреплявшаяся ни силой, ни верой, ни законом. Ее не удалось консолидировать ни первой войной в Чечне, закончившейся неудачей, ни новой «национальной идеей», которую так и не удалось придумать. Такая квазисоциальность не могла не вызвать к жизни массовый запрос на «порядок», образ которого власть стала выстраивать из осколков традиционной милитаристской культуры, актуализированной вторжением чеченских боевиков в Дагестан и взрывами жилых домов в Москве и других городах страны.

Вторая чеченская война, более успешная, чем первая, консолидировала большинство населения вокруг нового президента Путина, позволив

ему стать персонификатором идеи «мочильного» порядка. Этот свой образ он поддерживал и поддерживает, политически эксплуатируя инерцию милитаристского сознания апелляциями к памяти о победе в Великой Отечественной войне, полетами на военных самолетах, визитами на корабли и подводные лодки, каждый раз облачаясь в соответствующую армейскую форму, и риторикой о «вставании с колен». Но все это может находить отклик лишь благодаря потоку нефтедолларов, который позволяет сохранять контакт с атомизированными частными интересами. Такие политтехнологии, заменившие политику, не выводят страну из квазисоциальности, а ее консервируют.

Победа во второй чеченской войне – это победа квазисоциальности под видом «восстановления конституционного порядка». «Правосудие», выражающееся в приговоре Ходорковскому и Лебедеву и тюремным заключением оппозиционных политиков, – это ее же победа в форме квазизаконности. А то, что происходит в других республиках Северного Кавказа, – это проявление квазисоциальности, упорядочиванию не поддающейся... Равно как растущая коррупция и сращивание силовых структур с криминалом. Равно как низовая репрессивность, о которой писал Игорь Яковенко и которая все чаще дает о себе знать как репрессивность этническая. Равно как и углубляющаяся, если говорить в целом, атомизация социума, проявляющаяся, в том числе, и в феномене тотального недоверия по вертикали и горизонтали.

Все это – продукты постсоветской квазисоциальности, являющейся, в свою очередь, продуктом послесталинской демилитаризации. Демилитаризации, которая осуществлялась и осуществляется при отсутствии проекта, нацеленного на трансформацию рассыпавшейся принудительной военной социальности в добровольно-контрактную. Она «квази», потому что понятие об общем интересе в ней не только не складывается, но и все больше размывается. Соответственно, и модернизация при ее сохранении не может быть чем-то иным, кроме как «квази».

Таким образом, послесталинская демилитаризация, оказавшаяся источником неразрешимых проблем для позднесоветских руководителей, остается тем же самым и для правителей постсоветских. И дело тут не только в беспрецедентном эгоизме и этих правителей, и элитных групп, на которые они опираются, не только в стремлении тех и других обслуживать общий интерес по остаточному принципу. Застревание в незавершенной демилитаризации, комфортное для властвующих групп, имеет и культурное измерение.

Культура – не только элитная, но и низовая – изжила запрос на милитаристскую альтернативу тупиковой демилитаризации. Альтернативу, подготовленную в свое время и *антимещанская* по своему пафосу культурой почти всей старой русской интеллигенции, третировавшей частный

(«мещанский») интерес с позиций православной соборности либо революционного героизма¹. Но этот пафос иссяк уже в советскую эпоху – в том числе, и по причине того, что был ассилирован официальной коммунистической пропагандой. Незаметно, чтобы он возрождался и сейчас: публичные призывы к жертвенности иногда звучат, но в интеллигентскую ментальность, не говоря уже о массовой, не возвращаются. В совокупности же все это и свидетельствует о принципиальной новизне нынешней ситуации в контексте всей предшествующей российской истории.

Новизна и позволяет прорваться к осознанию милитаристских культурных оснований «Русской системы»: сущность того, что было, обнаруживает себя лишь тогда, когда бывшее кончается. Прорваться сквозь плотную завесу мифов, посредством которых культура эта свои основания скрывала, вуалируя и компенсируя культивированием постоянного предощущения войны и культом военных побед и героев-победителей слабость своего консолидирующего потенциала в условиях мирного времени. Свою, говоря иначе, чужеродность культуре добровольно-контрактного типа социальности, идеям органической инновационности, самоценности человеческой жизни и народного благосостояния. Она и сейчас противится обнаружению этих оснований, что проявляется в сохраняющейся стalinской мифологизации образов Александра Невского, Ивана Грозного, Петра I, равно как и образа самого Сталина. Но такаяrudimentарная мифологизация – это всего лишь реакция исторической памяти «частного» человека на кризисное состояние государства и общества при отсутствии запроса на новую милитаризацию. Это – реакция на несформированность нового, невоенного понятия об общем интересе, как подвижной равнодействующей интересов индивидуальных и групповых, посредством ностальгических воспоминаний о прежних его военных воплощениях. Что-то похожее мы наблюдали в ностальгии по коммунальным квартирам при нежелании в них возвращаться. Это ведь тоже была психологическая реакция на дискомфорт постмилитаристской атомизации и начавшейся теневой коммерциализации межличностных отношений.

Итак, переживаемый Россией кризис – это кризис культурных оснований милитаристского типа государства при исчерпанности возможностей их обновления и несформированности оснований альтернативных. Кризис застrevания в состоянии демилитаризации, которое может поддерживаться искусственным комбинированием силы, веры и имитируемой законности, позволяющим сохранятьсяластной монополии, но не может трансформироваться в состояние стабильного развития. Атомизированная

¹ См., например: Кургинян С. Лукавое обсуждение (Реальная повестка дня в вопросе о российской государственности и вытеснение этой повестки под видом ее обсуждения) // Российское государство: Вчера, сегодня, завтра. – М.: Новое издательство, 2007. – С. 191–197.

квазисоциальность лишена мотивации на выработку консолидирующего понятия об общем интересе, а властная элита, плененная интересами частными и групповыми, способна лишь его имитировать, затыкая системные бреши стратегически безответственным использованием нефтегазовых доходов на социальные податки.

Это – кризис системного упадка, прикрываемый модернизационной риторикой властей, по инерции облекаемый в форму боевого клича («Россия, вперед!»). Но культура, к таким кличам отзывчивая, уже увяла, она на них не откликается. Она доживает свой век в воспоминаниях о славном милитаристском прошлом, реагируя тем самым на размытие в себе образа будущего. Но это – воспоминания о том, что было, а не о том, что должно быть.

Выход из этого кризиса может быть только выходом в новое системное качество. А выход в такое качество означает реализацию модернистского проекта русского Просвещения... Или, что то же самое, означает трансформацию государственности в соответствии с принципами законности и права.

Без такой трансформации, кстати, призывы некоторых статусных правозащитников к десталинизации исторического сознания призывают и останутся. Потому что десталинизация этого сознания предполагает не только трансформацию мифологии о сталинской эпохе, но и пересмотр сталинской версии всей отечественной истории. Версии, акцентирующющей милитаристские основания русской культуры и их персонификаторов и маргинализирующей демилитаризаторские тенденции в ней, т.е. тенденции правовые. И пока принципы права остаются лишь отвлеченными принципами, к повседневной жизни прямого отношения не имеющими, пока люди на собственном опыте не осознали их преимуществ, десталинизация исторического сознания будет лишь благим пожеланием.

Мифологии прошлого окончательно утрачивают актуальность лишь тогда, когда настоящее начинает восприниматься как состоявшееся и самодостаточное, в своих фундаментальных качественных характеристиках оставившее прошлое позади. Пока же такого восприятия нет, как нет и самого такого настоящего, сознание будет за эти мифологии цепляться. Это, разумеется, вовсе не означает отказа от упреждающего интеллектуального переосмысливания нашей истории, смещающего позитивные акценты с милитаристских циклов на демилитаризаторские. Но надо отдавать себе и ясный отчет в том, что впечатляющих успехов быть при этом не может.

Я не знаю, насколько воплотим просветительский модернистский проект в постмодернистскую эпоху, да еще в мультикультурной и мультиконфессиональной стране, все больше раздираемой межэтническими и межконфессиональными конфликтами. Не знаю и того, в каких террито-

риальных границах такой проект реализуем и какую цену за это придется заплатить. Но опыт мировой истории свидетельствует о том, что цена будет тем выше, чем дольше нынешнее состояние квазисоциальности будет сохраняться. А опыт истории отечественной и ее демилитаризаторские циклы свидетельствуют, в свою очередь, о том, что между социальностью, основанной на приказе, и социальностью, основанной на праве, никаких стратегически устойчивых состояний быть не может. Если же консолидирующий потенциал приказа исторически и культурно изжит, то альтернативы просветительскому модернистскому проекту просто не оказывается. Альтернативой ему становятся деградация и распад.

Дополнительное основание для выдвижения и детальной проработки такого проекта заключается в том, что культурного отторжения идея правовой государственности у большинства населения сегодня не вызывает. Сто лет назад было еще не так. Тогда массовой готовности принять эту идею не существовало, тогда спрос был на альтернативную милитаризацию. Теперь такая готовность существует, хотя субъекта, готового и способного идею правопорядка целенаправленно отстаивать и добиваться ее воплощения, в обществе пока нет. Задача интеллектуалов – способствовать его созреванию.

Алексей Кара-Мурза (зав отделом Института философии РАН):
Вопросы докладчику, пожалуйста.

Игорь Яковенко (профессор Российского государственного гуманитарного университета): У меня такой вопрос. В предложенной вами концепции одна из важнейших категорий – «сила». Но ведь она, если речь идет о силе власти (а у вас речь идет именно о ней), – просто другое названиеластной репрессии. Разве не так?

Игорь Клямкин: У меня ключевое понятие – «милитаризация». Милитаризация и репрессивность власти в чем-то, конечно, пересекаются. Но они не тождественны. Милитаризация в моей интерпретации – это выстраивание не только военной, но и мирной повседневности по военному образцу, это насаждение определенного образа жизни. Репрессия же – всего лишь ее инструмент, произвольное использование которого милитаризацией легитимируется...

А в демилитаризаторских циклах легитимирующий потенциал надзаконнойластной репрессии неизбежно иссякает, и она становится или закамуфлированной под нечто другое (скажем, под лечение в «психушках», как было в брежневскую эпоху) или имитационно-правовой, как в нынешние времена. Так адаптируется к демилитаризации государство, не ставшее правовым...

Можно говорить и о попытках укрепитьластную вертикаль посредством значительного увеличения в ней доли людей с погонами. Но это – не военный порядок петровско-сталинского типа. Это – его имитация.

Кстати, такого рода дозированные поверхностные ремилитаризации имели место и в первом, послепетровском, демилитаризаторском цикле. Скажем, при Николае I процент военных на гражданских должностях был намного выше, чем сейчас. И такой парадоксия, как при Николае, сегодня тоже не наблюдается. Мы, повторяю, имеем дело с имитационной милитаризацией, на жизненный уклад элиты и населения никак не влияющей...

Денис Драгунский (главный редактор журнала «Космополис»): Тогда напрашивается вопрос о длительности циклов. От Петра до Николая прошло целое столетие, а от Сталина до Путина – менее полувека. Время циклов сокращается?

Игорь Клямкин: То, что сокращается, – это факт. Но я только хочу сказать, что Николай I никакого нового цикла не начинал. Это было попытное движение внутри послепетровского демилитаризаторского цикла, продолжавшегося до 1917 года. Да и само это движение началось почти на три десятилетия раньше. Оно началось при Павле I, инициировавшем наступление на дарованные Екатериной II дворянские вольности и права, что, как известно, стоило ему жизни...

Денис Драгунский: Да, но потом был Александр I, который все вольности дворянам вернул. Получается цепочка: ремилитаризация при Павле, отказ от нее при Александре и ее возвращение при Николае. Так?

Игорь Клямкин: Такое колебательное движение характерно для «Русской системы» в ее демилитаризаторских циклах. После убийства Павла покушаться на права дворян российские правители уже не решались. Но все три послеекатерининских императора, вами названные, сталкивались с одной и той же проблемой незавершенной демилитаризации. Ее можно было пытаться решить, двигаясь вперед, как сделает впоследствии Александр II. Но можно было пробовать искать решение и на путях дозированной ремилитаризации...

Игорь Яковенко: И оба маршрута оказались в конечном счете туниками. Ремилитаризации завершились поражением в Крымской войне, а углубление демилитаризации при Александре II не уберегло страну от большевизма...

Игорь Клямкин: Именно потому, что демилитаризация – это для России главная системная проблема. И перспективы ее решения до сих пор не просматриваются.

Денис Драгунский: Я, того не желая, увел вас в историю. Но то, что было, интересует меня только в связи с тем, что есть сегодня и может быть завтра. В России, как я понял, сталинская милитаризация сменилась послесталинской демилитаризацией, которая, в свою очередь, сменилась нынешней имитационной ремилитаризацией. И чем она может завершиться? Милитаризацией реальной?

Демилитаризация как историческая и культурная проблема

Игорь Клямкин: Вы вынуждаете меня повторять написанное в докладе. Как мне кажется, есть основания предполагать, что мы живем в эпоху кризиса самой этой прежней цикличности. В начале XX века для большевистской милитаризации были две важные предпосылки. Во-первых, для нее наличествовал культурный ресурс – я имею в виду ментальность крестьянского большинства населения. Во-вторых, у нее была историческая функция – я имею в виду догоняющую военно-технологическую модернизацию индустриального типа. А теперь нет ни того, ни другого.

Вадим Межуев (главный научный сотрудник Института философии РАН): Но дурное милитаристское наследие до сих пор над нами довлеет. Как же нам все-таки от него избавиться?

Игорь Клямкин: ...Проблема в том, что Россия застряла в демилитаризаторском цикле, будучи не в состоянии выбраться из него в новое системное качество. Выбраться же из него можно только в правовое государство. Альтернатива ему – разложение и распад.

...Я задаюсь простыми вопросами. Почему Россия стала родиной двух беспрецедентных военно-технологических модернизаций? Почему она сумела найти свои ответы на вызовы Нового времени, т.е. эпохи модерна, и надолго закрепиться в нем, оставаясь в культурном отношении ценностям Нового времени чуждой? И почему Российской империя в конце концов все же рухнула, не испытав военного поражения и обладая сверхдержавным статусом?

Эти вопросы и привели меня к понятиям «милитаризации» и «демилитаризации». Милитаризация жизненного уклада – это самобытный российский ответ на вызовы эпохи модерна. Демилитаризация в российском исполнении – это самобытный способ ответить на те же вызовы, но не в военно-технологическом, а в социально-экономическом смысле. Или, говоря иначе, способ адаптации к ценностям мирного времени. Но он оказался и оказывается тупиковым, потому что европеизацию всегда пытались и пытаются осуществлять дозированно, не выходя за границы «Русской системы». В этом и заключается смысл российских демилитаризаций – в том числе и нынешней.

Алексей Кара-Мурза: И сегодня, как я понял, альтернативы последовательной европеизации не существует?

Игорь Клямкин: Я ее не вижу. Но, к сожалению, пока не вижу и субъектов, осознавших безальтернативность трансформации «Русской системы» в систему правовую...

**СОВРЕМЕННЫЕ ОБЩЕСТВО,
ГОСУДАРСТВО,
ВЛАСТЬ**

Ю.С. ПИВОВАРОВ

ОБ «ИСТОКАХ» И «СМЫСЛАХ» СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ¹

Мы живем в советской посткоммунистической России. Сейчас это главное, что я могу сегодня сказать о моей стране. Она перестала быть коммунистической, поскольку отказалась от этой идеологии, этого целеполагания, соответствующих институтов. А вот в качестве советской сохранилась – эволюционировав и перейдя в другой период своего советского бытования. Разумеется, когда речь идет о «советском», совершенно не предполагается обсуждение темы «Советы как форма народовластия». Эта «форма народовластия» (впрочем, исторически неудачная; она так и не сумела по-настоящему развернуться ни в начале коммунистической диктатуры, ни в ее конце) была ликвидирована огнем четырех танков утром 4 октября 1993 г. Под «советским» имеется в виду иное.

Советское – шире, глубже, значительнее, органичнее, устойчивее, опаснее коммунистического. Коммунизм во многом наносен, ситуативен, вымыщен, несерьезен, функционален. Он и у нас, и на Западе (и, видимо, в Китае) заканчивается одним – «пролетарии всех стран маршируют в ресторан» (И. Бродский). Советское же – это то, во что вылилось русское в XX столетии. Не все русское, подчеркну, но во многом и в большинстве (количественно) своем. Это форма русского массового общества, продукт весьма своеобразной урбанизации, «красное черносотенство» (по терминологии П.Б. Струве, культурная борьба, борьба против культуры, сведение высокой культуры к примитивным ее образцам и нормам; или, как по другому, хотя и близкому, поводу говорил этот же мыслитель – «азиатский марксизм»), результат выбора 1917 г., долговременных террора и мировой самоизоляции и пр., пр., пр.

Советское – это не религиозная цивилизация. Здесь признается жизнь только посюсторонняя, полностью исключена идея личного греха и,

¹ Этот текст является дайджестом ряда работ Ю.С. Пивоварова, впервые опубликованных в издании ИНИОН РАН «Труды по российедению» и собранных в книге: Пивоваров Ю.С. Русское настоящее и советское прошлое. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив Университетская книга, 2015. – С. 49–54, 64–65, 91–110, 157–172, 176–179.

напротив, греховность вменяется «другому», торжествует презумпция виновности. Ведь если «я» освобожден от первородного греха и все последующие грехи не имеют, к примеру, христианского толкования, то логично все зло, всю несправедливость приписать «другому». Кто-то же должен отвечать! Советское – это насилие *par excellence*: мир и жизнь как борьба. Поэтому насилие над «злом», борьба со «злом» *for ever*. Ну, а «зло», как мы знаем, – «другой» (по-своему к этому выводу приходили и левые западные интеллектуалы, зараженные нерелигиозным марксизмом и т.п. – помните Сартра: «Ад это другие»?). Мочи другого – врага народа, вредителя, космополита, диссидента и т.д., мочи враждебное окружение и т.д. Из всего этого следует, что советское есть отрицание диалога, чужого мнения, оппозиции, разно- и многообразия.

О разрывах в русской истории и революции конца XX в.

Скажем несколько слов о революции 1989–1993 гг., которая завершила эпоху коммунистического владычества в России. И сразу же обратим внимание на ее отличие от революции большевиков 1917 г. Вне всякого сомнения, эта революция и Гражданская война были разрывом с прошлым. И хотя в Сталинской России «прочитывались» (проглядывались) какие-то черты традиционного нашего деспотизма, совсем другое было здесь системообразующим, определяющим. Революция же конца XX в. разрывом не стала. Не стала – по сути, по преимуществу. Мой тезис заключается в следующем: постсоветская Россия есть «законное» (и в юридическом смысле, и в генетическом) продолжение советской. А вот советская, повторяю, не была наследницей царской.

Хотя внешне разрыв был и во втором случае. Однако **этот** разрыв явился формой, способом окончательного становления того, что складывалось в стране в хрущевско-брежневский период. Вспомним, чему учили нас в школе: в недрах феодализма зарождаются капиталистические формы и посредством революционных родовых схваток утверждаются в этом мире. Следующая (нам говорили: более прогрессивная) формация приходит на смену предыдущей. – Примерно по этой схеме и произошел переход начала 90-х. Сталинский строй, завершив героическую фазу своего развития, окончательно победив всех и вся, полностью сформировавшись и полностью преобразовав «данную» ему историческую материю, перешел в новую, спокойную «равновесную», компромиссную, зрелую fazu.

Около трех десятилетий страна жила **нормальной** советской жизнью. Именно в этот период она приобретает те внешние и внутренние черты, которые определяют ее и поныне. Внешние – это города, дома, улицы и т.п., которые своей большей частью построены и устроены именно в те годы. Это – новая, урбанистическая Россия, разместившаяся по преиму-

ществу не в деревне, как это было тысячу лет, но в городах и поселениях городского типа. Впервые в своей истории русские в своем большинстве перестали работать на земле и были вырваны из традиционного природного ритма. Таким образом, Россия перешла к своей Современности (Modernity). Не природа, а социальные условия города начали детерминировать судьбу и поведение человека. Иначе говоря, русские вышли из круга органической естественной обусловленности и зависимости и вошли в круг других обусловленностей зависимостей – разных, но главное – неприродных, неорганических.

В этом новом кругу и формируется русский массовый современный индивид и русское массовое современное общество. Поражение либерализующейся, эмансирующейся, плюралистической России в 1917–1920 гг. и было связано с отсутствием такого массового индивида и, соответственно, такого массового общества. Несмотря на мощный социально-экономический подъем и громадные ментальные перемены в преобразованной России, к мировой войне все еще не поспело. И в годину испытания не удержалось, не устояло. Этим Русская революция начала XX в. принципиально отличалась от хронологически предшествовавших ей европейских революций. Там уже существовало – пусть и в незрелых формах – современное массовое (и городское) общество.

Но русский модерный социум и русский модерный человек были (суть) в высшей степени специфическими. Воспитанные не в рамках религии, в условиях запрета на предпринимательство (в различных его обличиях), обязанные к «исповеданию» очень определенной идеологии (смеси наивного натурализма-материализма, элементов поверхностного гуманизма, провинциального социал-дарвинизма и фальшиво-оптимистического, наивного исторического телеологии), оторванные от мейнстрима мировой культуры и социальной эволюции, они представляли (представляют) собой очень странный – наукой в общем-то, несмотря на все старания зиновьевых, левад, иностранцев, – малопонятый тип социальности. Его мы не встретим ни на Западе, ни на Востоке.

Это **абсолютно** советские люди, это – продукт коммунизма, «made in USSR». В них мало русского – в смысле традиций, корней и причастности к русской культуре. Но – являются единственным массовым модерным человеком в русской истории. Этого человека можно было встретить в рядах и партийной номенклатуры, и крупных и мелких хозяйственников, в районах ВЛКСМ, в вузах, НИИ, офицеров армии и ГБ, МИДе и т.д. То есть повсюду, даже в многочисленной прослойке творческой интеллигенции. – Этот человек энергичен, оптимистичен, смышлен, вненравственен, циничен и т.п. Он и построил современную послесталинскую Россию. И захотел ею **пользоваться**.

Более того, этот человек совершил невозможное. Властьная верхушка этой модерной массы похоронила коммунизм – господствовавший социальный строй, но сохранилась сама и – в новых условиях – сохранила свою власть. Иными словами, системообразующий элемент пожертвовал Системой ради спасения себя самого. Систему выбросили за борт как ненужный и опасный балласт. Об этом в свое время точно сказал Г.А. Явлинский: «Ключевой вопрос 1992 г. заключался в том, какой путь избрать: освободить старые советские монополии или освободить общество от старых советских монополий? Надо ли полностью освободить коммунистическую номенклатуру от всякого контроля, сказать директорам-коммунистам и коммунистической номенклатуре: вы свободны, делайте, что хотите?»¹. Разумеется, Г.А. Явлинский подчеркивает экономический аспект этого невероятного социального кульбита, нас интересуют все аспекты...

Что же такое революция конца 80-х – начала 90-х годов? – Это прежде всего борьба за освобождение номенклатуры от оков коммунистической системы. Господствовавший слой бессобственников-управленцев, управляемцев-пролетариев восстал против порядка, лишавшего его права владеть и распоряжаться. Это была первая в мире победившая революция пролетариата. – Попутно замечу: чуть раньше на Западе прошла когда-то очень громкая (сейчас ее подзабыли) «революция управляющих» (менеджеров). Помню, как на лекциях по политэкономии нам рассказывали о борьбе капитала-функции (управленцы) с капиталом-собственностью (правообладатели капитала). Верх взяли функционеры; собственникам пришлось делиться.

Но у нас другая история. У нас собственников вообще не было. И наши менеджеры (номенклатура) сумели перейти в совершенно новое качество, сбросив с себя пролетарские оковы – принципиально бессобственническую Систему. Кроме того, пролетарии-номенклатурщики захватили не просто собственность, «просто» в России не бывает. Они овладели **властесобственностью**, т.е. и государством, и экономикой. Вообще-то они пользовались всем этим и до революции 1989–1993 гг. Но именно «пользовались», а не владели и не могли передать в наследство своим детям. Ныне – **могут**.

Но неужели все содержание революции конца XX в. сводится к апофеозу номенклатуры, которому предшествовали долгие годы труда, терпения, борьбы? Нет, конечно. Она была комбинацией трех революций. Во-первых, удалась антиимперская революция (де-факто антирусская). Ленинская национальная политика взрастила новые нации, и они выступили против русского Центра. «Национальным окраинам» (выражение XIX в.)

¹ Цит. по: Хлебников П. Крестный отец Кремля Борис Березовский, или История разграбления России. – М., 2002. – С. 82.

России удалось то, что задавили в ходе Гражданской войны 1918–1920 гг. Во-вторых, случилась криминальная революция – революция «теневиков», бандитов, асоциалов, всякого прочего «мелкого люда» (и не только «мелкого»), которым Система не давала «состояться» в полный рост. И, наконец, революция демократическая. Под ее покровом и пошла в бой номенклатура.

Права человека, правовое государство, политический плюрализм и толерантность, рыночная экономика и частная собственность, причастность к европейской цивилизации, высшие моральные (религиозные) ценности – вот что было написано на знаменах освободительного, антисоветского и антикоммунистического демократического движения. У этого движения было два главных отряда – свободолюбивая интеллигенция (ядро – диссиденты-инокомысящие) и прогрессивная номенклатура (от «партийных либералов» до современного покрова хозяйственников). Оба отряда в целом сформировались в 60–80-е годы. Один был ориентирован на политическую и юридическую эманципацию, другой – на экономическую и юридическую...

На наших глазах произошла реставрация. Антикоммунистическая и антисоветская революция конца 80-х – начала 90-х годов «диссоциировалась» в реставрационном режиме Владимира Путина. Причем это восстановление коснулось всех сфер жизнедеятельности общества:ластной, хозяйственной, гражданской, интеллектуальной, символической и т.д. – Подчеркнем: речь не идет о тотальном возвращении, скажем, в 70-е годы. Такого никогда ни у кого не было. Имеется в виду следующее: советская субстанция, советское *reg se* сумело не просто сохраниться и вновь развернуться. Случилось как раз то, о чем говорил Токвиль: революция завершила эволюцию старого режима. – Таким образом, ленинско-сталинская революция была полным сломом *anciene régime*, а горбачевско-ельцинская завершила эволюцию советизма.

О природе современного режима: легитимность и идентичность

Все государства и общества для своего нормального функционирования должны в обязательном порядке решить две проблемы: легитимности и самоидентификации. Современная Россия – не исключение.

1. Легитимность. Не будем ломиться в открытые двери и доказывать ее обязательность для устойчивого функционирования государств и политий. Как же здесь обстоят наши дела? – Но прежде напомним: **какую** легитимность имеют современные государства. В качестве примера возьмем Францию – одну из «законодательниц мод» в политике. Будучи президентом Республики (1995–2007), Жак Ширак, представитель умеренно-консервативных, центристских сил, заявил: наше государство имеет своим

источником Великую революцию, а не, скажем, деяния Жанны (д'Арк). То есть человек, вышедший из гоголистской (католической, национальной) традиции, апеллирует не к глубинным – во многом духовным, религиозным – основам и организационному опыту полуторатысячелетней Франции, а к светским, республиканским принципам 1789 г. Нет, **та** Франция не забыта, но **это** государство выросло из Революции. Можно оспорить мнение Ширака, но оно ясно, точно, определенно. И в обществе по этому вопросу существует консенсус; ведущие политические игроки вполне принимают шираковскую версию.

Это – историческая легитимность, или легитимность в истории. Без нее невозможны устойчивость, успешность государства, социальной системы. Другой необходимый тип легитимности – **правовой**. Он коренится в Конституции, которая, по словам крупнейшего теоретика права XX столетия Г. Кельзена, является «основной нормой» жизнедеятельности политической системы и правопорядка. Само же государство – «правопорядок в действии». Не больше, но и не меньше.

Таким образом, есть две легитимности – историческая и конституционно-правовая. Они дополняют друг друга, переплетаются, создавая новое качество. Это пришедшие на смену «Власти от Бога», – власть от народа, суверенитет народа. Историческая и конституционно-правовая легитимность оформляют народный суверенитет, придают ему предельную для современности обоснованность, релевантность, консенсуальность.

Посмотрим на Россию. В XX в., как мы знаем, в ней последовательно существовало три государства: Российская империя, СССР и Российская Федерация.

Российская империя. Конституция 23.04.1906 г. превратила самодержавную монархию в полупарламентскую (в контексте общего перехода страны к открытому, плюральному обществу, пронизанному снизу доверху принципом представительства). Соответственно с этим государство черпало свою легитимность и в Основных законах, и в сохранявшемся (как оказалось, весьма непрочном) сакральном понимании природы власти, и в исторических традициях. Судя по всему, Россия – в специфической форме, с вариациями – шла к описанной выше историко-правовой легитимности. Война сыграла свою роковую роль. Но не только она.

Общество в лице своего либерально-буржуазного «генеральского» авангарда легкомысленно отказалось от «исторического компромисса», заключенного с властью в ходе первой революции и закрепленного в «Основных законах» 23.04.1906 г. В свою очередь, Николай II фактом юридически нерелевантного отречения нанес удар в сердцевину им же октроированной Конституции. А также, как ни горько мне это говорить, добил сакрально мотивированное восприятие власти на Руси («горькость» от того, что все это работало на руку поднимавшим голову «ворам» – в старо-

русском смысле этого слова). Понятно, история судила ему быть главным десакрализатором власти, но, опять должен признать, в конкретных условиях 1916–1917 гг. это способствовало катастрофе.

Что касается исторической легитимности, то она все-таки была доступна немногочисленным культурным кругам. «Восставшие массы» в этих категориях не рассуждали (как, впрочем, и в правовых).

Иными словами, вполне удовлетворительная легитимность образца, к примеру, 1912 г. в силу целого ряда объективных и субъективных причин к 1917 г. рассыпалась. И здание, потерявшее опору, рухнуло.

СССР тоже обладал своим «комплексом» легитимности. В нем практически отсутствовала правовая составляющая, что отличало его от современных государств. Да и историческая компонента была иной, чем это было принято в XX в. Но об этом чуть позже.

Основополагающая советская легитимность коренилась в марксистско-ленинской идеологии. То есть носила идеократический характер. Из-за особенностей этой идеологии «практикующие» большевики получили неслыханную свободу действий; буквально все их решения находили оправдание в этой «единственно верной» ортодоксии. Можно сказать и так: специфика «марксизма-ленинизма» заключалась в том, что содержательная убогость его «догматики» восполнялась широтой и гибкостью «прагматики». Сегодня, когда их внешнее владычество закончилось, приходится признать: это было социальное оружие по силе своей разрушительности и убедительности сопоставимое с ядерным. Слава Богу, что мир со временем выработал против него непреодолимую ПРО. Внутреннее же владычество большевизма сохраняется, поскольку на русской исторической сцене и в историческом зрительном зале находится советский человек, как оказалось: «продукт долгосрочного пользования».

В этой идеократической похлебке «варились» и правовые, и исторические «куски» (и другие). В определенном отношении она напоминала древнерусскую легитимность в «правде» (от митрополита Илариона, «Русской правды» и т.п.).

Спецификой советской легитимности было и то, что по исторической линии она «уходила» в мировую историю, прочитанную как борьба классов, которая, в свою очередь, трактовалась как борьба «добра» со «злом». Из этого следовало, что государство СССР не ограничено собственно русской историей и обладает всемирным (универсалистским) характером¹. Поэтому не может быть связано и заключено в конкретно-истори-

¹ Еще Николай Васильевич Устрилов обращал внимание на то, что государство СССР с его экстерриториальностью, трансграничностью, универсальностью претензий и мировоззренческих установок напоминает государство Ватикан. Нелупая мысль, интригующее сравнение! – Проблема только в том, что СССР – при всем этом – вынужден был оставаться и национальным государством, т.е. нормальным, обычным. Со временем эта

ческие территориальные границы (мы знаем, ленинцы зафиксировали это в Конституции 1924 г.). Одновременно такая интенция «предполагала» и оправдывала советский экспансионизм, впоследствии выродившийся в специфический империализм. Этот последний пришел на смену «земшарно»-интернационально-коминтерновскому экспансионизму, когда большевик-черносотенец Сталин – с целью укрепления **своего** режима – полез за легитимностью в русскую историю. Полез по-мародерски, затоптав одно, фальсифицировав другое, установив монополию на эксплуатацию третьего... Нет, он не отказался от классически-большевистской идеократической легитимности, была «лишь» проведена определенная «смена вех».

Коммунистический же миф, повторим, был невероятно гибким и адаптивным. При этом и жестко-догматичным; это – не противоречие или кажущееся противоречие; это – органическое качество, поскольку, как известно, для большевиков морально то, что служит их интересам; мораль есть категория полезности. Вдогонку скажу: ох, как не случайно поздний большевизм выродился в режим и ментальность потребительства, т.е. пользы для себя. Действительно, «романтика» и универсалистский замах ушли, приказали долго жить, осталось: «обогащайтесь» – ведь жизнь дана один раз. Вот чем закончилось, во что выродилось мировое притязание и гордыня этих суровых и храбрых безбожников.

Тем не менее, когда этот мир в 80-е годы XX в. обветшал, его победность померкла, эффективность как-то истончилась и он все более-более напоминал «осетрину» не первой свежести. И когда – одновременно – русский Дубчек попытался придать ему «ускорение», оздоровить «гласность» и даже модернизировать через «перестройку», не выдержал, сдулся, лопнул. СССР закончился как государство.

Государство Российской Федерации (РФ) по типу своей легитимности резко отличается как от своих предшественников – Российской империи и СССР, так и от современных классических государств. Поначалу доминантной легитимностью была конституционно-правовая. Этому способствовало и то, что Основной закон 12.12.1993, с одной стороны, находился в русле конституционного мейнстрима XIX – начала XX в. (проект Сперанского, создание Госсовета, земское самоуправление 1864 г., Основные законы 23.04.1906, проект Конституции Российской Республики к Учредительному собранию), т.е. здесь работала, независимо от того, осознавало это общество или нет, **конституционно-историческая** компонента легитимности, с другой – параметры Конституции-93 позволили выжить –

нормальность нарастила. И внутренний конфликт двух этих «компонент» взорвал СССР (не только он, конечно). Да и мировоззренческая установка не в пример «ватиканской» не выдержала экзамена на адекватность, и хвастливые претензии на «всесильность» учения оказались туфтой.

метафорически говоря – Русской Власти и связанным с ней элементам Русской Системы. Это была компонента **субстанциально-историческая**.

Что касается **легитимности исторической**, то здесь «все смешалось». РФ объявила себя правопреемником СССР. Это было еще одним аспектом конституционно-исторической легитимности. И означало: во-первых, указание на то место, которое принадлежит ей в международных отношениях, во-вторых, взятие на себя обязательств СССР и ответственности за его деяния, в-третьих, объявление о преемстве правовых измерений. Но это, если угодно, формальная сторона вопроса. В содержательно-историческом отношении выходило, что РФ есть «продолжение» СССР. И это соответствовало действительности. Ведь скоро выяснилось, что социальная природа РФ не антисоветская (как советская была антицарской), а постсоветская. Или, повторим: некая новая стадия развития советского.

Таким образом, конституционно-правовая легитимность была дополнена легитимностью правопреемства РФ–СССР. Но сквозь них «прорастали» и преемство с дореволюционной Россией (следовательно, с исторической Россией вообще), и преемство с СССР, причем и с ленинской, и сталинской, и хрущевско-брежневской моделями, и преемство с Русской Системой (Русской Властью, в первую очередь), и преемство с Россией–СССР, великой державой, претендующей на мировые роли. Все это находилось в хаотическом смешении и, на поверхностный взгляд, в противовесственных связях и переплетениях.

Но заметим, – и это важнее всего – впервые в русской истории доминирующей, «предельной» была конституционно-правовая легитимность.

Путинский режим, путинская система резко изменили ситуацию. Фактический отказ от выборов, смена модели избирательной системы, усиление внеконституционных «институтов» (чрезвычайных комиссий по своей природе) и процедур резко сократили действенность правовой легитимности. Однако полного отказа от Конституции не произошло. Напротив, загнав ее – по сути – на периферию реальной политики, в максимальной степени использовали авторитарные, недемократические возможности, заложенные в Основном законе (таковые имеются в интенционной форме во всех конституциях). Однако подчеркнем, конституционно-правовая легитимность перестала быть сущностной необходимостью путинского *status quo*.

Здесь-то и оказалась сверхвостребованной легитимность историческая – в качестве компенсации дефицита правовой. Однако правопреемство от СССР резко ограничило возможности исторического маневра. К тому же было весьма опасно и невыгодно брать на себя ответственность за весь советский период. Поэтому ритуально осудив сталинские нарушения социалистической законности, ошибки коллективизации и т.п., игнорируя Революцию, Гражданскую войну и т.п., сосредоточились на Отечествен-

ной войне 1941–1945 гг. Именно ее «назначили» главным источником легитимности современной России. Надо признать, выбор сделан в высшей степени умно. Подвиг и страдания народа в войне отодвигают куда-то в тень, на второй план преступления и ужас зверского ленинизма-сталинизма. Кроме того, этот ход вполне соответствует подлинному ходу российской истории ХХ в., о чём мы еще скажем.

Казалось бы, все складывается неплохо. И новая конфигурация легитимностей найдена. Однако это было заблуждением. Отказ от конституционно-правовой легитимности не может быть «уравновешен» акцентированной исторической. Обосновать суверенитет народа только подвигом и страданием войны, при всем их величии, невозможно. Как говорил один из персонажей фильма, посвященного любимому герою многонационального российского народа («Александр Невский»): кольчужка оказалась коротковатой. – Конституционно-правовую легитимность можно по-настоящему поменять на идеологическую. Тем более что наши люди привыкли существовать под опекой одной мирообъясняющей идеологии. Но сегодня все мы живем в эпоху тотального дефицита идеологий. Традиционные как-то подвыдохлись или вообще ушли то ли в небытие, то ли в запасник истории. Пожалуй, единственным возможным кандидатом является национализм. Мы ведь по-настоящему, всерьез его еще не пробовали.

Да, и историческая ситуация складывается для его подъема вполне удачно. Впервые с середины XVI столетия Россия стала страной с решающим преобладанием одного этноса – русского народа (более 80% населения). К тому же именно русские – и по причине своей численности, и по другим (сейчас мы не будем обсуждать эту тему) – несут основное бремя сегодняшних социальных перемен и состояний. Большой, уставший, измученный народ, во многом потерявший ориентацию в мире и самоидентификацию, утративший веру в мудрое и заботливое государство, может легко стать жертвой националистических мифов, искушений, упрощений. Поскольку же русский национализм идеально весьма слаб, не разработан, не искушен, он, скорее всего, проявит себя в примитивно-этнической форме (его подъему способствует и укрепляющийся национализм нерусских этносов РФ). Потенциальная сила национализма в том, что именно он в состоянии «склеить» воедино различные интересы различных социальных и возрастных групп.

Но, разумеется, делать ставку на националистическую легитимность крайне опасно (это ведь и «обоядоострая» штучка). И, кажется, власть имущие пока, слава Богу, не делают этого и вроде бы понимают гибельность обращения к национализму. – Что же касается исторической легитимности, то из-за ее «ограниченного» (редуцированного к Отечественной войне) характера она обладает и ограниченной эффективностью. И во весь рост встают вопросы: а дореволюционная (множество эпох, разнящиеся

друг от друга столетия) история «наша»? Если «да», то как же быть с советским периодом, который хоть и был, естественно, продолжением предшествующего, но содержательно по преимуществу отрицанием? Или, как «брать» Войну и отвергать 20–30-е годы? Или, как «брать» Войну и занимать уклончиво-сдержанную позицию по отношению к хрущевско-брежневской России, из нее выросшей (да и РФ, мы знаем это, есть следующая стадия позднего советизма)?

Как-то все исторически зыбко, нет твердого упора и определенности. Следовательно, и историческая легитимность, которую так жаждет руководство страны, весьма проблематична, противоречива, непрочна.

Отсюда вывод: государство РФ не обладает необходимой для устойчивого функционирования легитимностью. Фундамент этого государства непрочен. Что произойдет в **таких** условиях, неясно. Ситуация открыта для действий в разных направлениях. Хотелось бы надеяться, что мы изберем путь, ведущий нас к конституционно-правовой и адекватной исторической легитимностям. Любой другой выбор, убежден, означал бы ниспадение в новый хаос, насилие и диктатуру.

2. Самоидентификация общества. Рассматривая вопрос легитимности, мы отчасти уже коснулись и этой темы. – Около ста лет тому назад Леон Дюги выдвинул ставшее сразу же классическим, нормативным для науки объяснение легитимности и самоидентификации общества. Он говорил, что для этих целей (объяснения) человечество «придумало» два мифа – «сакральный» и «демократический». Первый правит, как сказали бы мы сегодня, в традиционалистском обществе. Согласно этому мифу, власть – от Бога (разумеется, существуют различные варианты божественности власти), а основным регулятором жизни социума является религия. Демократический миф господствует в современном, «расколдованном» обществе. Здесь – власть от народа, а основной регулятор – право. То есть, повторим, доминантная легитимность – конституционно-правовая; государство – правовое, а общество – гражданское. Причем у социума есть своя конституция, подобно тому как у государства своя. Все это соответствует автономному бытованию публичной и частной сфер, публичному и частному праву.

«Конституцией» общества является гражданский кодекс (Наполеон I, имея в виду «свой» Гражданский кодекс, утверждал, что это лучшая конституция; в том смысле, что если таковой кодекс имеется, то и Основной закон не обязательен). Именно в нем закреплены права и обязанности индивида в частной сфере (в публичной это делает конституция). Гражданский кодекс – наиболее эффективный способ преодоления хаоса индивидуальных воль и притязаний, благодаря ему устанавливается – насколько это возможно вообще – равновесие между единичным и целым, кристаллизуются институты и процедуры, структурируется частносоциальное

пространство, устанавливается в качестве фундаментальной частная собственность – комплекс правоотношений, предполагающих не только «святость» индивидуального обладания, распоряжения и наследования, но и тяжелую ношу социальной ответственности и обязанности перед обществом.

Доминантная самоидентификация современного общества – гражданско-правовая. Ее особенность в том, что она строится снизу и вверх (по социальной иерархии). Будучи горизонтальной по своей природе, она воздвигает свою вертикаль обязанностей и прав, единства и множества от фундамента к «крыше».

Альтернативой по отношению к гражданско-правовой самоидентификации общества в XX в. выступали идеологии – коммунистическая, корпоративно-солидаристская (ее итальянская версия – фашистская), национал-социалистическая и др. Их специфика в вертикальности сверху вниз, насилиственной тотальности, внеправовом содержании, идеократическом и дискриминирующем характере. Кроме того, все эти идеологии в той или иной форме апеллируют к неким сверхиндивидуальным ценностям, т.е. претендуют на статус квазирелигии. Важнейшее отличие идеологических самоидентификаций от гражданско-правовой – в том, что индивид рассматривается исключительно как неотъемлемая часть целого, он – не субстанция, но строительный «кирпичик» для целого, его функция.

Приходится констатировать: российское общество явно не обладает гражданско-правовой самодентификацией. В нем по-прежнему власть не отделена от собственности, доминирует властесобственнический (патrimonialnyy) порядок, т.е. публичная и частные сферы не разведены. Отсюда – импотентность судебной системы как таковой и использование ее в качестве расправной функции властесобственности (как это было на Руси с X по XIX в.).

Вместе с тем и собственность понимается у нас как инструмент удовлетворения хищнически-гедонистических инстинктов. Если на Западе для одних собственность есть основа современного общества с его правовым государством и социально ориентированной рыночной экономикой, для других же – «кражा» и главная причина всех общественных невзгод, то у нас собственность напоминает город или крепость, взятые штурмом и отданые надолго (или кратко – как получится) на разграбление. Когда-то Федор Степун, квалифицируя отношение русских к земле, припечатал – «военнопленная» земля; я же скажу: русская собственность – военнопленная субстанция материального или нематериального характера. Русский собственник (власть, бюрократия, привластно-олигархический элемент, «независимые» попутчики, «допущенные» или своим особым умением прорвавшиеся к поеданию пирога) – оккупант и эксплуататор богатств страны.

Безусловно, такой расклад не может в долгосрочной перспективе гарантировать социальное спокойствие (равнодушие, апатию). Недовольство большей части населения, обездоленной и обескровленной, неизбежно растет. Вот здесь-то, и мы уже говорили об этом, на первый план выходит, во всяком случае готовится к этому, националистическая идеология. Национализм «униженного и оскорбленного» русского народа.

О собственности и власти, о властесобственности

Продолжим разговор о том, что всегда считалось ключевым для понимания социальных порядков – власти и собственности...

В античном мире (в Греции как тенденция, в Риме как факт) произошло разделение единого до этого феномена на власть и собственность. То есть стала возможна экономическая собственность вне системы властных отношений. Это было зафиксировано в римском праве (появились публичная и частная сферы); философское обоснование имеется в индивидуалистической интенции греческой философии. Христианское мировоззрение, основывающееся на личном начале, по сути дела, тоже работало на эту тенденцию. Протестантизм, Возрождение, капитализм все это закрепили. Хотя надо признать, что и в западном мире тема контроля власти над собственностью не была закрыта. В XX в. это вылилось в политику сменяющих друг друга национализаций–приватизаций.

В России же патrimonия (властесобственность) сохраняется. Причем в весьма разнящихся вариантах. Но при всех различиях главное при изучении этой темы: во-первых, «ограничена»¹ ли субстанциальность власти «внутри» властесобственности; во-вторых, если ограничена, то чем, какими средствами.

Россия в ходе своей эволюции пережила три формы властесобственности (третью переживает).

1. Условно назовем ее **самодержавной**. Правда, в тот период, который нас интересует, – предреволюционная Россия (конец XIX – начало XX в.) – ни самого самодержавия в прямом смысле этого слова, ни самодержавной властесобственности в том же смысле, казалось, уже не было. А если и существовали, вроде бы в весьма ослабленном и уходящем виде. – Главным ограничителем субстанциальности власти в рамках властесобственности было общество – довольно развитое, дифференцированное, со множеством действующих лиц (субъектов), существующее не только по указке властесобственности, но и в силу своего собственного развития (саморазвития).

¹ Я пишу это слово в кавычках, потому что, строго говоря, субстанция не предполагает никаких ограничений. Однако такова теория, реальная жизнь полна самых непредставимых в мышлении явлений.

Далее, она была ограничена религиозными и культурными традициями. Правящая бюрократия (ядро власти) независимо от того, были ли ее представители лично верующими или нет, все-таки была вынуждена сообразовывать свои хищнические амбиции и эгоизм с официально господствующими в обществе религиозными ограничителями (типа «креста на тебе нет»). Значительными были и культурные ограничители. Поколения и поколения мастеров властного дела воспитывались на традициях высокой гуманистической культуры. И, безусловно, был сформирован тип властителя как человека культурно-гуманистического общества.

К системе ограничений принадлежала также и весьма качественная профессиональная подготовка этих людей. Профессионал, как правило, рационален и умеет просчитывать будущее, он склонен к компромиссам и договоренностям.

Все это, вместе взятое, ставило под угрозу дальнейшее существование феномена властесобственности. И в тот момент, когда он приблизился к точке своего перерождения в нечто иное – не будем сейчас гадать, во что, но точно это был уход от классической властесобственности, – раздался мощный взрыв революции. Попутно заметим (нам это потом понадобится) – разложение самодержавной властесобственности в целом происходило под знаменами либеральной идеологии.

Прежде всего, новый режим уничтожил противоречие самодержавной властесобственности – то самое, которое подтачивало и подточило его устои. Это противоречие заключается в следующем. Сам по себе феномен властесобственности, как мы хорошо знаем, отрицает собственность, отдельную от власти. Но хозяева царской России – кто на практике, кто в любой момент, если бы захотел, – были частными собственниками.

В этом контексте реформа 1861 г. видится совершенно в ином свете. Это не только освобождение крестьян от крепостной зависимости, но и уничтожение самодержавно-крепостнической частной собственности помещиков. То есть парадоксальным образом это пролог будущей коммунистической революции, что гениально почувствовал Ленин и выразил в словах: реформа породила революцию, 1861-й год – 1905-й. Этого проридчески боялся Николай I, утверждая, что крепостное право помещиков над крестьянами есть русская форма частной собственности, а бороться с ней нельзя, поскольку частная собственность – это прогресс человечества¹.

Александр II и его окружение не только пустили Россию по дороге рыночной экономики и демократизации-либерализации, но и резко усили-

¹ У А.И. Герцена есть замечательная работа 1853 г. – «Крещеная собственность» (см.: Герцен А.И. Крещеная собственность. – СПб.: Основа, 1906. – 34 с.). Она о том, что первой русской частной собственностью стала собственность помещиков на крепостных.

ли общинное владение землей как *народную форму властесобственности*. Макс Вебер назовет это в 1905 г. патриархальным аграрным коммунизмом.

Взамен государство, используя эту ситуацию, стало создавать под водительством С.Ю. Витте государственный капитализм, который был в известном смысле не только прорывом России вперед, но и реваншем традиционной (самодержавной) властесобственности. Потеряли в одном – найдем в другом. Не случайно Ленин всегда испытывал нежные чувства ко всем формам госкапитализма и даже считал свой НЭП одной из таких форм.

2. Итак, в стране утверждается **коммунистическая властесобственность**. Большевики, повторим, исправили фундаментальное противоречие предшествующей формы и создали правящее сословие бессобственников, т.е., казалось бы, непротиворечивую форму властесобственности. В связке «властесобственность» собственность уменьшалась до ничтожной величины. Взамен правители получили иные возможности, но это другая тема (например, ничем не ограниченную ситуативную власть человека над человеком). При этом ограничили власть суровой, агрессивной, жесткой коммунистической идеологией. Лозунгом этого ограничения были известные слова: «У тебя что, два партбилета?».

В конечном счете большевики пришли к такой формуле властесобственности – «общенародная собственность». То есть все принадлежит народу. Конечно, на самом деле все принадлежало номенклатуре. Но это «все» было в высшей степени ограничено. По наследству не передашь, пользоваться можно тайно. В целом – не твое. Или: твое – временно, твое – неофициально...

В 1936 г., практически достигнув автаркии (лишь 1% ВВП не производился в пределах СССР)¹, идеальная замкнутая властесобственническая система была построена. И эта «идиллия» существовала бы поныне, если бы СССР действительно сумел реализовать мировую революцию (в масштабе земного шара). Однако не получилось. Мир же в XX столетии пережил серию не только социальных катаклизмов, но и научно-технических, экономических и прочих революций. Чтобы выживать в действительно враждебном окружении, СССР должен был развивать науку, очень сложную экономику, мощный ВПК и др.

Так в 50–80-е годы был создан многочисленный советский «средний класс» – достаточно культурный, неплохо образованный, худо-бедно осведомленный в мировых делах. И этот «класс» стал претендовать на большую долю в социальном пироге, на больший доступ к информации,

¹ Между прочим, забывают, что за 20 лет до этого, в 1916 г., Россия тоже стала практически автаркическим государством. Два отличия: без варварской эксплуатации собственного народа и без отказа самому этому народу в основных сущностно необходимых «источниках» поддержания жизни.

на большее участие в принятии решений и т.д. Да и сама номенклатура подустала от высоких этических идеалов типа «как закалялась сталь». Ей тоже захотелось, что вполне понятно, сладкой жизни.

Вообще, должен заметить, большевики недооценили гедонистическое начало в человеке. Они, как теперь ясно, ошибочно полагали, что человек может удовлетвориться сладкими сказками о сладком будущем его внуков и возможностью периодически поедать другого. Людям же сегодня хотелось, по словам Виктора Астафьева, каши и колбасы. Этот гедонистический правозащитный (всем же хотелось прав) массовый подъем русского общества, который вновь, как в начале XX в., имел либеральный по своей сути характер, смел коммунистическую властесобственность.

3. Так родилась третья в ХХ в. Россия (или третья Россия ХХ в.). Несмотря на все кажущуюся уверенность в том, что с властесобственностью будет покончено и страна пойдет к рыночной экономике и разделению власти и собственности, этого не произошло. Более того, феномен властесобственности на этот раз возродился в самой чистой, еще более чистой, чем та, о которой мечтали первокоммунисты, форме – **безо всяких ограничителей**. Сегодня мы не обнаружим ни агрессивно жесткого мировоззрения, обуздывающего властесобственность, ни тех или иных религиозно-культурно-профессиональных «запретов». Подобное наблюдается впервые, поэтому не вполне ясно, куда все это пойдет.

Хотя отдельные определенности просматриваются уже сегодня. Во-первых, налицо гедонистически-потребительская ориентация нынешних властителей – естественное продолжение советской эпохи. При этом оно многократно усилено и тем, что «все позволено», и хорошим знакомством с западными стандартами потребления. Во-вторых, властители сами стали собственниками в особо крупных размерах. Но не частными собственниками в классическом смысле. Поскольку, если они начинают выпадать из Власти или, упаси Боже, конкурировать с нею, их гонят вон. Или сажают, или еще что-то из этой оперы. Все это, конечно, вызывает вопросы: что же будет с властесобственностью? Вместе с тем указывает на органическую необходимость системы ограничителей. В-третьих, впервые этот феномен смог замкнуться, так сказать, на себе. Он абсолютно не нуждается в подавляющем большинстве населения.

Можно сформулировать иначе. Властесобственники часто говорят о том, что, к сожалению, в России плохой инвестиционный климат. Подразумевается совершенно понятное нежелание западного капитала идти в русскую экономику. На самом деле это утверждение имеет прямое отношение к самой русской ситуации. Для властесобственности именно Россия и русский народ – «плохой инвестиционный климат», и она не хочет сюда идти. Это, кстати, тоже ставит под вопрос ее дальнейшее существование.

Что же исторически оказалось? Высшей формой развития властесовладельчества является властесовладельчество без ограничителей, т.е. сегодняшняя. Но в этом и ее смертельная опасность. Видимо, «внутри» властесовладельчества существуют некоторые органические пропорции, которые должны соблюдаться, границы, которые нельзя переходить, социальные обязательства, которые должны выполняться. Даже в такой форме: нет еды – разрешаю, пойди, съешь другого. Или: потерпи – завтра коммунизм. Или: шаг в сторону – побег, стреляю. Чистая властесовладельческость в своем гедонистическом экстреме об этом даже не «задумывается».

Современная властесовладельческость может развалиться, когда власть скретет всю собственность, когда все эти властесовладельческие (частные собственники от властесовладельчества) потеряют последний интерес к эксплуатации России, когда вдруг «опомнятся» и устроят какой-нибудь русский национал-социализм или когда толпы «пролов» зальют кровью Кремль и т.д.

Одно понятно: современная «чистая» и без всяких ограничителей властесовладельческость не сможет долго существовать. Ей все равно придется как-то меняться. На мой взгляд, вряд ли в сторону полного исчезновения. Скорее, она «придумает» себе какой-нибудь доселе неизвестный самоограничитель.

Вдогонку подчеркну: современная социальная наука считает абсолютно необходимой для любой социальной системы ту или иную форму самоограничения, самообязывания. На Западе это прежде всего право. Современный исламский мир настаивает на религии. У России те же проблемы, что и у всех.

Чтобы родолжить эту часть, скажем несколько слов о **коррупции и «среднем классе»**. Постсоветский средний класс – сколько ожиданий, надежд, стечений! И ничего. Не получилось. А ведь, как мы знаем, вернее, еще много лет назад узнали от таких людей, как Ральф Дарендорф (всемирно известный британо-германский социолог второй половины XX в.), средний класс есть основа «социальной плазмы». – В свое время Р. Дарендорф, создавая теорию социального конфликта (во многом дискутируя с марксизмом), утверждал, что внимание следует концентрировать не на причинах, а на формах конфликта. Ни в коем случае вообще нельзя посягать на причины конфликтов, так как они одна из форм существования общества. Конфликты должны сохраняться. Но поскольку они все же опасны для стабильности и устойчивости общества, их необходимо поместить в некую среду, которая не поглотит их окончательно, но минимизирует разрушительную силу. Конфликты локализуются и перестанут носить интенсивный характер. – Основной элемент этой среды, или «социальной плазмы», есть, напомним, обширный средний класс. Главные характеристики – сохранение определенного общественного неравен-

ства, наличие различных интересов и воззрений. Важнейшие организационные принципы – институты и процедуры по регулированию конфликтов, внятные правила игры для всех.

В известном смысле, современная Россия столкнулась со схожими проблемами (т.е. **такими**, которые вызывают необходимость «социальной инженерии» дарендорфовского типа). Если коммунистический режим был ориентирован на уничтожение причин конфликта (хотя на последней стадии своей эволюции был вынужден смириться с фактом их неизбывности), то нынешний уже не может и не хочет бороться с конфликтами **как таковыми**. Он вынужден существовать в условиях острых общественных противоречий. И потому стремится их минимизировать.

Путинские новации первого десятилетия наступившего века (партия власти, властная вертикаль, сокращение полномочий субъектов Федерации, создание президентских округов, административная реформа, изменения в избирательном законодательстве и т.д.) и есть создание русской **плазмы**, в которой конфликты будут протекать, но не разрушать общество. Только если на Западе эта плазма – социальная, то здесь – **властная**. «Властная плазма» есть принятие конфликта «в себя». Там: его внутреннее сгорание и одновременно – энергетическая подпитка.

При этом если «социальная плазма» функционирует, как уже отмечалось, с помощью четких процедур и обязательных для всех правил игры, то «властная плазма» строится на основе коррупции. Именно коррупционный механизм, механизм передела финансовых и материальных средств, является важнейшим измерением «властной плазмы». В известном смысле коррупция и есть плазма, в которой протекают конфликты – переделы. Коррупция – это среда, в которой развертывает себя в пространстве и времени «государство». По всей видимости, сегодня мы проживаем эпоху перманентной коррупции (она пришла на смену эпохе «перманентной революции»), которая не есть девиантность, но норма нашего бытования...

Подобно властесобственности, **власть тоже прошла несколько фаз (этапов) эволюции**.

Власть-Моносубъект довольно подробно описана в «Русской Системе». Но, оставаясь моносубъектной, в разные эпохи она далеко не одна и та же. Попутно заметим: Россия знала времена, когда власть стремительно теряла свою моносубъектность и страна вставала на путь, ведущий к полиархическому порядку. Однако этот путь пока не стал магистральным...

Ключевыми вопросами для власти являются следующие: **чем** она ограничена (и ограничена ли вообще) и **как** она формируется. Русская история знала различные варианты сочетания этих **чем** и **как**.

1. До семнадцатого года. С Андрея Боголюбского до Ивана Грозного (XII–XVI вв.) складывается, с большими перерывами существования иных властных моделей, уникальный феномен моносубъектности. Суть

этого явления в том, что власть – единственная социальная субстанция, все остальное – функции. Исторически это называется самодержавием. Здесь источник власти в ее носителе. Поэтому она не только самодержавная, но и самозванная. До Павла I все русские цари – самозванцы. То есть в определенную эпоху самодержавие предполагает самозванничество. Следует обратить внимание на то, что наряду с моносубъектностью русская власть вырабатывает наиболее эффективный, как считают специалисты, способ трансляции – примогенитуру («от отца к старшему сыну»). Точнее, преемство, наследование развились от лестничного принципа («старший брат – младший брат») до примогенитуры. Важнейшим ограничителем власти была религия (Бог). Наряду с Ним в различные периоды существовали и иные ограничители. Так, с середины XVI в. по конец XVII ими были Земские соборы.

Своей экстремы Власть-Моносубъект достигла в двух ее персонификаторах – Иване IV и Петре I. Последний нанес страшный удар по ограничителям. Он секуляризировал власть и отменил обычай примогенитуры. Как хорошо известно, наследника престола, согласно Указу императора от 1721 г., назначал сам венценосец. Иными словами, источником формирования власти был ее носитель на данный момент. Однако живая жизнь подправила Медного всадника. В дело «назначения» царей вмешалась русская гвардия – вооруженный авангард аристократии. Они-то и были весьма реальным ограничителем власти в XVIII в.

Автором важнейшей реформации власти-моносубъекта стал Павел I. Его «Учреждение об императорской фамилии» 1797 г. превратило примогенитуру из отброшенного обычая в господствующий институт и закон трансляции власти. Собственно говоря, это было первое правовое обрамление русского кратоса. Вследствие этого самодержавие избавилось от самозванничества. Конституция 1906 г. включила этот документ Павла в свой состав – первой, главной, статьей. Сама же она создала политико-правовую конструкцию, в которой власть начинала терять свой моносубъектный, субстанциальный характер. Во всяком случае, была существенно ограничена, возникали узлы новой власти (властей).

Вдогонку напомним: власть последние три столетия принадлежала династии Романовых. Это было их внутреннее дело. Власть была ограничена от всех остальных институций и людей, т.е. этим и ограничена. Вместе с тем общество уже свыклось с идеей разделения властей, смысл которой не только в идее разделения, но и в том, что никакой Власти-Субстанции вообще быть не может.

2. Советский период. Коммунистическая идеология выступает здесь и в качестве легитимизирующей силы, и в качестве силы, формирующей власть, и, одновременно, как бы это ни было парадоксально, ее ограничивающей. Ведь ни один из всесильных вождей-генсеков (включая

Стилена) не мог выйти за границы этой идеологии. То есть, конечно, выходили, поскольку она никаких границ не признает и готова включать в себя то, что ей выгодно. Но это по существу. Внешне же, формально это было исключено. Как ни странно, эта внешность, формальность оказывалась важнее всех сущностей. И держала советских деспотов в рамках, ограничивала их всевластие. Действительно, нельзя себе даже представить у них хоть какой-нибудь «ревизионизм». Они были обязаны «ходить» под ее императивами.

Порядок трансляции власти коммунисты толком не продумали. Ведь они были убеждены в неизбежности отмирания государства. – В связи с этим смерть любого вождя открывала маленькую войну за власть. Победа в ней венчалась Пленумом ЦК, который ее «утверждал».

Важно и то, что вождь-генсек не имел никакого юридически-релевантного статуса. Это, с одной стороны, вроде бы и давало ему беспрепятственную широту маневра и абсолютное могущество, с другой – ограничивало его амбиций. Ведь никакой правовой бастион не защищал его позиций. Пока успех сопутствует тебе, народ и привластные группы покорно и с восторгом бегут за твоей колесницей, но если он отвернется от тебя, неровен час придут за твоей головой. Никакого же внятного иммунитета у тебя нет. Кто ты такой?!

Вообще-то подобная власть недолговечна. Даже удивительно, что она продержалась семь десятилетий.

3. Современная Россия. Пожалуй, здесь вновь складывается уникально-парадоксальная ситуация. По-своему не менее своеобразная, чем дореволюционная и советская. Власть формирует действующий президент. Ельцин – Путина. Путин – Медведева. Затем возникает тандем (Владимир Владимирович не захотел далеко уходить от власти). Правительствующий тандем, он же – электорат... Обычай преемничества уже сложился.

На первый взгляд, все это похоже на XVIII в., от Петра I до Павла I. Однако только на первый. Мы живем в массовом современном обществе, в котором главным регулятором функционирования социума является право (другие – историко-культурные традиции и обычаи, социопсихологические стереотипы и т.п.). Основная норма права – конституция. Она во всех смыслах основной закон общества. И именно конституция отброшена. Вместо равного, тайного, прямого и т.д. – «договоримся». Мне, впрочем, могут возразить: выборы никто не отменял, будут и другие кандидаты, «выбор» же внутри тандема – есть внутреннее дело этих двух. В том-то все и дело, что это не так. Система выстроена под простое преемничество («я тебя назначаю»), но может выдержать и тандемность.

При этом отброшена, растоптана не только конституция. Весь уклад современной жизни, который – хочешь не хочешь – построен по принципу выбора. Мы в нашей жизни выбираем все: профессию, жен–мужей, еду,

одежду, досуг, круг чтения, телепрограммы и т.д. Это и есть Modernity или, тоже на выбор, Postmodernity. И лишь в вопросе о власти мы лишены этой возможности. И это во властьцентричной культуре, которая остается таковой несмотря ни на что! А времена-то, повторим, совсем иные, чем в XVIII в....

Современный режим и война

И, наконец, пытаясь понять социальную природу советской посткоммунистической России, невозможно пройти мимо войны – Великой Отечественной, как учили нас в школе. У нас всегда – и при коммунистах, и после – кульп Победы (не кульп Страдания и Победы, а лишь ее одной) был чуть ли ни главенствующим в арсенале идеологическо-эмоционального окормления населения. В последние же годы он достиг каких-то умопостигаемых высот и размеров. Это естественно и даже закономерно.

Современная властная Россия, управляющий режим и господствующая социальность вышли из войны, являются ее порождением, копрояются в ней. С первого, привычного, взгляда это чушь какая-то. Разве нынешняя Россия не родилась из Перестройки, событий 91–93, вообще 90-х годов и начала нового века? – Да, и из них тоже. Однако в основе своей – из Войны.

И ничего странного и удивительного здесь нет. Ведь и предшествовавший Режим родился из Войны – Первой мировой. Да, да, мы о Большевистском Режиме. Он начал складываться в ходе той самой Первой. И, конечно, никто тогда и предположить не мог, что выплывает нечто небывалое. И сами большевики тоже ничего не знали и в том процессе не участвовали.

Безусловно, Гражданская война катастрофически ухудшила все условия жизни и тем самым сказочно укрепила режим, сформировав, выдвинув нужных людей – тех, кто прошел жестокий отбор безостановочного убийства и жесточайшего насилия как единственного метода побеждать и управлять. Но без решающего вклада Первой мировой большевизм бы не состоялся. Это она стала питательной и воспитательной средой Коммунистического режима-1.

Итак, **Коммунистический Режим (КР)-1**. Зарождение где-то около 1915–1916 гг., угасание – в 1941–1942 гг. (почему так – объясним ниже). Это режим тотальной и перманентной революции как вшире (по всему земному шару), так и вглубь (до паренхимы надпочечников абсолютно всех – без исключения! – индивидов). Направление главного удара («вшире» или «вглубь») зависит от конъюнктуры момента. Метод – всеобщее, абсолютное насилие, стремление к **переделке** всего и вся. Россия знает в основном два типа режима – переделки и **передела**; соответственно

но: грозненский, петровский, сталинский – переделка, постгрозненский, постпетровский, постсталинский – передел; типологически это схоже с двумя принципами жизнедеятельности Русской Системы – **уездным и удельным**¹; причем переделка всегда выдыхается (нередко со смертью Главного) и «вырождается» в передел (как правило, главный здесь – лишь первый из передельщиков)...

КР-1 – совершенно безгарантийная система. Записав в Конституции 1936 г. кучу гарантий трудящимся, большевики лишили их главной гарантии – на жизнь (веру, свободу, собственность, социальный выбор). Когдато Павел Пестель предлагал России систему гарантойной деспотии, в рамках которой люди подпадали под власть жесточайшей диктатуры, но получали немалые социальные гарантии. Его подельник Никита Муравьев, напротив, хотел облагодетельствовать отечество системой безгарантийной свободы – обладание всеми правами свободного гражданина не предусматривало никаких социальных гарантий; свободен и никому-не-нужен. – Большевики-мичуринцы скрестили пестелевскую деспотию с муравьевской безгарантийностью. Но пошли еще дальше. Свою безгарантийную диктатуру объявили царством свободы и социального обеспечения.

И еще: КР-1 работал в крестьянской стране, т.е. был возможен только в ней. Да, он разрушил Россию как крестьянскую страну, «раскрестьянил» самого сельского жителя, резко ускорил процесс урбанизации, однако, повторим, то, каким он был, обусловлено во многом крестьянским характером тогдашнего русского мира. КР-1 потому-то и побил крестьянство, так как оно было главной его «окружающей средой» (правда, и питательной; но это уже другая тема).

...Но вот пришла Вторая мировая война и в целом не затронула КР-1. «Момент истины» настал 22 июня 1941 г. ...Масштаб катастрофы 41-го был беспрецедентным. Военное и государственное поражение. РККА об разца июня практически перестала существовать. Немец взял до 1 млн км² и поднял под себя около 65 млн человек...

«Зима, Барклай иль русский бог». Не морозы, не Жуков, не гнилой сталинский режим, посыпавшийся от сокрушительных ударов германцев, но – люди, которые в ходе войны вновь станут народом, а не классами, прослойками, винтиками, которые начнут вспоминать: отчество, родина, семья, дом, а не «троцкистско-бухаринские убийцы», «мировая революция», «пятилетка в четыре года»... Началась Отечественная война и, более того, – Освободительная для русского народа от сталинского коммунистического режима. Да, Отечественная стала, помимо прочего, войной за самоэмансипацию народа от людоедской системы, стала первым этапом самоосвобождения. Кстати, и Людоед начал что-то понимать. Еще

¹ См.: Политическая наука / РАН. ИНИОН. – М., 1997. – № 2; 3.

30 сентября в разговоре с американским дипломатом заметил: «Мы знаем, народ не хочет сражаться за мировую революцию... Может быть, будет сражаться за Россию»...

Вторая Отечественная вернула русским историю, которую отобрала у них Октябрьская революция и КР-1, с его абсолютным ужасом, насилием, попыткой универсальной **переделки**. Русские вновь начали становиться нормальным народом со своим прошлым. Ведь, действительно, СССР – название никогда не существовавшей страны (без прошлого) и страны, не связанной с определенной территорией (по Конституции 1924 г. в СССР могли в принципе войти все те государства, которые встали на путь коммунизма). То есть СССР в строгом смысле слова и не страна вовсе, а нечто совершенно иное: «мир-система» в интенции. И советский народ создавался как некая новая, никогда не бывалая, историческая общность (хотя и назовут его так позднее). У этой общности не должно было быть не только прошлого (истории), но и религии, собственности, семьи, права и т.д. У ее членов отнимались имена и присваивались «новоделы» – клички, как животным. «Интегратором» этой «исторической общности» являлись беспрецедентный массовый террор, вызывавший полностью парализующий человека страх, и коммунистическая идеология, состоявшая из низкопробной смеси вырванных из нормального контекста обрывков религии, науки, традиционных мифов, суеверий и пр.

И при первом столкновении с реальной угрозой всему этому пришел конец. Оказалось, что мы не СССР, а Россия, не Марлены, а Иваны, не «земшарная республика Советов», а «ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», не «пролетарии всех стран...», а «Господи, помоги», не новые взаимоотношения полов, а «жди меня» и «ты у детской кроватки не спиши...».

...Совершенно очевидно: четыре года войны существенно трансформировали наше общество. Да просто сменились актеры исторической трагедии. Одни ушли навсегда, другие навсегда приобрели новый – бесценный! – социальный опыт. Тотальная переделка тридцатых была как бы отодвинута в сторону. – Из войны вышел *Коммунистический режим–2*. Он откажется от переделки и обратится к традиционно-русскому переделу. То есть русская история вернется в СССР, или СССР возвратится в русскую историю (не полностью, конечно, но – тенденция обозначилась)!

Таким образом, рождение и становление КР-2 совершенно отличны от генезиса его предшественника (КР-1). Да, тоже из войны, и войны еще более обезличенно-технанизированной. Однако войны, ставшей Отечественной и – в интенции – Освободительной. Вторая Отечественная явилась великим подвигом и опытом преодоления русским народом Ленина-Сталина, советско-нацистских шашней, советско-германского вооруженного противостояния. Отечественная проросла сквозь все это. И потому в

великом страдании России на маршруте «Гражданская война – Гражданское общество» Отечественная занимает ключевые позиции. Отечественная обозначила начало конца Гражданской.

...Как тонко, глубоко, точно почувствовал все это тот, кого полагали «нэбожителем», «гениальным дачником», «эстетом, далеким от народа и чуждым ему», «внутренним эмигрантом»...

«Хотя просветление и освобождение, которых ждали после войны, не наступили вместе с победою, как думали, но все равно, предвестие свободы носилось в воздухе все послевоенные годы, составляя их **единственное историческое содержание** (выделено мною. – Ю.П.)». Да, иного исторического содержания в второй половине 40-х – начала 50-х не было (разумеется, был еще подвиг материального восстановления страны, но и он в конечном счете, хотя никто и не подозревал об этом, был тысячами нитей связан с грядущим).

...Отечественная дала нам «Доктора Живаго»... Вообще-то, как теперь становится ясным, Борис Леонидович писал его всю жизнь, начиная еще с дореволюционных поэтических и прозаических опытов... Но **написать** смог лишь после Освободительной войны. Ведь и у него, как у всех наших главных выразителей, все по Пушкину – «и неподкупный голос мой / был эхом русского народа». Русские вновь обрели голос, когда затравленные и травящие друг друга массы стали возвращаться в состояние «народ», когда запуганный и пугающий все и вся обыватель («проверенный в чистках предатель», – с высокомерным отвращением молвил Осип Эмильевич) стал возвращаться в состояние «человек» («Жить и сгорать у всех в обычай, / Но жизнь тогда лишь обессмертишь, / Когда ей к свету и величию / Свою жертвой путь прочертишь»). – Слышите? **Свою**, а не классового врага, не «низшей» расы (по-русски: «жидов», «хачей», «казаков», «черножопых» и т.д.), не политического оппонента или конкурента по бизнесу. И эхом этого нового голоса явился «Доктор Живаго» (все то, что породила Революция, в целом находилось под спудом и ждало своего часа; вскоре он настанет...).

Заметьте: мы перескочили с одних рельсов на другие. Вместо попыток понять советскую историю и ответить на вопрос, почему власть приватизировала Великую Отечественную войну, разговор пошел о «стишках». – Но ведь это очевидно: русская литература есть квинтэссенция русской истории, так сказать, ее «продолжение другими средствами». Иначе говоря, это идеалтическое выражение отечественной истории, ее **эхо**, которое само порождает новые исторические смыслы, человеческие типы, социальные ситуации...

Хорошо известно: наша классическая литература «уложилась» в сто лет (немало!). От романа «Евгений Онегин» (20-е–30-е годы XIX в.) до романа «Клим Самгин» (20-е–30-е годы XX в.). И все в ней: о бремени че-

ловеческого существования, о «невозможности» быть человеком, о «лишности» всякого человека на Руси. И КР-1 это подтвердил, закрепил конституционно и залил кровавой (не сургучной) печатью (еще в 1918 г. появилась новая социально-правовая категория «лишенцы»; точнее: бесправно-расстрельная категория; так «лишние люди» стали «лишенцами»; так из гениальных прозрений, тоски и любви умнейших русских родился режим людоедства – а ведь действительно, лишних надо съесть; так, кстати, из немецкой классической и постклассической философии – от Фихте до Ницше, тоже сто лет! – выплыло схожее с нашим, национал-социалистическое чудовище). Казалось бы: «Все расхищено, предано, продано, / Черной смерти мелькало крыло, / Все голодной тоскою изглодано...» (ведь о том, что в «катакомбах» шла спасающая и спасительная работа, знало лишь абсолютнейшее меньшинство...).

И вот – «Доктор Живаго». Этот текст и XX съезд (о нем мы еще скажем) в самом прямом смысле слова вдохнули в нас жизнь... Все мы знаем зацитированные слова Г.В. Федотова, что «Капитанская дочка» самое христианское произведение русской литературы. Верно. Именно это пушкинское, а не мучительные попытки Федора Михайловича «явити миру образ русского Христа», не моральные искания зрело-позднего Толстого, не славянофильская утопия «Святой Руси». Верно, но для России XIX века, дореволюционной. Хотя, конечно, продолжало «работать» и в условиях Эсесесерии. Но необходимо было нечто иное и новое, сказанное **современным** (во всех отношениях) голосом. В **этом** смысле «Доктор» подобен «Капитанской дочке», христианство которой... в естественной, простой, свободной атмосфере, при всем ужасе и безобразии описываемого. Это и вправду «евангельский» текст. И потому могучий (помните: «могучая евангельская старость / и тот горчайший Гефсиманский вздох»).

Атмосфера «Капитанской дочки» позволила русскому человеку (к сожалению, только из культурно-привилегированной среды) в XIX столетии строить приемлемое общество, минимизировать рабство, варварство, насилие, творить. Все это унаследовал «Доктор» в совершенно новых формах и тонах... И от этого импульса Отечественной пошло-поехало. Гроссман, Окуджава, Современник, Таганка, Хуциев, К. Муратова, многое-многое другое. Проза, поэзия, театр, кино, живопись – высочайшего качества, тонкое, умное, новое, и возвращение тех, кто в двадцатые-тридцатые творил катакомбно. Все это великолепное искусство 50–80-х, вплоть до Бродского, Высоцкого, А. Германа, русского рока и даже до Александра Исаевича Солженицына, чей генезис, правда, сложнее, многообразнее. Но и его без Отечественной и ее эманципационных последствий представить невозможно (хотя, в отличие от большинства «послевоенных» rag excellence, он и, наверное, Бродский «вписаны» во всю русскую историю; которая их как будто ждала)... И из этого же, конечно, корня – инакомыс-

лие, правозащитное движение, диссидентство в целом, т.е. помимо прочего, строительство гражданского общества.

Сегодня даже не важно (конечно, важно, но здесь о другом), какие идеи их вдохновляли и что они продуцировали сами. Главное: они начали строить, не спроси разрешения у начальства. Эта самостоятельность, эта свобода выбора и мужество и есть их грандиозный вклад в дело нашего выздоровления-воздрождения.

И здесь пришла пора сказать о событии, которое конституировало КР-2, стало вторым (наряду с Войной) источником его легитимности, ключевым моментом его становления. **Речь идет о русском Нюрнберге.**

В 1956 г. руководство СССР-КПСС решилось на самоубийственный шаг: оно провело свой Нюрнбергский процесс. Я настаиваю на том, что XX съезд был **русским** Нюрнбергом. И потому никакого другого Нюрнберга в России уже не будет. При всей (внешней) скромности и «робости» саморазоблачения это было именно саморазоблачение, и заметим: одно из самых морально достойных событий русской истории за все ее тысячелетие, даже если оно стало возможным в результате острой внутрипартийной борьбы. То есть такая цель – саморазоблачение – и не ставилась. Кстати, подчеркнем, вследствие и после этого система была обречена, начался процесс эманципации.

В перестроичные и постперестроичные годы много говорилось о необходимости Нюрнбергского суда над коммунистами-чекистами, над всей системой большевизма. И поскольку ничего подобного не получалось и не случилось, проницательные аналитики сделали вывод: русский народ не хочет каяться, не хочет очиститься; и это открывает возможности для новых трагических событий.

...XX съезд был проведен всего лишь через десять с небольшим лет после Великой Отечественной войны (не проигранной и, мягко говоря, не несправедливой). И мы сами выпустили из лагерей миллионы заключенных, а не победоносные оккупационные армии. И сами сказали о совершенных преступлениях.

Мало сказали, не все? Да, мало, не все.

Но что же на самом деле сделал Хрущев на XX съезде? – Его критики-либералы утверждают: «развенчал» Сталина и спас сталинскую (по сути) систему. Нет, Никита Сергеевич,бросив отца народов с корабля современности, покончил со сталинским КР-1, режимом **тотальной переделки** и дал зеленый свет становлению и расцвету КР-2, **номенклатурного режима передела**.

Хрущев – не нами, конечно, придумано это сравнение – был Лютером коммунизма. Слишком рискованно и вольно? Возможно. И все же в истории христианства и коммунизма налицо параллели (пусть поверхностные, «внешние»...). «Краткий курс», несомненно, подобие «Нового За-

вета». Правда, в отличие от последнего главный персонаж «Курса» фактически возглавлял авторский коллектив и корректировал-редактировал текст. Действительно, апостолы писали после гибели Учителя, а сталинские «райтеры» под его руководством, в смысле: под диктовку.

Вообще сталинизм структурно был схож с христианством. Бог-Отец – Ленин, Бог-Сын – Сталин, Бог-Дух Святой – Идеология (Маркс, Энгельс – пророки, «крестители» Церковь – Партия. И вот является Хрущев. Когда-то Лютер произнес: каждый сам себе священник. Так начиналось современное полисубъектное общество. Так христианство «приватизировалось» христианами и отменялась посредническая функция церковной иерархии. Никита Сергеевич «разоблачил» Сталина и тем самым сказал коммунистической номенклатуре: каждый сам себе сталин, мы все сталины, нам не нужен Сталин. Так коммунизм «приватизировался» номенклатурой, отменялась главная функция Сталина – «Ленин сегодня». Поэтому Усатого и вынесли из Мавзолея – не по чину брал. Поэтому началосьозвращение к Ленину и борьба за подлинного (не сталинского) Ленина. В результате возникла коммунистическая полисубъектность, особенно в мировом коммунистическом движении и мировой социалистической системе.

Разумеется, плурализация и демонополизация коснулись Идеологии (Святый Дух) и Партии (Церковь). Единства в них не стало. Понятно, что вслед за коммунистическим протестантизмом возникла и коммунистическая Контрреформация. Это – неосталинизм. И заметим: Вольтерово «раздвинуть гадину», обращенное к церкви на излете христианской эпохи, в попут острейшего кризиса христианства, вполне корреспондирует главному требованию «перестройки», эпохи угасания и смертельного кризиса коммунизма: «убрать 6-ю статью Конституции». То есть «раздвините гадину – партию»...

Убрав Сталина, Хрущев ликвидировал и его Систему. Stalin был в ней главным, системообразующим элементом, субстанцией. Без Сталина и система оказалась другой. КР-1 – это Stalin-Система, КР-2 – сталинская система. «Все», т.е. номенклатура, стали коллективным «сталинским» (отчасти схожее мы можем обнаружить после смерти Петра I, когда аристократия временами натягивала на себя мундир Самодержца-Моносубъекта и в стране устанавливалась система «коллективного руководства»...).

...Вот, собственно, и все. XX съезд, помимо того, что покончил с самым страшным в истории режимом массовидного террора и суициального самопожирания, позволил реализоваться двум социальным потенциалам: номенклатурократии и гражданскому обществу. Оба этих потенциала и реализовались в Коммунистическом Режиме-2. Этот строй, пережив революцию конца 80-х – начала 90-х годов, мутуровав, существует и сегодня. Его начало во Второй Отечественной.

Послесловие

Наивные люди, даже такие опытные и знающие, как, скажем, Марк Раев («Understanding the imperial Russia»), полагают, что ancien régime погибают, поскольку что-то «исчерпали» в себе («всё»), что-то не смогли решить и т.п. В том-то и дело, что нет. Режимы гибнут на взлете, когда «сладкая жизнь» откармливает крепких и эффективных протестантов. И еще есть одна весьма неприятная закономерность: французская, русская и немецкая (1933) революции случились на фоне (наверное, и в результате) демографического взрыва (об этом в своей известной книге убедительно и ярко говорит В.П. Булдаков; но на русском только материале). Здесь, видимо, порядок не выдерживает избыточных энергий, которые до поры до времени «гуляют сами по себе». А затем нечто канализирует их (эти энергии) на разрушение.

Когда в гору пошел парламентаризм и вообще принцип представительства? В Англии в XVIII в., т.е. после революции. Во Франции в XIX в., т.е. после революции. Герцен писал: «Европа догадалась..., что представительная система – хитро придуманное средство перегонять в слова и бесконечные споры, и общественные потребности, и энергическую готовность действовать¹.

Правильно, именно – перегонять в слова, парламент – говорильня. Но ведь была и традиция всяких там генеральных штатов, рейхстагов, парламентов; традиция, уходящая в века. А до этого – церковные соборы и «съезды», где в «слова перегонялись» вопросы веры, центральные тогда. – Оказалось, что это путь свободы и права.

Типологически схожие вопросы решала Русская Система на путях рабства и бесправия, причем всегда.

Говоря языком Гегеля, они предпочли Aufhebung, мы – Verneinung.

...Революция *per se*, безусловно, способ снятия проблем, связанных с усложнением социальной ткани. То есть всякая революция есть упрощение. Самое «развитое», плюральное, социально богатое общество – интенционально предреволюционное. Если, образно говоря, революция заканчивается парламентом, сложность восстанавливается, если диктатурой, то – нет.

Какие еще послесловия о революциях в контексте «understanding Russia» возможны? – Результатом Русской Революции (1860–1930) стала полная историческая аннигиляция приемлемой страны. Результат революции конца XX столетия – сохранение неприемлемой постоктябрьской России (несмотря на отказ от коммунистической системы) и политико-экономическая победа социального авангарда (номенклатуры, ее истори-

¹ Герцен А.И. Избранные философские произведения: В 2 т. – М., 1946. – Т. 2. – С. 69.

Об «истоках» и «смыслах» современной России

ческих союзников и попутчиков), русского массового модерного человека, и очередное поражение русского либерализма, крушение русской надежды. В очередной раз, говоря языком героев Достоевского, «русский бог спасовал перед дешевойкой».

Тем не менее как никогда велики шансы вновь стать приемлемым народом. Есть и опыт, и люди; не сомневаемся, Россия вновь попробует это сделать.

С.Г. КОРДОНСКИЙ

**РЕСУРСНОЕ ГОСУДАРСТВО – ОТ РЕПРЕССИЙ
К ДЕПРЕССИЯМ¹**

...Россия уникальна, как и любая другая страна. Ее уникальность, на мой взгляд, в том, что почти любое дело, которое затевают ее граждане, исходя из самых благих намерений, обворачивается его противоположностью.

Почему? Я пытался косвенно ответить на этот вопрос, предложив в качестве российской специфики гипертрофированные административно-рыночные механизмы. Но в синхроничной теории административного рынка нельзя объяснить, почему титанические усилия власти по укреплению государства приводят в конечном счете к какой-либо форме тоталитаризма, а не меньшие усилия по демократизации заканчиваются ослаблением государства, иногда его распадом.

...Разрыв между наблюдаемым и способами его объяснения поражает. Феномены нашей жизни имеют мало общего с тем, чему следует быть, если исходить из общепринятых теоретических схем. Во многом поэтому аргументация в обычном интеллигентском дискурсе строится как противопоставление того, что есть (устрашающего, неправильного), тому, что должно быть согласно исповедуемой дискутантам теории. Но при этом даже самые простые идеологически и политически не акцентуированные описания отечественных реальностей – пока редкость.

...В России, с моей точки зрения, не было той экономики, которая описывается в стандартных учебниках. То, что внешние наблюдатели принимают за экономику, вероятнее всего, вообще не экономика, а ресурсная организация государственной жизни². В теориях, которые исповедуют прогрессивно настроенные экономисты, такой феномен, насколько

¹ Печатается по: Кордонский С.Г. Ресурсное государство – от репрессий к депрессиям // Ресурсное государство: Сб. ст. – М: REGNUM, 2007. – С. 3–46.

² Я не нашел в экономической литературе адекватного определения такой системы отношений, поэтому использую термины ресурсы и ресурсное государство без ссылок. Отсутствие определений тем более интересно хотя бы потому что в обыденных отношениях и профессиональных дискуссиях термин ресурсы неизбежно возникает каждый раз, когда обсуждается судьба России.

мне известно, не анализируется. Аппарат этих теорий соответственно мало применим к описанию потоков ресурсов, диригируемых государством. Товар в России не совсем товар, деньги не совсем деньги, производство не совсем производство, и даже потребление только внешне сходно с классическим потреблением, описываемым в стандартных учебниках экономики.

...В России была предпринята попытка построения социальной системы без капитала, основанной только на ресурсах. Попытка в каком-то смысле удалась. И потому социальная структура по умолчанию по-прежнему описывается классами по отношению к средствам производства, а не традиционными для современной импортной науки классами по потреблению – высшим, средним и низшим.

...Советский социализм был целостной системой управления ресурсами, рационально выстроенной, логически связной и реализованной в системе государственного устройства. Он не умер вопреки мнению большинства отечественных идеологов, политиков и экономистов. Более того, очистившись от советской риторики, он возрождается как во многом антисоветский, но социализм.

...Ресурсная организация государства никуда не делась. Она мимикрировала под рынок, но в рыночных формах ей тесно.

Ресурсное государство

Задачами ресурсного государства были и остаются мобилизация и управление ресурсами, которые совсем не товары и чья ценность невыразима в деньгах. Ресурсное богатство меряется натурой, «чугуном и сталью на душу населения страны». Мобилизация ресурсов заключается в том, что государство (в идеале) безраздельно управляет всеми материальными и человеческими потоками. Ресурсное государство возникло как инструмент управления ресурсными потоками, им же сформированными. Оно создает условия для беспрепятственного перемещения ресурсов и прежде всего убирает то, что им мешает, т.е. внутренних и внешних врагов.

Ресурсы по-российски – скорее сокровища, которые утаиваются или бесполезно растрачиваются природой и людьми, в то время как они должны быть отмобилизованы и употреблены на достижение великой цели. Административно-территориальная, отраслевая и социальная организация нашей страны производна от поиска, добычи и накопления ресурсов, их распределения и освоения. Социальные связи при такой организации жизни есть потоки ресурсов между элементами государственной структуры.

Население – ресурс для строительства советского, или, как сейчас, российского социализма. Образование – ресурс (отсюда, например, разговоры об утечке интеллектуального капитала), здоровье населения – ресурс, земля – ресурс. Труд не является в рамках такой организации жизни

товаром, он тоже ресурс. Термин «трудовые ресурсы», изобретенный политэкономами социализма, очень точно отражает место и роль населения в организации добычи других ресурсов и их переработке, а значит, и в социальной системе. Государство... трансформирует в ресурсы все, что оказывается необходимым...

Формой использования ресурсов является их освоение. Предприятие, отрасль или регион, которому разнаряжены ресурсы, должны их освоить. Результатом освоения является удовлетворение нормативной потребности или создание некоего изделия. В результате освоения ресурсов товар не возникает. Сам факт расходования ресурсов есть свидетельство их использования. Израсходованные ресурсы списываются, перестают существовать как единица учета.

Формой хранения ресурсов является складирование. Запас, как известно любому человеку, пожившему при социализме, карман не тянет, и потому количество ресурсов, накапливаемых государством и его гражданами, огромно. Но это богатство не может быть оценено в терминах товаров и денег, по самой природе государства...

При ресурсной организации государства ни о каких собственно экономических инструментах определения эффективности речь не может идти в принципе... Использование ресурсов определяется порядком управления, который есть совокупность множества подзаконных актов, нормативов и инструкций, регламентирующих накопление и хранение ресурсов, их освоение и порядок списания. Нарушения этих инструкций, нормативов и регламентов образуют состав преступления против порядка управления...

Ресурсные депрессии и репрессии как способ «наведения порядка» в использовании ресурсов

...В построенном социализме на смену кризисам перепроизводства пришли ресурсные кризисы дефицита. Опыт показывает, что ресурсное государство всегда находится в более или менее глубоком кризисе, имеющем форму перманентного дефицита ресурсов. Государство стремится выйти из кризисов, ужесточая контроль за распределением имеющихся ресурсов, а также мобилизуя новые. Однако оно практически никогда не достигает того, что хочет.

Кризисы – дефициты в ресурсном государстве чреваты, если не принимать репрессивных мер, ослаблением государства, иногда – его распадом. Происходит это (если абстрагироваться от высоконаучных объяснений «настоящих экономистов») из-за неэффективного использования консолидированных государством ресурсов. Подобная неэффективность в основном связана не с дефектами планирования, а с тем, что ресурсы используются нецелевым образом или просто расхищаются.

Единственным способом борьбы с нецелевым использованием и хищением ресурсов (кроме массированной пропаганды честного труда и клеймения расхитителей) были и являются репрессии, которые суть действия государства, наказывающие за то, что ресурсы, предназначенные для одного дела, были израсходованы на другое дело или просто украдены.

Репрессии при советском социализме – примерно такой же инструмент управления ресурсной организацией государства, как политика учетной ставки при капитализме. «Посадки» могут быть массированными (массовые репрессии) или локальными, в зависимости от задач, которые ставятся государством. Важно, что в ресурсном государстве они всегда остаются способом регулирования ресурсных потоков, а не результатом применения закона, перед которым все равны¹.

...В периоды депрессий государственные репрессии исчезают как институт. На смену им приходят негосударственные репрессии, поскольку вместе с ресурсами государство теряет репрессивные функции. Размах репрессий, проводимых новыми распорядителями ресурсов, в целом ничуть не меньше, чем те, которые осуществляет государство, когда полно-правно рулит ресурсными потоками. Негосударственные репрессии интерпретируются как рост преступности. Может быть, в ресурсном государстве действует «закон сохранения репрессий», обеспечивающий поддержание ресурсных потоков...

Перестройку и все, что за ней последовало, принято считать полным крахом советского социализма. Но никакого краха основ социализма (кроме пустой к концу 80-х годов идеологии) не было. Основы-то как раз остались. Перестройка и последующий период были глубочайшей комплексной депрессией ресурсной организации СССР (потерей государством инструментов управления ресурсами), в результате которой страна распалась на фрагменты. Постсоветские государства сохранили социалистическую инфраструктуру, на базе которой сейчас идет восстановление управления ресурсными потоками, маскированное феноменами, делающими эти процессы сходными с рыночными.

Централизованные репрессии сейчас принимают ситуативные формы борьбы «с самодеятельными застройщиками», «за упорядочение использования торговых площадей», «защиты водоохраных зон», не говоря уже о «посадках» «незаконных предпринимателей», «нарушителей налогового законодательства» и «политических экстремистов». Это происходит не по чьей-то злой воле, а само собой при решении конкретных про-

¹ Термин правовое государство в принципе не относится к ресурсному государству, где традиционному праву нет места. Вместо права – социалистическая законность, основанная на политической целесообразности. Политическая практика отечественного социализма всегда представляет собой некую форму реализации репрессивной технологии, иногда относительно мягкой, как сейчас, иногда чрезвычайно жесткой.

блем, возникающих в практике управления ресурсными потоками, когда оказывается, что никакими иными методами, кроме репрессивных, нельзя обеспечить ресурсами социально важное направление государственной работы...

Прогрессивные экономисты и политики, защищаясь от непосредственно данной им в ощущениях реальности, избрали термин «переходный период», в течение которого остатки социализма якобы соседствуют с ростками капитализма. Но никаких переходных периодов нет и не было. Советские институты науки, образования, здравоохранения, военной организации государства, административно-территориального деления, социальные группы бюджетников, сформированные для справедливого распределения ресурсов, сохранились практически неизменными и настоятельно требуют восстановления потоков к ним. Кроме того, полностью сохранилась система хранения ресурсов, так называемые мобилизационные мощности и государственные резервы.

Нынешние власти намерены удовлетворить запросы базовых институтов социалистического государства. Об этом свидетельствуют «приоритетные национальные проекты» по развитию образования, здравоохранения, сельского хозяйства, строительства доступного жилья, теперь еще и культуры. Национальные проекты формируются и исполняются как привычные по советским временам ресурсные мероприятия. Для идеологов национальных проектов численность граждан, уровень их образования и состояние здоровья, количество квадратных метров жилья на душу населения, количество мяса и молока на ту же душу представляют собой функции от ресурсообеспеченности.

Ресурсов не хватает для удовлетворения нормативных потребностей, поэтому необходимо создать условия для их увеличения. Условия создаются тем, что бюджетные деньги (и другие ресурсы) распределяются по социально-учетным группам работников образования, здравоохранения, сельского хозяйства, строительства и культуры пропорционально значимости этих групп для государства. Однако в отсутствие великого государственной идеи и госплана ресурсы распределяются нерационально. Социалистические начинания пробуксовывают, а повышение зарплат «отдельным категориям работников» вызывает социальную напряженность, так как нарушает лежащие в подсознании членов социалистического общества принципы социальной справедливости...

Товары и деньги при ресурсной организации государства

...Ресурсное государство напоминает соты: множество разграниченных ячеек, через границы которых идут ресурсные потоки. Ресурсы в моменты пересечения границ между ячейками превращаются в товары и

деньги. Ячейки вложены друг в друга, и самая большая ячейка – государство. Границы между ячейками необходимы для организации учета потоков ресурсов и контроля за ними. Ведь для справедливого распределения необходимо разделить население, отрасли и регионы на группы – ячейки сообразно их важности для достижения великой цели. Именно деление порождает границы между фрагментами. И для пересечения границ необходимо виртуальная трансформация ресурсов в товары и деньги. Само установление границ нарушает социальную справедливость и вводит неравенство разграниченных фрагментов государственного устройства.

Идеологическая задача государства в целом (в отличие от аппарата государства) – ликвидация границ, установление социалистического равенства всего и вся, соблюдение социальной справедливости. Задача государственного аппарата заключается в поддержании границ, так как они дают возможность вести учет и контроль, управлять потоками ресурсов и вести административный торг по их распределению и перераспределению. Собственно, это противоречие между целью и механизмом ее достижения, между государственной идеологией и аппаратом государства было основным при советском социализме.

Торги на административном рынке (перераспределение ресурсов) имеют целью восстановление социальной справедливости, нарушающей границами между ячейками ресурсного государства, и определение коэффициентов трансформации ресурсов в товары, деньги и обратно...

Тем не менее, повторим, ресурсы всегда были в дефиците, такова их природа. Добытие ресурсов было основной деятельностью строителей социализма, поскольку то, что попадало в систему распределения, можно было считать товарами с большой натяжкой. Скорее, это был дефицит. Ресурсы «доставали по блату», зачастую не по необходимости, а для обозначения административно-рыночного статуса, самой возможности «достать»... Добытые ресурсы надо было освоить. Освоение ресурсов было не менее важной деятельностью, чем их доставление, так как неосвоенные ресурсы уменьшали шансы на их добывчу на следующем цикле этой деятельности.

Эти инвариантные соотношения между нормативными (плановыми) потребностями в ресурсах и технологиями их удовлетворения возникали вокруг всех единиц социального учета: отраслей народного хозяйства и отдельных предприятий, регионов любого уровня – от сельсовета до республики в составе СССР. Само планирование создавало дефицит. Для уравнивания дефицитарности в разных регионах и отраслях возник институт перераспределения ресурсов. Социалистическая система действовала так, чтобы все были в равной степени бедными и ущемленными...

Во времена полного господства распределения (таких как снабжение фрагментов государства во время войн) внутренние границы ликвидирова-

лись, социалистические товары и деньги исчезали, оставались одни ресурсы, распределяемые по фондам или карточкам. В эти времена был всеобщий дефицит ресурсов. И границы между фрагментами социалистического мицоустройства расширялись, формируя социалистическое квазирночное пространство во время депрессий: перестроек и либерализаций. Тогда дефициты уменьшались, наступали эпохи изобилия.

Так, в 90-е годы фрагменты государства перестали быть объектами планирования, распределения и контроля. Ранее локальные социалистические законы товарно-денежного обращения, действовавшие только при пересечении границ, превратились в общие правила обращения с ресурсами. Ресурсы зависли на границах, трансформировались в товары и деньги и остались ими, не переходя обратно в статус ресурсов. Так существенная часть ресурсов СССР за несколько лет превратилась в товары, сформировалось денежное обращение.

При этом в 90-е годы возникла иллюзия, что ресурсное государство одним махом пера чиновника, отменившего фондирование и контроль за ценообразованием, превратилось в нормальное рыночное – капиталистическое. Однако это не более чем иллюзия, обусловленная тем, что границы между фрагментами ресурсного государства материализовались и стали настолько широкими, что в них начали безудержно размножаться социалистические паразиты, которых прорабы перестройки и прочие прогрессивные экономисты приняли за адептов капитализма.

В результате «либеральных экономических реформ» получатели ресурсов, особенно базовые институты государства, такие как вооруженные силы, силовые структуры, образование, здравоохранение, регионы, социальные группы бюджетников, оказались одновременно и вне убыточного рынка, и вне распределения ресурсов. Они вынуждены были заниматься сначала перераспределением запасенных ранее ресурсов, а потом их расхищением. Это стало в 90-е годы основным занятием военных и работников оборонных отраслей, милиции, учителей, врачей и других бюджетников.

Сдача в аренду предоставленных государством ресурсов в виде помещений, использование производственного оборудования для получения личных доходов, спекуляция статусными возможностями, прямая распродажа госресурсов были общераспространены и необходимы для выживания ячеек ресурсного государства. Границы между последними стали прозрачными для товаров и денег, но непроницаемыми для ресурсов. Оборона государства, здоровье населения и уровень его образования в результате превратились в, мягко говоря, проблемные зоны, так как все ресурсы, которыми располагали соответствующие фрагменты, направлялись в обмен на товары и деньги, т.е. на выживание.

К концу века надежды на то, что всемогущий рынок своей невидимой рукой решит все проблемы, остались, наверное, только у эмигрантов,

романтиков строительства капитализма в России. Для решения текущих задач необходимо было восстановить ресурсные потоки к фрагментам государственного устройства. И невидимая рука ресурсной организации государства начала «наводить порядок», восстанавливая систему мобилизации ресурсов и их распределения.

Виды ресурсов в современном ресурсном государстве

Наведение порядка началось в 1995–1997 годах с выстраивания финансовой системы как ресурсной. Усилиями «молодых реформаторов» главным ресурсом постперестроичного государства стали деньги, которые сейчас накапливаются, их распределение планируется, выделение фондируется, а контроль за денежной массой сейчас такой же жесткий, как контроль за стратегическими ресурсами при советской власти. Рубли бюджетополучателям распределяются вовсе не как капиталистические, настоящие деньги, а безвозвратно, как ресурс.

Распределенные деньги надо осваивать. Неосвоение денег свидетельствует о плохой работе ресурсополучателя. Административная торговля при распределении денежных ресурсов между бюджетами разных уровней и между министерствами и ведомствами уже приобрела вполне легальную форму формирования и утверждения бюджета в представительских органах власти.

Настоящими деньгами рубли становятся только при «пересечении границ», в первую очередь после конвертации в «условную единицу», которая по сути безусловна, в отличие от рубля. Цена «деревянного» зависит от многочисленных внутренних границ, установленных государством и корпорациями, поэтому рубли невозможно инвестировать, не конвертируя их, хотя бы виртуально, в «у.е.». Бизнес в нашей стране во многом организован как конвертация финансовых ресурсов, полученных из бюджетов различных уровней, в «у.е.», с последующим вложением во что-нибудь – безразлично во что, хоть в футбольную команду – за рубежом.

Другой ресурс – природное сырье, особенно энергетическое. Переход на нефти, газа, леса, рыбы и металлов из статуса государственных ресурсов под юрисдикцию корпораций и частных лиц составил содержание процессов приватизации. Это легализованное залоговыми аукционами расхищение сырья обеспечило ресурсами «новых русских». Обратный процесс – конвертация ранее расхищенного в государственные ресурсы – составляет содержание современного этапа развития нашего государства.

Распоряжение ресурсами сейчас постепенно концентрируется в корпорациях, контролируемых государством. Политика этих субъектов новых социалистических процессов выстраивается, исходя уже не из интересов мифического бизнеса, а из интересов представителей государства – членов правлений и советов директоров корпораций.

Сейчас ресурсное обращение, в отличие от начала 90-х годов, подвержено разным формам государственного и корпоративного регулирования (через тарифы, пошлины, границы между регионами и отраслями, внутри корпораций – через институты внутренних цен и другие инструменты). В то же время попытки прямого государственного распределения энергетических ресурсов и «продуктов питания первой необходимости» пока еще не были удачными. Это естественно, системе еще далеко до советского прототипа, хотя в целом жизнь налаживается, пенсии и зарплаты бюджетникам выплачиваются вовремя.

Существенным отличием современной ресурсной организации государства от советской стало то, что конвертируемым ресурсом сталственный статус. Распределение статусов в системе государственного устройства (в отличие от СССР, где была громоздкая, но эффективная система номенклатуры и кадрового резерва) – самый, наверное, высокодоходный ресурсный бизнес. Другие ресурсы, в том числе и деньги, без статуса мало что значат. Должности государственной службы, а также должности в региональных и местных органах власти, политических партиях и организациях, представительских органах власти являются самым выгодным вложением ресурсов, сформированных при их расхищении-приватизации и потому подверженных «политическим рискам».

Количество богатых людей в органах власти, как и количество людей, ставших богатыми благодаря властному статусу, демонстрирует осознание активной частью населения того, что не подкрепленное статусом богатство столь же виртуально, как и рубли. Именно государственный статус – должность – дает доступ к распоряжению другими ресурсами, т.е. к участию в собственно государственной жизни.

Управление ресурсами сейчас является основной, политически наиболее приемлемой и перспективной для постсоветской России формой организации социальной жизни. Оно базируется на новых, постсоалистических ресурсах: деньгах, сырье и властных статусах.

Набирает силу тенденция придания статуса ресурсов все новым видам товаров. Идет скрытое соревнование между фрагментами постсоалистического мироустройства за формирование собственной ресурсной базы. При этом ресурсами становятся даже зерно, мясо и продукция местной промышленности. Их вывоз за пределы границ некоторых регионов жестко регулируется уже сейчас. Фрагменты государства разграничиваются, и само это разграничение служит делу соалистического строительства. Государство постепенно вводит границы, сужая зону свободного обращения товаров и денег. Недавние восстановление пограничных зон и запрет для высших должностных лиц иметь двойное гражданство тому примеры...

Самоуправление ресурсами: перераспределение и расхищение

Как уже было сказано, государственная машина СССР работала, особенно вне периодов полной мобилизации, не совсем так, как хотели бы ее идеологи. Прежде всего потому, что фрагменты ресурсного государства, когда интенсивность репрессий ослабевает, начинают формулировать собственные цели, лишь частично совпадающие с общегосударственными. И эти цели заключаются в распоряжении ресурсами, не суть важно какими.

Регионы, например, стремились получить более высокий статус в системе административно-территориального устройства, чтобы иметь в своем распоряжении такие же по объему ресурсы, какие есть у более значимых регионов, отрасли – увеличить свою долю ресурсов, получаемых в госплановских распределителях. Чиновники стремились нарастить административный ресурс. Простые граждане стремились увеличивать текущее потребление и/или делали запасы (соль, сахар, мыло, спички, консервы, в простейшем случае) на случай очередной чрезвычайной ситуации, которая у каждого поколения была своя – от голода и войны до тюрьмы и сумы.

Перераспределительные отношения в конечном счете превращают планирование, фондирование и контроль за распределением ресурсов в пустую форму, обеспечивающую тем не менее чиновников фондами для их нецелевого (не совпадающего с официальными планами) использования. Именно нецелевое использование ресурсов становится в определенные периоды жизни ресурсного государства основной целью его служащих. Причем важно, что институтом перераспределения выступает тот самый аппарат государства, который и должен обеспечивать распределение ресурсов для реализации великой идеи...

Административный рынок – это прежде всего институт перераспределения ресурсов для их нецелевого использования. Такая система отношений между статусами не создается государством, но возникает спонтанно при взаимодействии структурных элементов государства для решения задач перераспределения ресурсов. Само по себе перераспределение ресурсов есть торговля между чиновниками, имеющими политический и административный ресурсы и соразмеряющими их при дележке всего и вся.

Во времена стабильности административный рынок организован очень жестко. Административная валюта унифицирована, а административная торговля ограничена априорно заданными условиями ее обращения, т.е. директивными указаниями по организации потоков ресурсов. Результаты дележа ресурсов обычно пропорциональны административному весу, т.е. положению договаривающихся в системе административно-рыночных статусов – государственных в эпохи стабильности, силовых – в эпохи депрессий-перестроек. Тот, у кого политический и административ-

ный ресурс больше, получает пропорционально большую часть иных ресурсов, в том числе и материальных. В ходе торговли административный вес чиновников меняется, административный ресурс накапливается/расходуется, административно-рыночный статус агента административного рынка увеличивается/уменьшается.

Стремление к увеличению административного ресурса и сохранению или повышению административно-рыночного статуса является основным инстинктом агентов административного рынка. Статус определяет количество ресурсов, которые может перераспределять его обладатель, в том числе и ресурсов для личного потребления, таких как непосредственный (не опосредованный деньгами) доступ к потребительским благам в виде продуктов питания, государственных дач и качественного медицинского обслуживания...

Во времена депрессий высшие согласовательные органы власти вырождаются, так как общегосударственные цели теряют свою мобилизующую и оправдывающую жертвы силу. Власть при перераспределении ресурсов, как это произошло в 90-е годы, переходит на низшие уровни согласования, иногда в «терки» и «стрелки», где цели формулируются вполне «конкретно» всеми заинтересованными группировками, а мобилизация и перераспределение обеспечиваются физической силой.

Можно сказать, что административный рынок есть форма организации внутреннего пространства ресурсного государства. Вне таких государств административный рынок существует только в областях, где государство накапливает и распределяет ресурсы с нерыночными целями. Как только появляется внерыночное распределение ресурсов, так возникает административный рынок как институт их перераспределения.

В принципе социалистические ресурсы можно превратить в товары и деньги очень просто: если их расхищать-красить, запасать вне нормативов для обмена или продажи, отчуждать силой, брать гоп-стопом. В политэкономическом смысле расхищение ресурсов является нелегитимным способом перераспределения ресурсов, обеспечивающим их личное или групповое потребление. В стабильные времена, когда государство процветает, расхитители латентны, повсеместны, но разрознены. Тем не менее государство борется с ними... После того как консолидирующая идея теряет мобилизующую силу, расхитители начинают собственное, внеслужебное по отношению к великой цели существование...

Расхитители ресурсов различаются по способу их отчуждения у государства. Есть расхитители – воры, распространенные в популяциях работников отраслей народного хозяйства. Есть расхитители, специализирующиеся на гоп-стопе, – бандиты, чаще всего они родом из силовых структур. И есть расхитители – удельные князья, специализирующиеся на

присвоении номинально государственных ресурсов за счет их прикарманивания, утаивания от государства.

Термины удельные князья – помещики, воры и бандиты – не несут в себе оценочного смысла. Эти определения не более чем констатация того, что люди с соответствующими менталитетом и способами действий – главные актеры нашей российской драмы в эпохи депрессий. Воровство по-российски – это вовсе не залезть в карман в трамвае. Это прежде всего образ мыслей и картина мира, и лишь потом способ деятельности. Ресурсы должны быть уведены: у государства или в пользу государства. Все, что плохо лежит, надо украсть, и не суть важно, можно ли украденное пристроить.

Аппетит расхитителей, прихватывающих сейчас ресурсы, которые они явно не смогут освоить, показывает, что к экономике и политике такая активность имеет опосредованное отношение. Это инстинкт воровства, который в эпохи депрессии выходит на поверхность у деятелей административного рынка воровского типа. Функции бандитов вовсе не в том, чтобы гол-стопнуть прохожего. Прежде всего, это способ мышления по понятиям социальной справедливости, основанный на жесткой социальной стратификации на лохов и пацанов, пролетариев и буржуев, как бы их ни называли в разные времена. И лишь потом – действия по силовому перераспределению ценностей в пользу правильных пацанов, пролетариев или социально близких. Причем таким образом, чтобы соответствовать специфическим понятиям социальной справедливости.

Нынешние силовики не очень отличаются по своей психологии от революционных матросов, бравших на гол-стоп имущество зажиточных граждан Российской империи. Мифиозность удельных княжеств не в том, что в них действует омерта, а в том, что местные противопоставляются не местным, которые отторгаются. Удельные князья живут с ресурсами, который есть на контролируемой ими территории. Эти ресурсы они стараются оставить в своем распоряжении и приумножить, завышая нормативные потребности, играя с тарифами и коэффициентами конверсии ресурсов в товары и деньги, организуя левые потоки и пр. Причем в роли ресурса могут выступать любые изделия, производимые на предприятиях любой отрасли на этой территории.

Эти отношения, которые так и хочется назвать криминальными, таковыми по сути не являются. Это не нарушение законов, скорее это применение порядка управления ресурсами в областях, которые само государство не включило в порядок управления или вывело из этого порядка.

Расхитители в периоды процветания государства скрыты в культуре, замаскированы в государстве. Однако при ослаблении государства ранее адекватные функционеры начинают воровать и торговать краденым, гол-стопничать так, как будто всю предыдущую жизнь они готовились к это-

му. Ведь никакой иной функции, кроме как концентрация и распределение ресурсов, они выполнять не могут по определению. Эти группы как целое и члены групп как индивиды бесцельно и безыдейно начинают растиаскивать государственные ресурсы и накапливать свои – как только появляется такая возможность. Отчуждение ресурсов у государства становится для них самоцелью.

В стабильные времена, когда государство обеспечивает граждан положенной им по критериям социальной справедливости пайкой, а вместо политики есть унизительные ритуалы, существование базовых криминальных отношений проявляется прежде всего в культуре. Издавна в стране сложились три культуры: удельно-княжеская, воровски-купеческая и аристократически-бандитская.

Петр Первый так и величал купцов ворами. Купцы-воры бывают разных категорий-гильдий. Есть местечковые воры, а есть воры федерального масштаба. Воры – народ компанейский, платят налоги и взятки, причем налоги для них – форма отката, а государственный бюджет – форма общака. Да и в себя вкладывают – жизнь вокруг обустраивают, – чтобы дома были опрятные и украшенные, улицы чистые, питейные заведения приличные. Гуляют воры шумно, любят красиво выпить и закусить с размахом. Их песенная культура – шансон и бардовская патриотическая лирика. Издавна повелось, что центральные воры селились в Москве – воровской столице России.

Другая культура – бандитская, гоп-стопная, дворянско-аристократичная. Бандиты так же стратифицированы, как и воры. Низшие страты бандитов берут за охрану ларьков и пилят поселковые бюджеты. Высшим стратам бандитов откатывается из региональных и федерального бюджетов – за защиту государства и его интересов. Бандиты, в отличие от воров, озабочены судьбами страны, ее величием, культурой, военным превосходством. Налоги они не платят, общака не держат, госбюджет для них – прежде всего карман, из которого надо брать на обеспечение процветания страны и их организованных шаек. И гуляют они по-своему...

Удельно-княжеские субкультуры уникальны как совокупность потребительских институтов. Каждый удельный князь имеет что-то свое: баньку, рыбалку, охоту, особую водку. Кроме того, он достает всеми доступными способами заморские продукты и товары, которые выставляются на стол (в широком смысле) перед статусными гостями. Сочетание своего и импортированного и составляет уникальность каждого удельного княжества. Вокруг удельного князя формируется особая среда из местных деятелей культуры, искусства, науки и образования, которая востребуется расхитителями ресурсов во времена, когда возникает необходимость в идеологическом обосновании расхищения.

Расхитители ресурсов обычно связаны между собой. Во времена процветания государства вертикальные межуровневые связи возникают в обычном состоянии только между разнотипными «специалистами» по расширению ресурсов. Воры одного, областного, например, уровня были связаны «снизу» с удельными князьями районного масштаба, а «сверху» их прикрывали силовики республиканского и союзного уровня.

КПСС очень строго следила за тем, чтобы не формировались межуровневые группировки, состоящие из одних воров, одних бандитов-силовиков или – не дай бог – из удельных князей – партийных и советских бонз. Чем последние опасны, показал опыт Беловежских соглашений. Многие советские политические процессы были основаны на доказанных эпизодах формирования подобных межуровневых группировок. Нестабильные времена в значительной степени таковы, что при них возникают связи между одноименными расхитителями разных уровней, т.е. формируются «преступные сообщества». Межуровневые образования, состоящие только из удельных князей, только из воров или только из бандитов, получают существенные конкурентные преимущества при распиле ресурсов. «Организованная преступность» – это союзы между разноуровневыми расхитителями государственных ресурсов.

В периоды депрессий расхитители ресурсов, ранее знавшие свое место и кравшие по чину, переходят к масштабной конвертации ресурсов в товары и деньги. Руководители регионов и региональные элиты (удельные князья) прикарманивают ресурсы, отраслевики «крысят» и «щучат», в зависимости от ситуации. Силовики поначалу «свинячат» (по принципу: «сам не гам и другому не дам»), а потом переходят к обычному гоп-стопу, мотивируя свои действия тем, что ограбить вора вовсе не западло. Следствием этого становится рост преступности, так как новые распорядители ресурсов гораздо более жестко, чем государство, преследуют за нарушение порядка их использования.

Мифологема социальной стабильности как форма легитимации расхищения ресурсов

Расхитители становятся главными героями эпох депрессий, растаскивая государственные ресурсы в свои личные или корпоративные заначки. Они формируют уменьшенные подобия ресурсного государства – олигархаты, представляющие собой социалистическое государство в миниатюре, с его вертикалями и горизонтальными властями, потоками ресурсов и со своими расхитителями: внутрикорпоративными ворами, бандитами и удельными князьями.

Олигархаты формируются по отраслевому и региональному принципу, наследуя советской структуре организации управления ресурсными

потоками. Хорошо известны нефтегазовые, металлургические и химические олигархаты федерального масштаба. Субъекты Федерации после изменения процедуры выборов губернаторов постепенно превращаются в региональные олигархаты. Практически в каждом административном районе и каждом городе есть свои олигархи, без санкции которых невозможно распределение ресурсов.

Однако есть неразрешимое противоречие между формами распоряжения ресурсами и складывающейся практикой огосударствления ресурсопользования. Обладающие финансовыми ресурсами властные и распоряжающиеся сырьем граждане понимают, что если концентрация ресурсов государством продолжится, то они неизбежно подпадут под социалистические регулирующие мероприятия, чистки и репрессии. Прежде всего потому, что их богатство сформировано на основе похищенных у государства ресурсов.

Вопрос о том, как оставаться богатыми и сохранить свободу, служит предметом бесконечных дискуссий внутри элиты нашего общества. Богатые всевозможными способами пытаются конвертировать часть своего богатства во властные статусы в надежде на то, что принадлежность к новой номенклатуре или членство в очередной «партии власти» защитит их от неизбежных репрессий. Но опыт показывает, что трансформировать уворованные ресурсы в собственность и капитал весьма непросто.

Вложения в отечественные землю и недвижимость уже не гарантируют сохранности ранее уведенных у государства ресурсов и не дают возможности для конверсии их в реальные капиталы. Активная часть населения осознала, что любое частное распоряжение ресурсами в нашем государстве эфемерно. Люди всеми способами выводят собранное в эпоху приватизации за границы государства. Как говорят, нет предпринимателя с капиталом более 10 миллионов «ку.е.», который бы не обзавелся иностранным гражданством и недвижимостью за рубежом.

Экспорт ресурсов, конвертированных в товары и деньги, из сел в города, из городов в столицы, из столиц за границы стал постоянным занятием социалистических предпринимателей. Перемещения присвоенных ресурсов, по мнению агентов этих процессов, уменьшают риски, связанные с возможностью новой их мобилизации государством.

Озабочены не только богатые и властные. Расхищенное у государства за 15 лет трансформировалось в ресурсы десятков миллионов людей, которые не намерены их отдавать обратно. И попытки «наведения порядка» в этой нише вызовут неизбежное сопротивление. Многим людям есть что терять. «Кулацкие восстания» начала 20-х годов показывают, что бывает в таких случаях.

Власть озабочена тем, чтобы обеспечить преемственность в распоряжении ресурсами. Отсутствие преемственности чревато для тех, кто «в

процессе», известными всем рисками, в том числе потерей богатства и статуса. Власть стремится удерживать «социальную стабильность», т.е. зафиксировать и легализовать финансовые ресурсы, распоряжение сырьем и принадлежность кластной группе за теми функционерами государства, которые «заслуживают доверия»...

Возможно, уже близко время, когда государство скажет, что все на-житое, не суть важно каким путем, остается у владельца, но впредь распределение ресурсов будет осуществляться справедливо, т.е. так, как сочтет нужным государство. Для этого нужна идеологическая оболочка, позволившая бы социально близким людям легализовать их право распоряжаться присвоенными ресурсами и в то же время ввести основания для мобилизации ресурсов, которыми сейчас распоряжаются социально не близкие граждане.

Мировая экономика и ресурсная организация государства

В ходе депрессии, одним из этапов которой был распад СССР, в России сформировалась особая реальность, опосредующая отношения между ресурсной организацией государства, оставшейся в наследство от СССР, и мировой экономикой. Внешние наблюдатели не без оснований считают Россию страной с рыночной экономикой. И эта точка зрения отражает реальность – с точностью до конкретных инвестиционных действий, когда инвесторы сталкиваются с ресурсными стереотипами управления, административным рынком, сохранившимся распределительными механизмами социальной справедливости.

Упорядочение использования ресурсов в постсоветских государствах при желании можно сравнивать с процессами выхода из экономических депрессий в обычной экономике. Сходство позволяет наблюдателям с реформистским умонастроением говорить применительно к российской реальности о темпах экономического роста, ВВП и прочих экономических индикаторах. Однако похожесть остается похожестью. Нынешнее восстановление народного хозяйства вряд ли имеет полные аналоги в обычных экономиках.

Подъем в ресурсной организации государственной жизни происходит в основном потому, что государство начало концентрировать ресурсы и планировать их распределение, а вовсе не благодаря мифической рыночной экономике. Не случайно внешние инвестиции в страну сейчас принимают формы, аналогичные тем, которые использовались в конце 20-х годов XX века, – импорт производств, технологий, идей по организации производства. Тогда СССР переживал подъем после масштабной депрессии ресурсной организации государства, приведшей, в частности, к распаду Российской империи. Похожий подъем сейчас происходит в России.

Известно, чему предшествовал «экономический рост» в СССР в конце 20-х годов: 30-м годам с их коллективизацией, индустриализацией и репрессиями.

По большому счету, российский капитализм существует только в той ячейке ресурсного государства, в которой «у.е.» и рубль конвертируются без ограничений. Эта ячейка пока велика, хотя и уменьшается, что вызывает озабоченность прогрессивных экономистов. Некоторые романтические политики намерены расширить зону капитализма и сделать рубль полностью конвертируемым, что прямо противоречит другим декларируемым задачам ресурсного государства. Если власть будет последовательна в упорядочении ресурсных потоков, то область свободной конвертации рубля в у.е. должна быть сужена до весьма ограниченных пределов.

Устройство корпоративных систем управления все больше приближается к устройству государственных организаций. По видимости капиталистические, производства самоорганизуются скорее как социалистические предприятия, чем традиционные бизнес-единицы. Самы отечественные «капиталисты» превратились в ресурсопользователей на доверии у государства и «руководителей главков» возрождающихся отраслей народного хозяйства России. Те из них, кто не оправдывает высокого доверия, жестоко расплачиваются. Государственное рейдерство стало основным способом ревизии результатов приватизации и во многом эквивалентно выборочным репрессиям.

В стране восстанавливается ресурсная организация государства – вопреки общераспространенному мнению о развитии рыночной экономики и практике отечественного бизнеса, никак не способного принять тот факт, что «поляна сужается». Бизнес пока не хочет верить очевидному. Он не намерен, несмотря на уже всем известные риски, отказываться от нормы в 80% годовых при конвертации государственных ресурсов в товары и деньги. Он пытается сохраниться или приспособиться, вписываясь в государственное ресурсоустройство, инициируя все новые и новые «либеральные законы» и продавливая формирование особых зон (экономических, рекреационных, технопарков, научных центров и пр.), в которых государственные ресурсные интенции смягчены или нейтрализованы. Однако успех таких попыток маловероятен.

Застой и депрессии как фазы государственной жизни

Аналитически можно выделить такую последовательность фаз государственной жизни: 1) сильное государство – застой, 2) оттепель, перестройка, смута, распад государства, 3) восстановление народного хозяйства, 4) сильное государство.

Эти фазы в ресурсном отношении принципиально различаются. При застоях накопление ресурсов, их импорт и экспорт, а также распределение среди граждан монополизированы государством. Государство само определяет, кто, сколько и какие ресурсы имеет, как и где их хранит, как использует-потребляет. Материальные потоки полностью регулируются государством. Всякое внегосударственное движение ресурсов или обладание ими является противозаконным.

Государство при этом все усилия направляет на достижение какой-либо цели: победы в войне с идеологическим противником, строительства социализма, создания атомного или ракетного оружия и пр. Административный рынок унифицирован, пронизывает все отношения между элементами государственного устройства и людьми, компенсируя неизбежные просчеты планирования и распределения ресурсов. Перераспределение ресурсов общепринято, репрессии по отношению к тем, кто использует ресурсы нецелевым образом, мягки.

Периоды стабильности характеризуются также слитностью экономики с политикой и жестким ограничением политической самодеятельности населения. Расхитители ресурсов либо включены в административно-рыночные отношения (заняв позиции в торговле, распределении и разного рода силовых структурах), либо вытеснены на обочину жизни. Потенциальные удельные князья (в разные времена – главы администраций, губернаторы, секретари парткомитетов) знают свое место в административной иерархии и предпочитают не рыпаться – себе дороже.

Это не означает, что удельно-княжеская, воровская или бандитская суть не проявляется. Болтовня о самоопределении и этнокультурной специфике регионов, нецелевое расходование бюджетных средств и административные гоп-стопы составляют теневое содержание жизни и регионов, и столиц даже в стабильные времена.

Доступ к ресурсам у граждан возможен только сообразно их государственному статусу и нормативным, присвоенным к статусу потребностям. Распределение ресурсов по социальным группам централизовано. Сами социальные группы описаны в терминах места в социальной системе, учета и контроля. Есть полновластные органы распределения ресурсных потоков. Все элементы народно-хозяйственного устройства, в том числе и люди, определены в терминах социального учета и ранжированы в порядке важности для достижения великой государственной цели. Руководители важнее, чем подчиненные, инженеры важнее рабочих, военные важнее гражданских чиновников.

В зависимости от важности члены групп обеспечиваются пайком, получают допуск к распределителям и прочим жизненным благам. Потребности сведены до нормативного минимума, выход за пределы нормативного потребления карается. Расхитители ресурсов вытеснены на пери-

периферию социалистической жизни, перераспределение ресурсов в быту ограничивается обменом утаенными или крадеными мелочами. Дефициты пропагандируются как жертвы, необходимые для достижения великой цели.

В следующей фазе, при депрессиях, наоборот: увеличиваются политические и экономические свободы, но расхитители ресурсов при этом захватывают существенную часть социального пространства. Мобилизующий потенциал основной идеи уходит в никуда, сама идея становится темой политических анекдотов, государственная машина начинает работать в значительной степени бесцельно. Унитарность государства ослабевает, усиливается роль регионов, которые фронтируют и зажимают ресурсы.

Роль государственного регулирования ресурсной политики уменьшается, дефициты воспринимаются населением как следствие плохой работы отдельных чиновников или государства в целом. Потребности людей выходят за пределы нормативных, определенных статусами, им хочется получать больше ресурсов. И они получают их, «нарушая порядок управления» и «противоправными методами», так как в рамках ресурсной организации государственной жизни легальных способов присвоения ресурсов нет. Начинается расхищение ресурсов. От времен стабильности остаются одни воспоминания о том, что «при Сталине был порядок»...

Если смутные времена не обрываются репрессиями, то депрессия усугубляется, государство фактически растворяется в отношениях между формально определенными статусами, которые остаются статусами только потому, что включены в административные рынки времен распада государственности, на которых происходит обмен ресурсами – бартер. Регионы отвязываются, унитарное государство по факту превращается в федерацию.

Граждане государства, в том числе и чиновники, уже не скрывают своих расхитительских амбиций, мотивируя их тем, что они снимают оструту всеобщего дефицита. В стране возникают условия для капитализации ресурсов, превращения их в экономические реальности, появляются деньги и товары, начинает складываться видимость рынка, возникают миражи бирж, банков, акционерного капитала, адаптированные к задачам расхищения ресурсов. Государство теряет монополию на репрессии.

Новые распорядители ресурсов вместе с ресурсами получают право на репрессии против тех, кто нарушает порядок их распределения и использования. Репрессии приобретают форму отстрела нарушителей порядка управления ресурсами. Жизнь наполняется приключениями, вплоть до распада государства. Таковых было в течение XX века два. Оба раза государство – с большими издержками – вновь собиралось, ставило удельных князей на место, вытесняло одних расхитителей на социальную периферию, а других втягивало в себя, обеспечивая соответствующий статус. Ведь неизбежно в эпохи перемен наступает момент, когда ворам нечест

го красть, бандитам некого грабить, а в удельных княжествах возникли свои сепаратисты и автономисты...

Совместными усилиями расхитителей и их пособников из числа удельно-княжеской интеллигенции создается иллюзия политической жизни и «настоящей рыночной экономики». Эти мухлевки необходимы прежде всего для того, чтобы конвертировать расхищенные ресурсы в товары и деньги. Кроме того, существование квазирынка дает возможность расхитителям выйти из игры, т.е. обосноваться за пределами государства. При этом удельные князья растаскивают страну на части. Распад выгоден, так как при нем возникает огромное количество бесхозных ресурсов.

В следующей фазе, когда невозможность мобилизации ресурсов оказывается критической, наступает период восстановления народного хозяйства. Сохранившийся госаппарат, уже в значительной степени лишенный возможности распоряжаться ресурсами, вынужден вступать в компромиссы с некоторыми расхитителями ресурсов против других, чтобы получить возможность отмобилизовать ресурсы для локализации чрезвычайной ситуации...

Цена такого рода компромиссов всегда одна: ликвидация возрождающимися силовыми структурами государства одних расхитителей в пользу других и перераспределение ресурсов в пользу ситуативных союзников. Подобным образом преодолеваются автономистские и сепаратистские тенденции. Государство монополизирует право на репрессии и становится снова унитарным, как это произошло в 2000–2005 годах.

Государство при этом ведет поиск масштабной идеи-цели, которая бы позволила вновь вернуться к консолидированному состоянию, когда все ресурсы подконтрольны, расхитители ресурсов, получив государственный статус, ликвидированы как класс. Государство – пока идет поиск идеи – приступает к переделу собственности и частичной национализации, в ходе которой ресурсы наиболее ушлых людей превращаются из товаров и денег в ресурсы других людей. Перераспределение мотивируется тем, что у новых собственников ресурсов более государственническое мышление, чем у прежних.

Расхитители ресурсов получают в принципе ограниченную временем возможность конвертации накопленных ресурсов в статус в новой, еще только становящейся системе отношений управления ресурсами. Некоторые, самые умные успевают такой возможностью воспользоваться, другие попадают в жернова самовосстанавливающейся репрессивной системы. На этом цикл завершается, вновь возникает сильное государство, начинается очередной застой.

* * *

С.Г. Кордонский

Сегодня можно сказать, что путь построения капитализма, начатый в 90-е годы XX века кандидатами наук – специалистами по политэкономии социализма, привел в тупик, к новому социализму. Страна, пережив депрессию – перестройку, вступила в начале XXI века в фазу ресурсного роста и начала новый этап специфически российского социалистического строительства. Как и в советские времена, социальная стабильность ресурсного государства основана на стремлении к справедливому распределению ресурсов. Однако новые критерии справедливости не выработаны и не признаны нашим обществом, так что любой результат распределения ресурсов представляется населению несправедливым и генерирует социальную напряженность.

Кроме того, как показывает советский опыт, каждый распределяемый ресурс с высокой вероятностью может стать дефицитным. Дефицит денег как ресурса может перерасти в потерю контроля за инфляцией. Дефицит сырья как ресурса может стать из потенциального актуальным, если взятые государством экспортные и внутренние обязательства по энергетическому сырью не будут подкреплены ростом добычи и приростом запасов. И, наконец, статусность как ресурс может стать дефицитной в силу общего кризиса системы власти.

Каждый из этих кризисов дефицита в отдельности вряд ли представляет серьезную опасность для ресурсного государства в целом. Государство, в очередной раз ограбив население, преодолеет инфляцию и обеспечит, мобилизуя репрессиями «трудовые ресурсы», необходимый уровень добычи сырья.

Государство сможет, если дефицит денег и сырья не выйдет за некие рамки, стабилизировать систему власти и сохранить определенностьластных статусов даже в отсутствие государственной идеологии и при неизбежной неопределенности в процессе передачи власти в ходе выборов. Однако если дефициты синхронизируются и кризис власти совпадет по времени с сырьевым и финансовым кризисами, то можно ждать обрушения ресурсного государства, сравнимого с тем, что произошло с СССР в 1991 году. Очередной цикл нашей истории тогда завершится. Или начнется...

В.Б. ПАСТУХОВ

ПРЕДЧУВСТВИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ. ОТ «НОМЕНКЛАТУРЫ» К «КЛЕПТОКЛАТУРЕ»: ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ «ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВА» В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ¹

*Во времена боярские, в порядки древнерусские
Переносился дух! Ни в ком противоречия.
Кого хочу – помилую, кого хочу – казню.
Закон – мое желание! Кулак – моя полиция!*

Николай Некрасов

Двадцать лет – немалый срок. За двадцать лет Россия когда-то прошла путь от революции до террора через Гражданскую войну, военный коммунизм, НЭП, индустриализацию и коллективизацию. В следующие двадцать лет уложились террор, война и начало оттепели. Так что в декабре 2011 г. у посткоммунистической России вроде должен возникнуть серьезный повод оглянуться назад. А общее ощущение такое, что смотреть не на что: будто ничего не поменялось. Но это не так – Россия движется даже тогда, когда всем кажется, что она стоит на месте.

Вообще, Россия отмечает «юбилейную» дату на полтора года позже, чем должна была бы. Дело в том, что «юридическая» смерть Советского Союза по времени не совпадает с его «политической» смертью. Политически он перестал существовать значительно раньше, чем принято считать. В августе 1991 г. СССР был уже скорее мертв, чем жив. Поэтому и сам путч, и героическая борьба с путчистами больше походили на театрализованное действие, чем на настоящую революцию. Что такое СССР? Россия. Россия была до него и осталась после него. Вряд ли корректно поэтому говорить о «разрушении СССР», более правильно говорить о преодолении Россией своей «советской» формы бытия. Нет ничего удивительного в том, что она была преодолена, ибо все в этом мире преходяще. Удиви-

¹ Печатается по: Пастухов В.Б. Предчувствие гражданской войны: От «номенклатуры» к «клептоклатуре»: Взлет и падение «внутреннего государства» в современной России // ПОЛИС. – М., 2011. – № 6 – С. 143–159.

тельно то, что на этом месте не возникло никакой новой полноценной государственности.

Действительно, впечатляет на самом деле не столько гибель старого, сколько отсутствие нового, готового заменить собою отжившее старое. Двадцать лет спустя кажется, что вместе с СССР в России скончалось государство вообще, будто и сама Россия кончилась. Главный вопрос, на который предстоит сегодня ответить, состоит не в том, почему Советского Союза не стало, а в том, почему после этого не запустился исторический движок новой российской государственности?

Дуализм русской власти

Если судить только по внешним признакам, то Россия является классическим примером того, что во всем мире принято называть failed state. Термин failed state трудно адекватно перевести на русский язык. Но в целом понятно, о чем идет речь – о государстве с плохо работающими институтами, где право подменяется личными отношениями, где процветает коррупция и административный произвол. То есть, я бы сказал, речь идет о «несостоятельном государстве».

В то же время следует признать, что несостоятельность российской государственности не абсолютна, а относительна. Все зависит от того, с чем сравнивать. Россия является несостоятельным государством по отношению к современному государству западного типа и его позднейшим азиатским политическим «деривативам» (производным), таким как Япония, Сингапур и им подобные государственные образования. На фоне других государств Россия смотрится неплохо. Если, например, сравнивать Россию со средневековым государством, вроде Флоренции при Медичи или Англии при Ричарде III, то по отношению к ним она будет казаться вполне состоятельным и современным государством. Точно так же, если сравнивать Россию с любой среднестатистической страной Третьего мира из Африки, Азии или Латинской Америки, то она ни на йоту не уступит им по уровню эффективности своих государственных институтов.

Таким образом, российская государственность является несостоятельной только по отношению к «политическому государству», появившемуся на свет в эпоху Нового времени. В самой общей форме только «политическое государство» в современном мире – состоятельно, а все «дополитические государства» оказываются несостоятельными.

Главной отличительной чертой «политического государства» является то, что оно целиком и полностью «обернуто» вокруг идеи права. Поэтому и отличие несостоятельной государственности от состоятельной состоит главным образом в той роли, которую играет в жизни общества

право, и в том отношении, которое складывается в обществе по поводу права.

В «политическом государстве» право играет *сакральную* роль. Это не только и не столько система социальных норм, сколько своего рода «культ». Право в таком государстве (иначе называемом конституционным) имеет двойственную природу: социального регулятора поведения и идеологического фантома, вокруг которого выстроено политическое сознание.

Право как культ, как часть идеологии западного мира – иррационально. Это объект поклонения и веры современного западного человека в такой же степени, как предмет для анализа. Законопослушность стала частью его политического подсознания. Европейцы и американцы исторически «запрограммированы» на следование букве и духу законов. Внушенный им бессознательный пиетет по отношению к закону имеет большее значение, чем осознанная необходимость его исполнения или страх перед неотвратимым наказанием.

С моей точки зрения, инквизиция внесла не меньший вклад в формирование современного европейского правосознания, чем христианская трудовая этика, воспетая Вебером. Именно иррациональное усвоение (поглощение) общественным сознанием идеи права, ее «интериоризация» делают средневековое государство современным, превращают его из традиционного в политическое, из несостоятельного в состоятельный. Создание современного политического государства, выстроенного вокруг идеи права, является одним из величайших социальных изобретений человечества, имеющих универсальное применение, несмотря на то что эта новация возникла изначально в ареале европейской западнохристианской культуры. Культ права делает государство «регулярным», ставит людей в зависимость не друг от друга, а от созданных и охраняемых ими совместно правил.

Ценность современного политического государства состоит в том, что по сравнению с государством «дополитическим» оно способно обеспечивать *качественно новый темп прироста культуры*, как материальной, так и нематериальной. В этом смысле политическое, оно же правовое, или конституционное, государство обладает по отношению к «обычному», т.е. традиционному, средневековому государству, такими же преимуществами, какими автомобильный транспорт обладает перед гужевым.

Общества, сумевшие обзавестись современным политическим государством, в долгосрочной перспективе приобретают существенные конкурентные преимущества перед всеми другими обществами, обеспечивая себе невиданные до этого темпы роста. Подчеркну: речь сейчас идет не о демократии, а о создании государств, выстроенных вокруг права, культивирующих в себе «правовой позитивизм». Демократия во многих, но от-

нибудь не во всех случаях, является необходимым условием формирования таких государств. Но все же это разные вещи¹.

Само появление «государств нового типа» на свет обрекает все остальные, продолжающие существовать в рамках традиционной парадигмы государства на застой, автоматически превращает всех неприсоединившихся в несостоятельных.

Происходит это, однако, вовсе не потому, что «дополитические» государства стали хуже, чем были, а потому, что они уже не могут стать лучше, чем есть.

Обеспечиваемый традиционными государствами минимальный темп культурного прироста, ранее вполне достаточный, теперь, в новых условиях, когда они вынуждены конкурировать с современными государствами, обрекает их на зависимость от государств нового типа, способных двигаться вперед, т.е. наращивать культурный слой, иными, недостижимыми для «обычного» государства темпами. Эти государства обречены на вымиранье, как динозавры.

Даже если «дополитическому» государству удается выжить, в нем начинает происходить быстрое вымывание культурного слоя, что обрекает его на медленное умирание. Элита из таких стран постепенно «съезжает» туда, где ей может быть обеспечено более комфортное пребывание, а сами эти страны начинают рассматриваться всеми, в том числе и собственными гражданами, исключительно как ресурсная база.

Несостоятельные государства не имеют перспективы. При этом они могут существовать очень долго, смещааясь на периферию мировой политики, без малейших шансов продвинуться когда-нибудь в центр.

Дискуссию о судьбе России на этом можно было бы быстро закончить, уложив ее в прокрустово ложе концепции несостоятельного государства, если бы не одно «но».

Обладая в течение многих веков всеми известными свойствами несостоятельного государства, Россия отличалась при этом колossalной культурной производительностью, совершенно этим государствам не свойственной.

На протяжении многих веков России удавалось воспроизводить в себе обширный и плодотворный культурный класс, обладающий незаурядным творческим потенциалом. Достижения России как в области материальной, так и в области нематериальной культуры бесспорны. Сама ее способность удерживать под своим контролем огромные территории, непрерывно защищая их от агрессии, ее военные и дипломатические успехи,

¹ В России особенно часто приходится обращать внимание на несовпадение либерализма и демократии. Обычная путаница в этом вопросе приобретает на русской почве особо тяжелую форму. Тысячами нитей демократическая идея связана с либеральной, но тем не менее это не только не одно и то же, а принципиально разные явления.

достижения в области науки, техники и искусств, ее литература, музыка и живопись незаурядны, заслужили глубокое уважение во всем мире и не позволяют поставить Россию в один ряд с остальными несостоятельными государствами.

С моей точки зрения, Россия смогла сохранить суверенитет и не стать чьей-то обширной колонией только потому, что ей удавалось долгое время производить, воспроизводить и удерживать в своей орбите многочисленную и эффективную культурную элиту. Длительное существование этой элиты с алчной и неразвитой бюрократией внутри несостоятельного государства представляет собой одну из центральных загадок российской политической истории.

Эта выдающаяся культурная производительность в сочетании с совершенно нефункциональным государством – ненормальна. Это все равно, как если бы паровоз, где машинист бросает уголь в топку, начал бы двигаться по шпалам со скоростью японского монорельсового скоростного поезда.

Парадоксальная эффективность российской модели неэффективного государства, по всей видимости, обеспечивалась встроенным внутрь его компенсаторным механизмом. Слабость «регулярного» государства испокон веков возмешалась здесь силой «чрезвычайного» государства. Дело в том, что в России, как в современном авиалайнере, все жизненно важные механизмы дублируются. Поэтому типичные недостатки «внешней» власти в ней уравновешиваются особыми достоинствами власти «внутренней».

О взаимодействии «внешней» и «внутренней» власти в России как о сквозной черте российской государственности писали многие исследователи и, в первую очередь, Юрий Пивоваров. Но они видели в этом свойстве русской власти прежде всего роковой изъян, воспроизводящий себя на каждом новом витке исторического развития русской государственности.

На самом деле дуализм русской власти – это очень функциональный изъян. Только благодаря ему Россия состоялась исторически как «государство первого ряда».

Если бы внутренней власти не существовало, Россия в лучшем случае застряла бы в своих Средних веках, как это случилось с большинством несостоятельных государств мира. Специфическое русское «двоевластие» – порок только в глазах оптимистов, которые полагают, что единственной альтернативой современному русскому государству в истории было современное европейское политическое государство. Но есть еще и пессимисты, которые полагают, что альтернативой могло быть и государство африканского типа. Более того, эта «опция» всегда остается актуальной...

Матрешка – это не только любимая русская игрушка, но и символ российской государственности. На протяжении как минимум последних

полутысячи лет в России всегда существовало своего рода «государство в государстве» – невидимая внутренняя власть, на которой все и держалось.

Особенность русской внутренней власти состояла в том, что она имела такой же *институциональный* характер, как и власть внешняя. В этом отличие российской «внутренней власти» от всевозможных дворцовых партий, теневых кабинетов, кружков интриганов, которые существуют везде и всегда вокруг любой власти. Внутренняя власть в России – это система, действующая пусть по неписанным, но от этого не менее жестким правилам.

По сути, мы имеем дело с весьма специфическим случаем разделения властей: на власть внешнюю, регулярную, и внутреннюю, чрезвычайную. В этом разделении кроется секрет «конституционализма по-русски».

Одновременное существование двух параллельных государственных систем неизбежно приводило к конкуренции между ними. В этой конкуренции, видимо, и кроется секрет русской высокой культурной производительности. Развитие есть всегда там, где есть конкуренция, даже такая специфическая.

Россия сумела методом исторических проб и ошибок создать государство-дублер, которое тенью следовало за основным государством, дополняя и восполняя его. Но появился этот дублер не на пустом месте. Он возник благодаря обнаружившейся у России способности к созданию собственной идеологии. Россия относится к тем немногим обществам, которые смогли развить свою систему религиозных взглядов до уровня политической, государственной идеологии.

Корни идеологии западного либерализма, несомненно, уходят в западное христианство, а западное право, как это убедительно показал Гарольд Дж. Берман, является продуктом развития западной религиозной культуры.

Христианский эксперимент по внедрению морали в ткань политики и права, несмотря на все свои очевидные изъяны – формализм, недостаточность, противоречивость и так далее, завершился в западном мире грандиозным успехом. В конечном счете, несмотря на все неудачи, несмотря на бесконечную удаленность от идеала, здесь было создано мировоззрение, краеугольным камнем которого являются право и справедливость. Это не значит, что право и справедливость царят в западных обществах безраздельно. Это только значит, что здесь они признаются безусловной высшей ценностью большинством населения.

Казалось бы, русское православие было всегда очень далеко от той исторической миссии, которую исполнила западная церковь. Но, если приглядеться, то можно увидеть, что и Восточное христианство проделало в России определенную работу. Но сделало оно это по-своему.

Либеральному идеалу Запада была противопоставлена «русская идея», которая прошла сложный путь эволюции от почти еще целиком религиозного учения о «Москве – Третьем Риме» через политическое и философское обоснование «самодержавия» к народничеству и, в конечном счете, к большевизму.

Но если западный либерализм вращается вокруг идеи права, то русская мысль всегда была «зациклена» на идее власти.

В русском политическом сознании власть занимает то место иррационального начала всех начал, которое в западноевропейском политическом сознании занимает право. Власть, а не право носит в России сакральный характер. Русская власть – это не только и не столько социальный и политический институт, сколько мистическая сущность, своего рода «животворящая субстанция». Во все тяжкие времена русские люди обращают свои взоры на власть и у власти, как у божества, ждут ответов на все волнующие их вопросы.

Природа русской власти так же дуалистична, как дуалистична природа западноевропейского права. Власть в России – это, как и везде, социальный институт. Но кроме этого она еще и почти религиозный символ, идол, мистическое ядро всей русской жизни. В отличие от современного европейского государства русская власть «обернута» не вокруг права, а вокруг самой себя как идеи и культа.

Русский человек преклоняется не столько перед властью, сколько перед идеей власти. Отсюда и неистребимое, исторически «сквозное» русское самодержавие, когда власть выступает иррациональной причиной и иррациональным следствием самой себя, начальной и конечной точкой любого политического маршрута.

Именно поэтому правитель в России выступает в роли как высшего политического, так и высшего мистического авторитета. Он как бы и носитель власти, и ее источник одновременно. Благодаря двойственности своего статуса правитель в России обладает невиданной автономией по отношению к чиновничеству. Он не столько главный чиновник государства, сколько главный судья, посредник между чиновниками и народом. Дистанция между правителем и чиновничеством в России оказывается не меньшей, чем между чиновничеством и народом.

Подводя краткий промежуточный итог, можно сказать, что русский народ сумел развить свои религиозные убеждения в политическую философию, из которой позднее выросла идеология. Эта идеология сформировала иррациональный культ власти, имеющий для нее то же значение, что и культ права в западной либеральной идеологии. В результате в эпоху «модерна» русская власть выстроилась не вокруг права, а вокруг своего собственного культа. Произошло «удвоение» власти: она поделилась на «внешнюю» и «внутреннюю». При этом «внутренняя» власть частично

компенсировала несостоятельность «внешней» за счет того, что создавала весьма специфическую конкурентную среду.

Русское «внутреннее государство» – это государство-обруч, государство-надсмотрщик, государство-плетка. С его помощью русское «внешнее», несостоятельное государство вытаскивает себя из вечного застоя подобно Мюнхгаузену, вытаскивающему себя из болота за волосы. Но в то же время это и государство-помочи, государство-наседка, государство-выручалочка, при котором регулярному «внешнему» государству живется припеваючи: когда надо – подстрахует, когда надо – поправит. При такой «няньке» Россия всегда будет оставаться инфантильным государством-подростком с неокрепшими институтами и иждивенческими на-клонностями.

Упадок государства в постсоветской России

Взаимодействие «внутренней» и «внешней» власти не было статичным, модель отношений между ними постоянно менялась, пройдя несколько ступеней эволюции. В момент своего появления на свет система выглядела сюрреалистично, почти гротескно. В XVI в. царь Иван Грозный физически разделил страну на две части – «земщину» и «опричнину». Опричнина была первой грубой версией «внутренней» власти, которая в самом начале имела даже собственное автономное от «внешней» власти бытие. Русское государство в этот момент было похоже на двойную звезду, где оба светила движутся вокруг одной точки по весьма сложной и запутанной траектории.

Так очевидно «внешнее» и «внутреннее» государство сосуществовали недолго. Опричнина была не то чтобы упразднена, но выродилась в «двор», который постепенно влился (вытек) во внешнюю власть. Там он, однако, не растворился без остатка. «Внутреннее» государство не исчезло, а просто перестало быть заметным. Оно стало частью повседневной жизни Империи.

Русский Император всегда «стрелял с двух рук». Он управлял страной при помощи сложного и громоздкого механизма русской бюрократии, осененной Сводом законов Российской Империи. И в то же время он всегда имел под рукой бесчисленное количество неформальных инструментов влияния, действуя через всевозможные как тайные, так и открытые «чрезвычайные органы»: комиссии, комитеты, советы, которые имели куда больше полномочий, чем многие правительственные учреждения. Благодаря конкуренции этих двух механизмов Империя оказывалась способной принимать самые радикальные решения и инициировать реформы, очень похожие на «революции сверху».

Советская эпоха не только не устранила этот дуализм русской власти, но даже вывела его на качественно новый «институциональный» уровень, официально оформив «двойственность» российской государственности как партийно-советскую систему. Она стала органичным и логичным продолжением той линии, которая наметилась в доимперскую и имперскую эпохи. «Внешнее» и «внутреннее» государства снова разошлись, но уже не как изолированные друг от друга сущности, а как два аспекта, два уровня, две плоскости остающегося единым государственного организма.

Коммунистическая партия в СССР, реализуя функцию «внутренней» власти, выстроила в систему сплошного и вседесущего контроля за советским («внешним») государством, т.е. впервые стала тем, что сегодня стыдливо называют «вертикалью власти». Когда эта система окончательно сложилась, ее статус был закреплен юридически в «брежневской» Конституции при помощи знаменитой 6-й статьи, закреплявшей роль КПСС как «руководящей и направляющей политической силы». Сразу после этого обнаружилось, что вся система находится в глубочайшем кризисе.

Крах Империи начался, когда произошла девальвация самодержавия. Краху СССР начало положило вырождение идеологии коммунизма. Когда это случилось, вся система партийной («внутренней») власти обвихла и стала совершенно нефункциональной. Катализатор превратился в ингибитор: то, что раньше ускоряло движение, заставляя бюрократию шевелиться, теперь стало тормозом.

Партия очень быстро превратилась в неподвижную политическую колоду, которую изнутри пристегнули к и так не быстрой русской бюрократии. За считанных два десятилетия коммунистическая партия стала символом косности, цитаделью застоя и консерватизма. Она уже не столько компенсировала несостоятельность Русской власти, сколько ее усугубляла.

К середине 1980-х годов именно система партийной («внутренней») власти стала главным объектом критики (если не сказать ненависти) в самых широких слоях русского населения. В ней видели конечную причину всех русских бед, демонизировали ее историческую роль. В обстановке всеобщей враждебности компартия стала стремительно терять влияние. Но не в том была беда. Настоящая беда была в том, что внешняя власть к этому моменту давно выродилась и не была способна к какому бы то ни было самостоятельному, автономному от партии существованию.

Советская власть стала напоминать компьютер, в котором удалили программное обеспечение: внушающую издали страх, но при этом совершенно бесполезную груду железа. К этому моменту от русской государственности на деле оставалась одна внешняя оболочка. Но общество этого не понимало и усиливало давление на ненавистную ей, теряющую контроль за ситуацией партию.

Впервые вопрос об особой роли коммунистической партии в советской политической системе остро и масштабно встал весной 1989 г. во время выборов делегатов на Первый съезд народных депутатов СССР. С первых дней работы Съезда (май 1989 г.) вокруг политических и иных привилегий компартии развернулась настоящая битва. 4 февраля 1990 г. в Москве состоялась, по всей видимости, самая массовая организованная акция протesta за всю русскую историю – демонстрация за отмену пресловутой 6-й статьи Конституции.

Этот лозунг объединил практически все общественные силы. Духовным вдохновителем движения был академик Андрей Сахаров. В демонстрации приняло участие около 300 тыс. человек. Цифру эту хорошо бы запомнить как некий индикатор того, на что в принципе способно российское общественное движение при определенных условиях. Уже на следующий день состоялся Пленум ЦК КПСС, на котором Михаил Горбачев предложил ввести пост президента СССР с одновременной отменой ставшей вдруг ненавистной статьи Конституции.

Это была безоговорочная капитуляция – «внутренняя» власть прекратила свое существование. Неведомый доселе в советской России напор легального протesta лишил партию воли к сопротивлению. Она стала быстро разваливаться изнутри. По сути, уже тогда дело было сделано. Формально точка была поставлена 14 марта 1990 г., когда и был принят закон, которым учреждался пост президента СССР и провозглашалась многопартийность. Де-юре был положен конец монополии коммунистической партии. Де-факто был ликвидирован дуализм Русской власти, ведь никакой «партией» КПСС никогда в жизни не была.

Таким образом, период между 25 мая 1989 г. (день начала работы Первого съезда народных депутатов СССР) и 14 марта 1990 г. можно считать временем «четвертой русской революции», в ходе которой была уничтожена советская государственность и сломан хребет СССР. Именно 14 марта 1990 г. должно рассматриваться как дата политической смерти СССР.

Под этим углом зрения роль правозащитного движения в сокрушении СССР кажется более существенной, чем это принято сегодня считать и чем это ранее казалось мне самому. Конечно, СССР на части разобрала партийно-советская номенклатура и криминалитет. Но застрельщиками на начальном этапе выступили именно правозащитники. Они навели прицел революции на нужную цель.

После ликвидации «внутреннего», «партийного» государства «внешнее» «советское» государство безжизненно провисло. Оно стало и не государством вовсе, а жалкой его тенью, пародийной копией. С тех пор полуживые, будто разбитые параличом, функционирующие больше по инерции, чем за счет какой-то внутренней силы, государственные инсти-

туты лишь дискредитируют воспоминания о былой мощи государства российского. Вот уже двадцать один год русское государство находится на аппарате искусственного дыхания: оно существует, но оно не живет.

И тем не менее нельзя сказать, что государства вовсе нет. Трамваи по улицам ходят, и вообще – все, что положено иметь «приличной» власти. Русская власть вроде бы имеет. Есть полиция и жандармерия, есть армия и как бы суд, функционируют бесплатное образование и бесплатная медицина, люди получают пенсии, пользуются общественным транспортом и т.д. В чем же тогда дело?

А дело все в том, что русское государство перестало быть *особенным*. Оно стало *обыкновенным*, т.е. таким же, как и все другие несостоятельные государства.

Для России, какой мы ее привыкли видеть на исторической сцене, по крайней мере последние триста лет, иметь такое государство равнозначно смерти. Но в планетарном масштабе ничего страшного не произошло, поскольку и с таким государством Россия сможет еще очень долго влачить жалкое, но царственное существование, «звеня» старыми орденами в обозе мировой истории среди десятков себе подобных неудачников. Россия сегодня похожа на сверхзвуковой лайнер, который из-за поломки двигателя вынужден был спуститься вниз, занять место в другом эшелоне и теперь плется до пункта назначения со скоростью «кукурузника».

Конечно, в России есть государство. В его наличии легко убедиться воочию, пересчитав количество полицейских на тысячу душ населения. Но это уже совсем не то государство, которое было раньше и которое было способно творить чудеса, позволяя, по образному выражению Уинстона Черчилля, в считанные десятилетия пройти путь от сохи до ядерной бомбы. Теперь это «нормальная Византия» с ее извечными интригами, клановой борьбой, вселенской бюрократией и космическим мздоимством. Соответствующими являются и темпы культурного прироста – почти постоянно отрицательная динамика.

Все усилия, направленные на то, чтобы придать этому обломку «космическое ускорение», проходят впустую. Двигок русской истории отказывается заново запускаться. За двадцать один год тусклого существования случилось несколько попыток «реанимировать» этот двигок. Россия то давала «полный вперед», то пятилась задним ходом. И то и другое у нее получалось плохо.

Первой «наивной» попыткой взять и просто «перезапустить» двигатель как раз и стал знаменитый августовский путч, который по общепризнанной версии якобы «добил» СССР. На самом деле СССР к этому моменту был мертв. Группа «коммунистических» реаниматологов попробовала его оживить при помощи полицейской дубинки. Разумеется, что ничего,

кроме конвульсий, из этой попытки не вышло. Страна дернулась от боли и снова рухнула. Единственным следствием этой акции стало юридическое закрепление очевидного политического факта. В декабре 1991 г. СССР было выдано свидетельство о смерти.

Второй «романтической» попыткой стал проект по созданию в России «государства европейского типа» на базе «рыночных ценностей». В январе 1992 г. Борис Ельцин дал старт работе по созданию нового, либерально-большевистского государства. Этот проект был обречен на провал, поскольку изначально являлся противоречием в себе самом: своей целью он ставил создание рыночной экономики, но при этом отрицал верховенство права, которое является главным условием ее существования. Правительство внедряло в сознание масс уважение к «рынку», в то время как внедрять туда нужно было уважение к закону.

Фиаско наступило не так сразу, как у ГКЧП, но тоже довольно быстро. В 1993 г. либерально-большевистская программа потерпела сокрушительное поражение. Расстрел парламента, отмена Конституции, узурпация власти одной из партий, какими бы политическими мотивами это ни объяснялось, свидетельствовали об окончательной победе в России целе сообразности над законностью (собственно ничего другого при данном качестве политической культуры и быть не могло). А это ставило жирный крест на «европейском» пути развития. Не одолев дорогу в гору, машина русской государственности стремительно покатилась вниз.

В 1993 г. Россия надорвалась. Все последующие годы, вплоть до самой отставки Бориса Ельцина в канун 2000 г., Россия проводила «имитационную» внутреннюю политику. Правительство топталось на месте, создавая видимость, будто занимается государственным строительством. На самом деле ничего не строилось, а под разговоры о демократии и рынке шло плохо прикрытое разграбление страны наспех сколоченными воровскими и бюрократическими кланами. Первый постсоветский застой продлился вплоть до 2000 г. Дело даже не в том, что эти годы были потрачены впустую. А в том, что именно в это время сформировался тот криминальный тренд, который полтора десятилетия спустя окончательно завел Россию в тупик.

За этот период Россия пережила две волны криминализации экономики. Сначала в 1993–1994 гг. произошла массовая («народная») криминализация. Исследователи из далекого будущего, перед которыми будут открыты ныне закрытые базы данных, скорее всего с удивлением обнаружат, что именно к этим годам восходят все сколько-нибудь значимые русские криминальные истории. Затем в 1996–1997 гг., в ходе так называемых залоговых аукционов произошло окончательное перераспределение ресурсов и была заложена основа процветания криминальной олигархии в России. В считанные годы Россия из «сверхдержавы» превратилась в страну

Третьего мира со всеми ее необходимыми атрибутами: неконтролируемой коррупцией и всесильной мафией.

Но живо еще было поколение, которое помнило другую Россию. Родилось всеобщее раздражение и симпатии к «старому добному государству». Там, где есть спрос, будет и предложение. В России исподволь накапливался потенциал для третьей, «ностальгической» попытки реставрировать дееспособную власть.

Возрождение и крах «внутреннего» государства

Реставраторы советской политической старины действовали скорее по наитию, чем в соответствии с каким-то заранее составленным планом.

Известно, что главный герой культового романа Ильфа и Петрова, затеявший шахматный турнир в Васюках, был бы страшно удивлен, если бы ему рассказали, что он разыграл на шахматной доске мудреную комбинацию. Я полагаю, что и Владимир Путин со своими сподвижниками в те славные годы, когда он начинал российские контреформы, был бы сильно озадачен, если бы ему рассказали, что он пытается воссоздать в России «внутреннее» государство. Тем не менее именно это стало конечным результатом его усилий.

Справедливости ради надо сказать, что в самом начале своей политической карьеры Владимир Путин предпринял робкую попытку двинуться по пути раннего Ельцина и построить в России «европейское» государство. Были задуманы многочисленные, так и не реализовавшиеся (а в некоторых случаях, таких как суд, реализовавшиеся с точностью до наоборот) реформы. В этих мечтаниях прошло около двух лет, и к 2003 г. началось «реверсное» движение к «вертикали власти».

В этой статье не место для подробной характеристики политического строя, сложившегося в России в первое десятилетие XXI в. Поэтому многие важные детали придется опустить. Задача состоит исключительно в том, чтобы определиться с природой и основными функциональными чертами этого строя. С этой точки зрения пресловутаяластная вертикаль, воссозданная Владимиром Путиным, была не чем иным, как скрытым, основаным на неформальных взаимоотношениях, альтернативным (параллельным) механизмом осуществления власти, позволяющим частично компенсировать слабость формальных государственных институтов и восстановить управляемость государственной машиной.

Доказано, что в ходе эволюции природа обычно использует в своих целях те материалы, которые находятся ближе всего («под рукой»). Из них и «лепятся» органы и ткани, необходимые для выживания и приспособления к новым условиям обитания. Нечто подобное происходит и с обществом. Под рукой у Владимира Путина и его команды в начале «нулевых»

находилась ФСБ РФ. Возможно, если бы Владимир Путин был выходцем не из ФСБ, а, скажем, из прокуратуры, то политическая эволюция в России пошла бы несколько иным путем. Хотя общее направление движения, в общем и целом, было задано заранее. Но случилось то, что случилось, – механизм «альтернативной власти» выстроился именно вокруг возможностей, которыми остаточно обладала российская политическая полиция.

Для нас, в конечном счете, важно не столько то, вокруг чего сложилась новая власть, сколько то, какие параметры она приобрела. ФСБ России сегодня зачастую воспринимают как наследницу зловещего КГБ СССР. На самом деле ФСБ является, скорее, политической правопреемницей КПСС. Именно служба безопасности выполняет сегодня те функции «универсального надсмотрщика» за экономикой и политикой, которые были свойственны компартии.

Сегодня много говорится, как изменилась политика под влиянием выходцев из ФСБ, но мало говорится о том, как изменилась сама ФСБ, приспособливаясь к выполнению новых функций. Нельзя не обратить внимания на то, что ФСБ в «нулевые» годы существенно преобразилась. Организация была специально «заточена» под необычные политические задачи (причем эти изменения продолжились и в период президентства Медведева).

Во-первых, ФСБ обзавелась универсальной компетенцией. Поправки, внесенные в законодательство о безопасности, позволяют сегодня ФСБ заниматься любым расследованием, поскольку на нее возложена обязанность бороться с преступностью вообще, а не с преступлениями против безопасности России. Это потенциально (а также и на деле) позволяет ФСБ принимать участие в разрешении практически любого экономического или политического спора.

Во-вторых, ФСБ обзавелась инструментом реализации своей вновь обретенной универсальной компетенции. Внутри ФСБ была создана специальная служба, способная реализовывать универсальную компетенцию практически в любой плоскости. Речь идет о Службе экономической безопасности (СЭБ) ФСБ РФ¹, которая в течение нескольких лет превратилась в высшую политическую инстанцию, способную предрешать исход всех политических и экономических конфликтов в России.

В-третьих, были сформированы «приводные ремни» между ФСБ и реальным сектором экономики. При ФСБ был создан институт «кураторов» для проведения политики непосредственно «на местах». В государственных и даже негосударственных организациях на руководящих долж-

¹ Уже вскоре после своего создания СЭБ ФСБ РФ по своей структуре стала напоминать аппарат ЦК КПСС с его отраслевыми отделами, каждый из которых дублировал деятельность того или иного правительенного учреждения. Не важно, как это называется, важно, что у каждого государственного ведомства с этого момента появился «дублер».

ностях появились «наблюдатели от ФСБ», получающие «две зарплаты»: по месту командирования и по основному месту работы в правоохранительных органах. По сути, они выполняют роль комиссаров при руководителях этих ведомств.

В-четвертых, ФСБ стала «первой среди равных», подмыв под себя все другие конкурирующие силовые структуры. На ФСБ через так называемое управление «М» и ряд других структурных подразделений оказалась замкнуты все другие «силовые» ведомства, включая суд. Конкуренция между этими ведомствами и ФСБ РФ, существовавшая даже в сталинские и брежневские времена, жесточайшим образом пресекается. В лучшем случае другие ведомства могут соперничать друг с другом, пытаясь привлечь ФСБ на свою сторону.

В-пятых, ФСБ стала самостоятельно формировать свою собственную экономическую базу, становясь все более и более независимой от официального государственного бюджета. ФСБ получила право самостоятельно и практически бесконтрольно формировать колоссальный нелегальный бюджет, своего рода «черную кассу» власти. Доходную часть этого «параллельного бюджета» страны составляют деньги, получаемые в качестве платы за назначение на государственные должности, в качестве комиссационных за получение госконтрактов, в качестве отчислений от доходов таможенных брокеров, работающих по «серым» схемам, а также средства, напрямую откачиваемые из бюджета путем незаконного возврата налогов. Его расходную часть составляют траты на неофициальное премирование чиновников, особенно работающих в тех же силовых ведомствах; на осуществление спецопераций как в России, так и за рубежом; на организацию избирательных кампаний; на поддержку всевозможных создаваемых властью институтов «псевдогражданского» общества и на другие подобные цели.

В-шестых, ФСБ России стала активно использовать в качестве «аутсорсинга» для решения стоящих перед ней новых задач криминальные структуры. Зачастую штатные и нештатные сотрудники ФСБ РФ обращаются к криминальным структурам как к «субподрядным» организациям, поручая им выполнение деликатной части поставленных перед спецслужбой задач. Со временем между соответствующими подразделениями ФСБ РФ и используемыми ими криминальными структурами возник симбиоз, сыгравший самую негативную роль в дальнейшей эволюции государственной системы России.

Изменения коснулись, конечно, не только ФСБ России, но со временем затронули и всю общественно-политическую систему. Чтобы безболезненно вживить этот «силовой имплантат» в государственную ткань, в ней предварительно был подавлен политический иммунитет.

В 2003–2004 гг. в результате политических контрреформ были полностью отключены и так не очень эффективные в России жизненно важные механизмы общественного контроля над деятельностью исполнительной власти. В том числе на всех уровнях власти был практически заблокирован выборный механизм. Из всех форм общественного контроля над властью к настоящему времени сохранилась лишь относительная свобода слова и то ограниченная площадкой независимых СМИ и Интернета.

В чем общий смысл политических перемен начала «нулевых»? С одной стороны, все нити, связывающие «внешнее» регулярное государство с обществом, которые не позволяют этому государству окончательно оторваться от общества, были оборваны. Но, с другой стороны, под это безжизненное, недееспособное государство была подведена мощная платформа вновь образованной «внутренней» власти, на этот раз обернутой вокруг ФСБ, которая энергично подперла хиреющее государство снизу. Она скептически расцепившиеся было звенья, вдула воздух в давно обвисшие мехи и заставила всю эту груду политического металлического лома, хоть и со скрипом, но шевелиться.

Поначалу казалось, что найдена, наконец, формула успеха на все времена. Однако, не успев возникнуть, новоявленное «внутреннее» государство стало стремительно деградировать и разрушаться. Вертикаль оплавилась и стала горизонталью. Стремительность этого краха объясняется прежде всего отсутствием идеологии, которая могла бы лечь в основание строившейся вертикали власти.

Действительно, все предыдущие версии «внутренней» власти в России создавались как «сервисные» политические подсистемы для той или иной идеологической системы (самодержавия или большевизма – не имеет значения). Нынешняя вертикаль власти стоит одиноко, как перст в пустыне. Она обслуживает не идеологию, а саму себя. Поэтому ее колышет от любого политического ветра. Русская власть без идеологии – это замок из песка.

Понимая неустранимость этого изъяна, создатели вертикали власти с самого начала пытались заполнить идеологический вакuum всевозможными симулякрами, разменять «культ власти» на множество «масскультиков». Это привело к тотальной подмене в России политики политтехнологиями, но проблему не решило.

Точнее, решило наполовину: при помощи политических технологий, основанных на использовании административного ресурса и на манипулировании массовым сознанием при помощи электронных СМИ, удалось установить эффективный контроль власти над обществом. Но при этом не удалось добиться главного – консолидации самой власти. А ведь идеологии, оказывается, нужны прежде всего для этого. В противном случае любой «трест» неминуемо лопнет от внутреннего напряжения. Что, собст-

венно, и произошло с новоявленным посткоммунистическим «внутренним» государством.

Дело оказалось не в том, что без идеологии власть не может контролировать общество. Это-то как раз получается, особенно если речь идет о потребительском обществе. Дело в том, что без идеологии власть не может контролировать саму себя. И тут уже ничего не поделаешь. Ржавчина в мгновение ока может превратить в труху любое железо, если нет антикоррозийного покрытия. Точно так же и государство без идеологической смазки оказывается беззащитным перед деструктивными силами.

Вертикаль власти стала добычей мародеров. Почти десять лет она насаждала в обществе правовой нигилизм, возвышая целесообразность над законностью, действуя «по обстоятельствам», разделяя граждан на «наших» и «не наших». И вот, наконец, она сама стала его жертвой.

Власть создала правовую среду, крайне неблагоприятную для всех существующих в России субкультур, кроме субкультуры криминальной, которая в условиях официально культивируемого пренебрежения закона-ми размножается, как плесень в сырости¹. Освоившись, эта «субкультура» принялась за уничтожение «подыгрывшего» ей государства.

С легкой руки аналитиков из «Stratfor» в отношении современной России был навязан ложный дискурс – о мифической борьбе «силовиков» с «цивилизаторами» за власть. Борьба кланов между собой ничего на самом деле не объясняет, потому что сама нуждается в объяснении. Наивно пытаться объяснить все перипетии современной русской политики соревнованием друзей и коллег Владимира Путина по службе в ФСБ с друзьями и коллегами Владимира Путина по работе в Санкт-Петербургском университете.

Действительная борьба за власть в современной России идет не между «силовиками» и «цивилизаторами», а между обществом и криминалом.

В отсутствие общего начала, объединяющей нравственной идеи властьная вертикаль рассыпалась на фрагменты, каждый из которых очень быстро стал самостоятельным центром силы. Было бы полбеды, если бы эти

¹ Реставрированное государство было по своему характеру репрессивным. Главным инструментом репрессий до сих пор является «генетически модифицированное» уголовное судопроизводство. Кажется, будто в него вживили звено ДНК «юридического динозавра» – правосудия сталинских времен. Проблема ведь не в том, что к уголовной ответственности может быть привлечен невиновный, а в том, что в рамках существующей системы уголовного судопроизводства у жертв нет даже теоретического шанса оправдаться (разве что откупиться). Нарочитая неопределенность, неясность правовых норм, отсутствие внятных критериев легитимности позволяют легко открывать и закрывать уголовные дела против представителей экономической и политической элиты. Благодаря этому уголовное судопроизводство стало сегодня главным регулятором экономической и политической жизни в России, с его помощью происходит перераспределение финансовых и административных ресурсов, разрешаются экономические споры и регулируются инвестиционные потоки.

фрагменты так и оставались изолированными островками внутри архипелага власти. Настоящая беда состоит в том, что эти «островки» способны дрейфовать в мутных общественных потоках. Более того, они способны цепляться друг за друга, складываясь в самые причудливые и непредсказуемые комбинации.

Обособленные властные группировки неизбежно обрастают «внешними связями» в преступном мире. Поначалу власть сама вербовала союзников в криминальной среде, но скоро криминальная среда подмывала под себя власть и сделала ее своим агентом. Из союза чиновников с преступниками родились первичные *государственно-криминальные образования*. Едва появившись на свет, они стали быстро выстраиваться в длинные социальные цепочки (весь процесс очень сильно напоминает эволюцию простейших биологических организмов). Эти цепочки перехлестывались, сплетались в клубки, соединялись в своеобразные созвездия, пока, наконец, все общество и государство вместе с ним не оказались оплетены ими, как щупальцами спрута¹.

Силовики – это уже сегодня не актуально. Угрозы со стороны «силовиков» – это проблема вчерашнего дня. Сегодня Россия подчиняется вовсе не «силовикам». Ею *управляют децентрализованные неформальные сетевые структуры*, в состав которых входят криминальные «авторитеты» разных рангов, представители самых разнообразных государственных ведомств (в том числе сотрудники правоохранительных органов и судов), соединенные между собой функционально, а также представители «гражданского» сектора, обслуживающего инфраструктуру этих сетей (банкиры, юристы, инвесторы и так далее).

И даже внутри этих сетевых структур «силовики» теперь не имеют решающего влияния. Россия быстро прошла эту промежуточную стадию разложения власти. Сегодня главной угрозой для России является всеобщая универсальная криминализация, массовое освоение власти самими деструктивными общественными элементами. Центры принятия решений, очевидно, давно покинули стены пресловутой ФСБ, тем более Кремля или российского Белого дома. Они переместились в офисы и на виллы, многие из которых уже давно располагаются за пределами России.

Таким образом, эксперимент по воссозданию «внутренней» власти без идеологии, за счет эксплуатации ностальгической привязанности населения к *ancient regime* окончился полным провалом. Но даже за саму эту попытку пришлось заплатить крайне высокую цену. Процесс криминали-

¹ В том, что развитие ситуации имело именно такой негативный вектор, нет ничего удивительного. Это логика развития любых стихийных процессов. Поразительно то, как быстро, буквально в считанные годы, российское общество и государство проделали эту эволюцию. Мне кажется, что это можно объяснить только глубокой общей нравственной изношенностью российского общества, ослаблением его социального иммунитета.

зации власти и общества, начатый в 1993 г., продолженный в 1996 г., доЖел-таки, наконец, до своего логического конца. Власть в России «разделилась» небывалым до сих пор образом – на официальную и криминальную.

История России очередной раз прошлась по кругу и вернулась в точку старта... Попытка выстроить вертикаль власти стала катализатором формирования в России нового криминально-паразитического (не производительного) класса. На смену пресловутой «советской номенклатуре» пришла *постсоветская клептократура*.

Особенностью клептократии является то, что основу ее экономического благополучия составляет не частная собственность, даже краденная, как можно было бы предположить, не возможность привилегированного доступа к каким-то ресурсам (будь это даже газ, нефть, металл или чистое золото), а коллективное владение государством, являющимся для нее эксклюзивным источником обогащения.

Под влиянием клептократии в России деформировалась не только политическая, но и экономическая система. Российская экономика является сегодня не столько «сыревой», сколько «распределительной». Она имеет двухуровневый характер: есть первичная и есть вторичная экономика. На первичном уровне средства от различных видов производительной деятельности аккумулируются у государства, а на вторичном – они перераспределяются в пользу клептократии, контролирующей это государство (это делается путем применения разнообразных технологий изъятия бюджетных средств). Изъятые из бюджета таким образом средства, как правило, не реинвестируются в экономику, а выводятся из нее: они либо расходуются на потребительские нужды клептократии, либо направляются за границу.

К концу первого срока президентства Дмитрия Медведева вертикаль власти, созданная для того, чтобы компенсировать несостоятельность российской государственности, сама стала абсолютно несостоятельной. «Внутренняя» власть растворилась в той «внешней» власти, за которой она должна была «присматривать».

Холодная гражданская война

В переломном 1920 г., когда коммунистическая Россия вынужденно затеяла переход к НЭПу и соратники Ленина сокрушались по поводу краха «военного коммунизма», теоретик партии Бухарин задался вопросов: «А что собственно 'крахнуло'?». И сам же на него ответил: «Наши иллюзии».

Сегодня, когда нам кажется, что с разрушением вертикали власти рушится и сама русская государственность, нам стоит озадачиться тем же вопросом: «А что собственно рухнуло?».

Катастрофа оказалась относительной. Рухнула наивная надежда на то, что можно вот так запросто взять и воссоздать тот уникальный политический механизм, который делал Россию *особым* государством, способным, несмотря на вопиющую слабость всех своих институтов, в течение нескольких веков развиваться впечатляющими темпами и создавать выдающуюся культуру. Но сама по себе государственность, конечно, сохранилась. Просто Россия превратилась в *нормальное* несостоятельное государство из Третьего мира.

Казалось бы, на этом можно было поставить точку. Но выходит почему-то точка с запятой. Ведь это несостоятельное государство существует в обществе, которое еще помнит другие времена. Изнутри и снаружи его окружают люди, которые хотят большего и которые не могут смириться с тем, что нынешнее положение *нормально*.

Собственно, *неуспокоившиеся* элиты – это есть сегодня главный, если не единственный, фактор нестабильности политического строя современной России. Но это серьезный фактор.

С точки зрения *нормального* среднестатистического латиноамериканского или африканского общества, к стандартам которого Россия стремительно приближается, эта первая реакция элит на происходящее, их политическая истерика по поводу своей несостоятельности кажутся *иррациональными*. Несостоятельное, так несостоятельное – лишь бы деньги платили...

Она и является иррациональной. Но у этой иррациональности есть очень глубокие русские корни. Ведь не на пустом же месте появился в России тот плодоносящий культурный слой, из-за которого в ней время от времени напрочь ломают все политические и экономические устои. Он вырос из самих глубин русской жизни, из ее, в том числе, православной основы, из ее совокупной истории. И поэтому даже если этот плодоносящий слой срезать в очередной раз «подчистую», то он снова и снова будет выделяться из русской жизни, из ее унылой повседневности, и вытекать как слеза из невидящего глаза. В определенном смысле Пушкин, Достоевский, Толстой, Чехов и другие являются нашими политическими современниками. Они голосуют незримо вместе с нами, иногда за нас, а иногда даже вопреки нам.

Чем более очевидной будет несостоятельность русской государственности, тем сильнее будет беспокойство русских элит. Это неуемное беспокойство – и русский крест, и русское спасенье. А следовательно, центр тяжести политической борьбы будет шаг за шагом, медленно, но неуклонно смещаться в сторону общества. Рано или поздно, но именно в обществе должно будет произойти генеральное сражение за Россию.

Предчувствие гражданской войны

Разруха начинается в головах, в них она должна будет и закончиться. Не раньше, но и не позже. Россию будет трясти до тех пор, пока русские элиты не придут к какому-то общему нравственному знаменателю.

А для этого русские элиты вынуждены будут, в конце концов, разобраться между собой по поводу ценностей и идей. И только после этого станет ясно: будет ли Россия строить новое государство или окончательно доломает старое.

Это духовное самоопределение будет непростым делом. Может быть, самым непростым делом для русских элит за все эти годы. В свое время, двадцать лет назад, они фактически уклонились от серьезной политической (и не только) дискуссии. Сегодня им придется заплатить за это тройную цену.

Русским элитам придется заплатить за то, что они оставили в своих головах кашу из либеральных, националистических, социалистических и еще Бог знает каких идей. Им придется заплатить за недодуманность, недоделанность, недоосмысленность, за культивируемую инфантильность и духовное иждивенчество.

Все, когда-то *непреодоленное*, со временем становится *неопределенным*. Легкость, с которой русские элиты вышли из советской шинели, обманчива. Во всем, в чем эти элиты не определились тогда, им все равно придется определиться в будущем.

Гражданская война, которой якобы удалось избежать при Горбачеве, оказалась просто отложенной «на потом». Потому что гражданская война в строгом смысле слова – это и есть наиболее острые формы общественной дискуссии о ценностях и идеях. Будет хорошо, если эта гражданская война останется холодной.

Русским элитам придется совершить либо нравственный подвиг, либо нравственное преступление. От их выбора зависит будущее российской государственности. Но размышления об этом нравственном выборе выходят далеко за рамки политического анализа.

О.Н. ЯНИЦКИЙ

РОССИЯ КАК ОБЩЕСТВО РИСКА: МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА И КОНТУРЫ КОНЦЕПЦИИ¹

Вычисление рисков, чем западная социология занимается с конца XIX в., а в последние десятилетия – и российская, и разработка концепции «общества риска» суть принципиально разные задачи. В первом случае речь идет об определении степени вероятности негативных последствий конкретного социального действия (решения, программы), тогда как во втором – о концептуальном осмыслиении общественного развития как принципиально рискового, т.е. производящего одновременно блага и бедства.

В западной социологии концепция общества риска была впервые сформулирована У. Беком², отдельные ее элементы разрабатывались им совместно с другими социологами. Однако речь шла о рисках общества, переходящего к стадии высокой модернизации, тогда как в России еще не завершена фаза простой модернизации, осложненная процессами деморнизации.

Данная статья является итогом систематического изложения основ концепции общества риска применительно к российской действительности «переходного периода», которую я разрабатывал начиная с 1994 г.³

¹ Печатается по: Яницкий О.Н. Россия как общество риска: Методология анализа и контуры концепции // Общественные науки и современность. – М., 2004. – № 2. – С. 5–15.

² Beck U. Risk society: Toward a new modernity. – L., 1992; Beck U. The reinvention of politics: Towards a theory of reflexive modernization // Beck U., Giddens A., Lash S. Reflexive modernization: Politics, tradition and aesthetics in the modern social order. – Stanford (Cal), 1994; Beck U. Ecological enlightenment: Essays on the politics on the risk society. – New Jersey, 1995; Beck U. Risk society and the provident state // Risk, environment and modernity: Towards a new ecology. – L., 1996. – P. 27–43; Beck U. World risk society. – Malden (Mass.), 1999.

³ Яницкий О.Н. Альтернативная социология // Социологический журнал. – М., 1994. – № 1. – С. 70–84; Яницкий О.Н. Модернизация в России в свете концепции «общества риска» // Куда идет Россия? Общее и особенное в современном развитии. – М., 1997. – С. 37–48; Яницкий О.Н. Россия как общество риска: Контуры теории // Россия: Трансформирующееся общество. – М., 2001. – С. 21–44; Яницкий О.Н. Социология риска. – М.: LVS, 2003; Яницкий О.Н. Экологическая социология как риск-рефлексия // Социологические исследования. – М., 1999. – № 6. – С. 50–60; Yanitsky O. Sustainability and risk: The case of Russia // Innovation: The European journal of social sciences. – Routledge, 2000. – Vol. 13, N 3. – P. 265–277.

Ее задача – попытка экспликации всего пройденного пути: от изложения методологических основ рискового анализа к построению российской версии общества риска и далее к анализу конституирующих элементов этого общества.

Методологические основания

Социология риска рассматривает «последствия» социального действия как одну из центральных проблем научного анализа. Тем самым эта дисциплина расширяет методологическую рамку своего интереса, имея концептуальной задачей изучение всей совокупности производства благ и бедствий, действий и последствий, решений и их результатов – как явных, так и недоступных (пока) социологическому анализу. Созидание и разрушение трактуются социологией риска как *норма общественного производства*.

Более того, я полагаю, что всякое общественное производство имеет двойственную, созидательно-разрушительную природу. «Общество риска» – это такой взгляд на характер созидания общественной жизни, когда производство благ и бедствий, достижений и потерь трактуются как две – онтологически и гносеологически – равнозначные стороны данного процесса. Не «прогресс» и его «социальные последствия», а порождение риска каждым социальным действием, каждым актом производительной деятельности человека.

Поэтому потенциально всегда существуют две возможности, две траектории – накопления и растраты, подъема и спада, позитивных и негативных социальных изменений, в конечном счете эволюции и деволюции. Отсюда теоретически существуют два качественно различных типа переходного общества: *созидательный* и *разрушительный*. В обоих производство богатства и рисков идут бок о бок. Однако способ этих производств резко различен. Общества созидательного типа, несмотря на риски и опасности, осуществляют переход к высокой (неизбежно западного типа) модернизации, наращивают свой творческий потенциал. Общества противоположного типа отмечены прогрессирующей демодернизацией. Расходя и просто расхищая свой креативный потенциал и ресурсы, необходимые для жизни, подобные общества становятся периферией глобального социetalьного пространства или могут вообще исчезнуть с исторической арены. Методологическая социология риска исходит также из того, что опасность, риск могут быть как результатом эволюции общественной системы, постепенно накапливаемых ею негативных изменений, так и продуктом целенаправленного конструирования и манипулирования.

Концепция общества риска придает фундаментальное значение *среде обитания* человека во всех ее измерениях. Чем интенсивнее мир будет

глобализироваться, тем большую роль среда станет играть в процессах социального производства и воспроизводства. Среда жизни не инертна: риски, носителями которых могут быть как природные вещества и процессы, так и социальные акторы, попадая в среду, мигрируют в неё, накапливаются, трансформируются и возвращаются к человеку в форме новых вызовов к устоявшимся практикам и социальному порядку. В известном смысле общество риска можно определить как общество «средовых вызовов и императивов». Поэтому, акцентируя значение детерминации будущего – прошлым, социального действия – социокультурной средой, данная концепция методологически является социоисторической и антимодернистской.

Социология риска трактует анализируемые структуры и процессы как *вероятностные*. Абсолютного блага не существует – всегда есть *цена достиженения* конкретного блага. Способна ли сегодня социология (во взаимодействии с другими науками) вычислять цену конкретных рисков – этот вопрос остается открытым. Поскольку никто не обладает абсолютным знанием обо всех рисках и разные социальные группы имеют свои приоритеты, а связанные с ними эксперты дают различные прогнозы относительно масштаба возможного ущерба, в решениях, принимаемых политиками, всегда заложен риск.

Вероятностный подход, лежащий в основе концепции, означает, что сегодня никакие проблемы не могут быть решены «полностью и окончательно». Соответственно, никакой социальный порядок, никакая модель общественного устройства не могут трактоваться как устойчивые и тем более как идеальные. Происходящие у нас на глазах трансформации зреющих, веками устоявшихся демократических режимов, равно как и метаморфозы российской демократии, – лучшее тому подтверждение.

Процесс глобализации лишь усиливает растущую неопределенность, неоднозначность условий человеческого существования... Социологии еще предстоит как-то квалифицировать это состояние перманентной неопределенности условий человеческого существования. На мой взгляд, это и есть та новая социальная реальность всепроникающего и всеохватывающего риска, в которую вступает наше общество. Оборотная сторона этого состояния – коллективная безответственность, невозможность вычисления конкретного виновника риска...

Доминирующий взгляд на мир

Сегодня в российском обществе нет консенсуса относительно базовых ценностей и целей. Нет и согласованного проекта будущего. Мир представляется потенциально опасным, состоящим из враждующих группировок. Уровень доверия к государственным структурам низок. Защиту

может обеспечить только принадлежность к «своим». Отсюда – основополагающей нормативной моделью общества является безопасность, выживание, сохранение накопленного или ранее приобретенного. Интеграция достигается прежде всего на путях поиска общего врага, т.е. практикуется «сосуждающая модель опасности».

Важная составляющая доминирующего взгляда на мир – императив управляемости. В обществе риска политика все более превращается в манипулирование обществом, ресурсами которого выступают экономическое или силовое принуждение, блокирование самоорганизации снизу. Для собственно политической жизни характерны крайний цинизм, равнодушные власти предержащих к гарантированию личных прав и свобод всех остальных. В повседневных практиках большинства групп населения преобладают потребительский и перераспределительный мотивы.

Трудовая этика в массе населения утеряна: благополучие приносят связи, знакомства, удача, наконец, принуждение и насилие, но не повседневный напряженный труд. Созидание как основополагающая форма социального действия и, следовательно, как социально-историческая категория, теряет смысл. Источники ресурсов видятся не в инвестициях или мобилизации интеллектуального потенциала, но в (силовом) перераспределении уже кем-то «приватизированных» ресурсов.

Названные и другие компоненты существующих в российском обществе взглядов на мир не являются результатом углубленной рефлексии. Они или заимствованы на Западе (либерализация), или же извлечены из советского (всеобщая управляемость) или российского («державность») духовного арсенала.

Наконец, культура новой России рискогенна в том смысле, что не успевает осваивать стремительно меняющуюся ситуацию. Чтобы «успевать», необходима интенсификация процессов *социокультурной рефлексии и рефлексивности*. В нашем случае социокультурная рефлексия – это перманентное критическое осмысление меняющейся ситуации и публичный *диалог* по поводу современного состояния общества. Под рефлексивностью мы подразумеваем трансформацию старых и возникновение новых социальных акторов и институтов в ответ на «вызовы» общества риска. Слабость большинства новых социальных движений – признак критически отстающей рефлексивности.

Другая сторона той же проблемы и одна из главных причин формирования этого общества состоит в неспособности его правящей элиты к критическому и концептуальному мышлению. Еще одна грань рискогенности культуры новой России состоит в том, что отчужденность, заброшенность маленького человека, став нормой его жизни, еще не получила адекватного культурного «ответа». Даже Чернобыль, шоковая терапия, дефолт и другие мегариски последних десятилетий все еще осваиваются

«человеком улицы» в терминах *традиционной культуры* как беды, несчастья и напасти.

Реакцией на реформы становится новая утопия, когда человек ментально стремится вернуться назад, но не в тоталитарное прошлое, а в то почти идеальное «промежуточное» состояние, когда цензуры и слежки уже нет, а приватизация и развал еще не начались. Речь идет о классической ситуации «между», которую А. Ахиезер считает одним из главных признаков раскола русского общества. Однако, как я полагаю, дело здесь не столько вечно расколотой русской культуре, сколько именно в стремлении к нормальной, устойчивой, предсказуемой жизни, которую в 1980-е гг. советский народ в массе своей уже опробовал на практике.

Способ производства

Производство рисков как потенциальной угрозы и как реально нанесенного вреда имеет свой порядок, свою, по выражению Ч. Перроу, «вторичную нормальность». Процессы общественного производства и воспроизведения рисков всеобщи (всеохватывающи) именно потому, что замыкаются через среду – природную, техническую, социальную. Еще в середине XX в. многим казалось, что можно успешно «разводить» производство «полезностей» и «отходов», благ и бедствий, катастрофы и рутину повседневности, военные действия и мирную жизнь. Пространственное и социальное обособление оазисов «процветания» и «остальной территории», мира богатых и бедных представлялось нормальным. Современный же мир конечен, неразделим и взаимопроникаем. Постоянно производимые обществом «последствия» никуда не исчезают – перемещаясь, накапливаясь, трансформируясь, они в совокупности формируют среду жизни настоящего и будущего поколений, от которой нельзя спрятаться. Историческая эпоха «дистанцирования» закончилась. Дихотомия «производство – отходы» оправдана лишь с частной, утилитаристской точки зрения.

Анализ показывает, что производство рисков не только имманентно всякому виду общественного производства – оно является прибыльным делом, мотивом, ресурсом и орудием борьбы конкурирующих групп. Производство рисков стало не только инструментом борьбы кланово-корпоративных структур, но превратилось в ценность и в предмет торговли между бюрократией и частными агентами этого производства. Однако производство рисков субстанциально *асимметрично*. Легче сделать ошибку, нежели ее исправить. Сиюминутная выгода, как правило, обрачивается длительными и дорогостоящими потерями. Это касается всех сторон общественного производства. Можно «уйти в тень», спрятать криминальный бизнес под «крышой», но выход оттуда гораздо более труден и

долог¹. Можно сконструировать оружие массового поражения, но потом столкнуться с проблемами, связанными с его длительным хранением и, что еще сложнее, с попытками избавиться от него «окончательно».

Для описания тектонических социальных сдвигов «переходного периода» я считал необходимым ввести понятие *энергия социального распада*. Дезинтеграция советского государства-общества сопровождалась выделением гигантских масс такой энергии. Эта энергия суть массовые действия, разрушающие социальный порядок, его нормативно-ценностную и институциональную структуры. Выделение энергии распада – актуализация социального риска в форме неконтролируемых действий атомизированных либо политически сконструированных социальных акторов. Эмпирически эта энергия существует в форме возникновения и распространения все новых групп риска: вынужденных переселенцев, беженцев, бездомных, безработных, носителей афганского, чеченского и других синдромов. Она связана с действиями «неопознанных вооруженных формирований», а также проявляет себя в виде межэтнических конфликтов, локальных войн, криминальных разборок, заказных убийств и массового терроризма.

Теоретически эмиссия этой энергии есть процесс, противоположный мобилизации ресурсов. Если креативное социальное действие требует мобилизации «полезных» ресурсов (людских, финансовых, информационных), то распад как деструктивное действие есть превращение этих ресурсов и их носителей в «отходы», рассеивание в среде. Если мобилизация «полезных» ресурсов ведет обычно к повышению уровня организованности коллективного социального актора и социума в целом, то выброс энергии распада есть признак резкого снижения этого уровня, а в пределе – превращение актора в «отходы», в «ноль организованности». Распад сложившихся систем жизнеобеспечения привел к утере «онтологической безопасности» (Э. Гидденс) постсоветского человека, породил всеобщее недоверие и страх: повседневная жизнь становилась все более ненадежной и непредсказуемой.

Характеристикой российского общества риска является демодернизация, которая может быть результатом как сознательно разрушающих действий, так и самораспада некоторой организации (института) вследствие резкого изменения условий ее существования. Во всех случаях на начальном этапе выживают архаические социальные структуры. В самом деле, в ходе реформ первыми в России деградировали структуры «всеоб-

¹ Волков В.В. От преступных группировок к региональным бизнес-группам // Куда идет Россия?.. Формальные институты и реальные практики. – М., 2002. – С. 108–120; Радаев В. Российский бизнес: На пути к легализации? // Вопросы экономики. – М., 2002. – № 1. – С. 68–87.

щего труда» – наука и высокие технологии. За ними последовала индустрия – городская и сельская. Затем – городские и иные социальные и социотехнические структуры. Однако слой кланово-корпоративных структур, прежде всего тех, кто владел источниками сырья или имел к ним доступ, не только сохранился, но значительно расширился. Демодернизация так же рискованна, как и форсированная модернизация. Фундаментальная закономерность развития современной техногенной цивилизации состоит в том, что чем более мир нашей жизни становится рукотворным, тем более он нуждается в уходе, «профилактике», поддержании его в рабочем состоянии.

Социальный порядок

Коль скоро производство рисков в широком смысле слова прибыльно, оно должно быть защищено. Акторы, производящие риски, стремятся создать нужный им социальный порядок, который затем пытаются навязать обществу. Риск-потребители понуждаются к игре по правилам риск-производителей. Новейшая российская история подтверждает эту закономерность: вспомним ваучерную приватизацию, законы о разделе продукции или ввозе отработанного ядерного топлива, дефолт, экономическое и правовое ограничения гражданских инициатив и социальных движений и т.д. Устанавливаемый таким образом социальный порядок, в частности, способствует конвертированию энергии распада в теневые и криминальные структуры, поскольку они по-своему защищают человека и дают ему шанс на выживание.

Еще один важный момент. Риск-производители склонны рассматривать конкретные территории и населяющие их общности как *ресурсные ареалы*, т.е. как источники власти и богатства, тогда как риск-потребители видят в своих городах и поселках прежде всего *пространства, необходимые для жизни*. Формирующийся новый порядок не ориентирован на защиту рядовых граждан и обеспечение их витальных потребностей, поскольку этот порядок есть результат движения и закрепления во властных структурах производителей риска. Поэтому и в сознании властвующей элиты, и в массовом сознании социальный порядок чаще отождествляется с принуждением и насилием, нежели с законом. Что конкретно имеется в виду?

Во-первых, всякий социальный порядок зиждется на «абстрактных системах» и доверии к ним (Гидденс). Если каждый раз эти институты и правила конструируются самими игроками «по случаю», то такого рода неформальные отношения разрушают социальный порядок.

Во-вторых, суть и содержание подобных неформальных отношений – архаика, но архаика специфическая (теневая, криминальная, коррупцион-

ная). Конечно, формальные институты и писанные законы в России существуют, но их реальное действие ситуативно, т.е. подчинено сиюминутным интересам действующих акторов. В обществе риска *утилитаризм* становится главенствующим принципом организации социального порядка и поддерживающих его институций.

В-третьих, в обществе риска нарушен сам механизм формирования социального порядка: социальная рефлективность общества, под которой понимается критика этого порядка «изнутри», посредством формирования социальных движений и их активного участия в политических процессах, очень слаба. Превращение выборов в торг населения с властями – один из индикаторов этой ситуации.

В-четвертых, сегодня социальный порядок в России находится под давлением внешних сил. «Периферийная» и вечно в чем-то виноватая Россия не просто устраивает транснациональные корпорации и международные финансовые институты. Подобный образ государства и общества становится поводом для дальнейшей реконструкции российских порядков по образцам, навязываемым странами «золотого миллиарда».

В-пятых, в социальном порядке общества риска всевозрастающий вес приобретает его *кризисная, чрезвычайная составляющая*. Теракты и катастрофы становятся настолько перманентными, что в мирное время социальный порядок все чаще обеспечивается чрезвычайными мерами и средствами. Почти каждое мирное массовое событие (религиозный, гражданский или профессиональный праздник, спортивное мероприятие, государственный визит, избирательная кампания) обставляется как «чрезвычайное». Соответственно, идет быстрое наращивание мускулов «чрезвычайных» министерств и ведомств.

Крайней формой устанавливаемого порядка в обществе риска является *критический социальный порядок* как полное разрушение «нормального» образа жизни и регулирующих его легальных практик. Критический порядок есть совокупность силовым образом приватизированных социальных порядков. Слабость легитимных социальных институтов, всеобщий страх и недоверие, превращение непосредственной среды жизни в опасную и враждебную – главные детерминанты данного порядка. Критический социальный порядок также двойственен: порождая страх и апатию, он одновременно представляет собой почву для накопления разрушительного потенциала.

Раздвоение социального порядка на светлый и теневой, мирный и чрезвычайный, легальный и «по понятиям» постепенно размывает различие между нормой и патологией. Из среды, им созданной, этот порядок проникает внутрь личности, поражая ее сознание и дезорганизуя поведение. «Беспорядок», проникший в ценностное ядро личности, ведет к ее освобождению от моральных ориентиров и этических ограничений. Если

учесть, что в обществе риска порядок поддерживается негативными социально-психологическими факторами – правовым нигилизмом, страхом, усталостью, недоверием, то дальнейшая приватизация и «силовизация» этого порядка выглядит весьма реальной.

Было введено понятие *консервирующей или негативной стабилизации*, под которой подразумевается разновидность политики, имеющей целью сохранение целостности общества путем перехода на более низкий уровень социальной организации. В России негативная стабилизация общества была способом уменьшения эмиссии энергии распада путем традиционной, а чаще архаичной самоорганизации отдельных ячеек общества. Вместе с тем привыкание к жизни в экстремальных условиях, каждодневная борьба за выживание создают чрезвычайно высокий уровень *социально-приемлемого риска*: люди становятся все менее чувствительными к критическому состоянию общества в целом.

Наконец, со времен Аристотеля представление об общественном порядке связывалось с понятием общественного блага. В обществе риска само представление об общественном благе становится весьма проблематичным, поскольку существенной функцией риска является *торговля общественной безопасностью*, которая продаётся частным потребителям за деньги. В обществе риска общественное благо не является способом гарантии общественной безопасности или формой социальной защиты, равно как и не обеспечивает равенство граждан перед законом. В этих условиях общественное благо представляет собой конкретное ограниченное благо, предоставляемое клиенту за плату некоторой теневой структурой, которая узурпировала это право.

Изменение социальной структуры

Коль скоро производство рисков прибыльно, принося богатство и власть, то общество приобретает новый стратификационный признак: оно разделяется на производителей и потребителей рисков. Одни общности или социальные группы извлекают пользу из производства рисков, другие же подвергаются их негативному воздействию. Кроме того, уделом потребителей рисков становится иная «польза»: льготы или компенсации за потерянное здоровье, за вынужденную жизнь в рискованной среде.

Другой источник изменения социальной структуры – эмиссия энергии распада, которая трансформируется в общности «лишних» людей, как мирных, так и агрессивных, стремящихся любыми средствами вернуть себе утерянный социальный статус и достойные условия жизни. Причем процесс этот носит самонаводящий характер: унижение порождает насилие, на «зачистки» отвечают террором, формированием террористических групп и т.п.

Вместе с тем, как показал Бек¹, производство рисков «демократично»: в конечном счете оно поражает тех, кто наживался на их производстве или же считал себя от них защищенным. Иными словами, не только в индустриально развитых странах Запада, но и в России производство рисков – фактор изменения социальной структуры общества, перестройки ее по критерию места человека или группы в системе производства рисков, а также по качеству среды обитания, которое данное производство формирует. Это, в свою очередь, ведет к изменениям в расстановке политических сил, появлению новых идеологических доктрин и т.д.

Одним из структурных результатов функционирования общества риска является формирование риск-солидарностей. Солидарность производителей риска может быть определена как общность людей, силовым образом «приватизирующая» национальные природные ресурсы и воспроизводственные структуры общества, включая социальный порядок, в своих эгоистических интересах. Эти риск-солидарности носят агрессивный, экспроприиращий характер уже хотя бы потому, что их первичный финансовый, социальный, политический и иной капитал был создан силовым образом. Нелегитимность и насилие здесь – ключевые понятия, потому что подобные солидарности создаются скрыто, при помощи средств принуждения, мобилизуют ресурсы для своего воспроизведения нелегальными способами и «зацищаются» при помощи принуждения, основанного на насилии или его угрозе.

Солидарности жертв риска – общности, по большей части носящие альтруистический характер, поскольку защищают здоровье и безопасность не только собственную и своих близких, но некоторой группы или общности и даже общества в целом. Это общности «ответа» на вызов со стороны риск-производителей. Подобные общности, как правило, создаются «снизу», защищают сложившийся социальный порядок, действуют в рамках закона и мобилизуют наличные человеческие ресурсы для достижения своих целей. Сегодня в России эти солидарности уже достаточно многочисленны, но разрознены, не имеют массовой поддержки и политического представительства. Однако важно, что все большее число индивидов и групп склонно идентифицировать себя с «жертвами риска», хотя внешне это может выражаться в иных терминах и самооценках – бедности, бесправности, униженности, заброшенности. Не менее важно, что в российском обществе подспудно идет поиск новых форм коллективности, которые бы обеспечили человеку и его близким большую безопасность повседневной жизни. А отсюда уже недалеко и до участия в новых формах социального протesta.

¹ Beck U. Risk society: Toward a new modernity. – L., 1992.

Между названными «полюсами» – множество видов и подвидов. Есть группы и сообщества, главным занятием которых является конструирование рисков с целью нанесения ущерба другим. Другие общности, изменяя уклад жизни, приспособливаются к рискогенной среде. Растет число общностей, которые пытаются ответить на вызовы общества риска. Однако этот ответ может быть самым разным: обособление от общества, его пассивное отрижение или создание «школ выживания» и групп взаимопомощи.

Наконец, для данного общества характерны *негативные солидарности*. Негативная солидарность есть противоестественная общность людей. Противоестественная потому, что она основана на вынужденной (в целях самосохранения) взаимной поддержке риск-производителей и риск-потребителей, т.е. людей с противоположными интересами и ценностями, равно как и с различным социальным статусом.

Состояние среды и повседневные практики

Длительное невнимание общественных наук к двойной, созидательно-разрушительной природе общественного производства, исключение проблемы его потенциальной и актуальной рискогенности из сфер государственной политики и научной рефлексии привели сегодня к тому, что риски и опасности, десятилетиями сбрасываемые в среду обитания и накапливаемые там, стали серьезным препятствием на пути реформирования российского общества.

Эта среда не пассивна и пространственно не замкнута. Будучи интегральной частью процессов общественного производства, она сама все больше превращается в производителя и распространителя рисков. Вообще средовые риски – всепроникающие, мигрирующие, накапливаемые и, главное, трансформирующиеся непредсказуемым образом – наиболее трудно преодолеваемое наследие прошлого. Негативные «побочные эффекты» прошлой деятельности, аккумулированные в среде обитания, детерминируют современное состояние российского общества.

Слово «среда» следовало бы написать с большой буквы, потому что нет в современном мире – ни теоретически, ни практически – разделения на среду природную, техногенную и социальную. Природа социализирована, социальная жизнь техногенизована, технологии все более биологизируются, человечиваются и т.д. Поэтому только условно и в сугубо аналитических целях можно разделять эти понятия...

Теоретически и практически важно, что среда конкретного общества всегда обладает некоторым запасом прочности (поглощающей способности), позволяющей аккумулировать «сбрасываемые» в нее риски без изменения принципов ее организации и функционирования. Эту устойчивость

среды, ее резистентность к негативным внешним воздействиям я называю *несущей способностью*. Перед началом российских реформ несущая способность собственно социальной среды была достаточно высока. Несмотря на давление и импульсы унификации, постоянно исходившие от партийно-государственной машины, эта среда советского общества была к тому времени уже достаточно разнообразной, хорошо структурированной и имела несколько степеней социальной защиты.

Однако по мере углубления реформ два процесса развивались параллельно: «сбросы» рисков в социальную среду росли, а ее несущая способность истощалась вследствие интенсивной эксплуатации ее ресурсов и отсутствия средств ее воспроизведения. В конце концов, эта среда, состоящая из множества хрупких микромирков, межперсональных общностей, идентификаций и солидарностей, соединенных паутиной слабых взаимодействий, рухнула под напором названных процессов. Порог несущей способности этой среды был преодолен, что имело несколько последствий. Прежде всего, социальная среда перестала играть роль поглотителя рисков. Напротив, интенсивно атомизируясь, она стала источать их во всевозрастающих масштабах. Далее, атомизированная среда явилась ресурсом для быстрого распространения влияния старых и формирования новых солидарностей производителей рисков (теневых, криминальных и других патогенных структур). Наконец, интенсивное формирование общностей, целиком зависимых от притока ресурсов с Запада и поэтому не укоренившихся в российской среде, также стало потенциальным источником рисков.

Это означает, что ныне социальная среда российского общества обладает значительным контрмодернизационным потенциалом, препятствующим реализации любой стратегии реформирования государства и общества... Социальная среда активно участвует в процессах социальной селекции. Под их воздействием постепенно изменяется качественный состав населения: уходят (эмигрируют, дисквалифицируются, болеют, умирают) его лучшие элементы и остаются жить и плодиться худшие¹... Результат – ухудшение качества российского социума.

Наконец, рискогенные среды имеют тенденцию к институционализации. «Крыша» – первичный элемент такой институционализации. Затем появляются новые агенты – теневые купцы, банкиры, адвокаты, посредники, быстро растет теневая рабочая сила. Постепенно складывается теневое контрактное право, возникает теневая юстиция, в конечном счете формируются «теневой порядок» и институт «теневой безопасности».

¹ Сорокин П.А. Общедоступный учебник социологии: Статьи разных лет. – М., 1994. – С. 423, 424.

Вектор социальной динамики

Суммируя сказанное, можно заключить, что российское общество постепенно трансформируется в «общество всеобщего риска». В самом деле, производство и распространение рисков приобретают всеохватывающий и экстерриториальный характер, овладевая в равной мере индустриальной системой, социальными институтами, повседневной жизнью и биосферой. Несущая способность систем жизнеобеспечения населения многократно превышена.

Коль скоро социальная жизнь обременена нарастающей чередой больших и малых рисков, ожидание опасности, рисковозависимость становятся нормами повседневной жизни. Привыкание к жизни в экстремальных условиях и чрезвычайно высокий уровень социально приемлемого риска суть две стороны одной медали. Ответом на этот вызов является всемерное усиление *защитных структур* на всех уровнях – от индивида и группы до общества и государства. Поэтому не развитие, а безопасность все более становится ориентиром деятельности социальных акторов и социальных институтов.

Однако бремя рисков прошлого и новые глобальные вызовы настолько масштабны, неотложны и структурно новы (например, сетевая организация международных террористических организаций), что государство не способно поддерживать системы жизнеобеспечения граждан даже в относительной безопасности. Управление рисками превращается в «тушение пожаров», в деятельность по ликвидации череды катастроф и чрезвычайных ситуаций. Обратная сторона этого процесса – сокращение материальных и интеллектуальных ресурсов прежде всего на научные исследования и разработки, необходимые для адекватной рефлексии по поводу собственной динамики.

По моему глубокому убеждению, пока в России никакой «догоняющей» или «рецидивирующей»¹ модернизации нет. Нет даже проекта такой модернизации, не говоря уже о ее идеологии. Есть очевидные результаты по стабилизации текущей ситуации, но за счет продолжения демодернизации, традиционализации и восстановления политических структур, весьма напоминающих советские времена. В итоге ключевой характеристикой общества всеобщего риска является опасный сдвиг к «перемене знака»: производство рисков угрожает нивелировать производство общественного богатства, будь то здоровье общества или его интеллектуальный потенциал.

Это, в свою очередь, указывает на присущий властвующей элите характер социальной рефлексии. Главный ее недостаток – неспособность к концептуальному мышлению... к критическому осмыслению собственных

¹ Наумова Н.Ф. Рецидивирующая модернизация в России: Беда, вина или ресурс человечества? – М., 1999.

решений. «Радикальное сомнение» (Бек) не присуще этой элите. Напротив, ее мышление часто архаично, что проявляется в его крайней дихотомичности, в приверженности к чрезвычайно политизированным решениям, опирающимся на веру во всемогущество административного ресурса и «черный пиар».

Эту рефлексию можно охарактеризовать и как технократическую, инструментальную, полностью пренебрегающую ценностной, этической стороной осуществляемых реформ... Наконец, рефлексия, присущая правящей элите, ограничена и в том смысле, что не создала стратегии существования России в формирующейся системе глобального миропорядка. «Оборонное» сознание вновь актуализировалось: внутренние и внешние риски предполагается нейтрализовывать путем введения все новых защитных структур. Необходимость трансформации *самой модели социальных изменений*, позволяющей снизить уровень рискогенности в обществе, не обсуждается.

Представляется, что сегодня российское общество подошло к некоторому качественному рубежу, когда норма и патология не только все более взаимопроникают, но и меняются местами. Это порождает кризис личностной идентификации. В самом деле, если диплом – фиктивный, справка о здоровье и работе – липовая, а сама работа и вся повседневная жизнь – «с двойным дном», то кто же тогда «Я»? Здоровый и больной, честный и вор, законопослушный гражданин и член криминального сообщества – и все это одновременно? Человек не может бесконечно вести двойную жизнь, оставаясь цельной личностью. Рано или поздно эта двойственность проникает внутрь человеческого «Я» и раскалывает его. Но такое состояние не может продолжаться долго, когда речь идет о личности деятельной, активной. И тогда в сухом остатке оказывается опять же «беспредел», но *беспредел внутренний* как отказ от нормальной трудовой этики и общепринятых моральных устоев.

Общий вывод заключается в том, что теневые отношения, коррупция, криминал, загрязнение среды обитания – эти и другие риски суть неизбежные спутники социальной динамики всякого общества. Весь вопрос в том, какое место они занимают в этой динамике и как общество к ним относится. Если эта динамика осуществляется в рамках социального порядка, основой которого являются мораль и право, и если это общество рефлексирует по поводу названных рисков, складывается одна картина. Если же основа динамики – жизнь «по понятиям» и значительная часть общества считает это нормальным, то такое общество и есть общество всеобщего риска. Перед Россией стоит гигантская по трудности задача: не только затормозить, а затем и преодолеть сложившуюся социальную динамику, но и изменить отношение активного большинства общества к ней. Справится ли общество с нею, покажет время.

Л.Д. ГУДКОВ, Б.В. ДУБИН, А.Г. ЛЕВИНСОН

ФОТОРОБОТ РОССИЙСКОГО ОБЫВАТЕЛЯ¹

Адаптация к репрессивному государству

Существует ли в России общество?

Лев Гудков: В каком-то смысле да. Есть общие символы, общие verworvания, есть некое ощущение целостности. Но все постигается в сравнении. Если сравнивать с западными устройствами, наше общество очень слабо организовано, в нем чрезвычайно низок уровень солидарности. Вся целостность удерживается не столько внутренним чувством единства, сколько механически – через структуры государственной интеграции, государственного подчинения.

И в этом смысле мы очень медленно, с большим трудом и неясными перспективами выходим из тоталитарного целого, когда общества практически не существовало, а была система государственного тотального контроля, организации, распределения, где государство выступало и работодателем, и полицейским, и воспитателем, и надзорителем за семейными отношениями, и моралистом, и кем угодно.

Ведь что такое общество? Это система устойчивых связей, основанных на солидарности, взаимных ценностях, чувстве сопричастности и взаимных интересах. Подчеркну, что для социологии понятие «общество» лишено измерения власти – это такое объединение, которое не предполагает властных отношений. Если говорить об обществе у нас, то оно появляется, но еще очень слабое и неинтегрированное.

Что нас связывает

Лев Гудков: Если говорить об общих ценностях, то я бы разделил их на два принципиальных типа и уровня. Это коллективные ценности – империя, героическое прошлое, власти, которые все удерживают и обо всем заботятся. То есть это уровень коллективных символов. Он в значи-

¹ Печатается по: Гудков Л.Д., Дубин Б.В., Левинсон А.Г. Фоторобот российского обывателя // Мир России. – М., 2009. – № 2. – С. 22–33.

тельной степени декларативный: люди сегодня хотя и разделяют эти ценности, но жертвовать чем-то своим ради того, чтобы их защищать, не очень готовы.

Второй уровень – это те ценности, которые в меньшей степени декларируются, но которыми люди руководствуются. Это ценности семьи, отношений с близкими, это консолидация на самом нижнем уровне. Солидарность на таких уровнях – это не просто традиционализм и продукт нашего прошлого, но еще и тип адаптации к репрессивному государству. Надеяться можно только на своих – на родственников, друзей, коллег по работе. На тех, кому можно доверять, с кем человек вступает в личные отношения. Они являются основным ресурсом существования и выживания. Ценности этого «ближнего» круга гораздо более важны.

Проблема в том, что не возникают, подавлены или не артикулируются ценности промежуточного уровня, которые связаны с публичностью, с более дифференцированными интересами. Сама по себе структура ценностей без этого среднего уровня, который, собственно, и есть база гражданского общества, говорит о примитивности устройства. Какие-то почки, новообразования на этом уровне появляются, но они не развернуты.

Можно, конечно, говорить, что такая ущербная структура ценностей – это остатки патриархальности (фундаменталисты и националисты именно на это делают упор). Но скорее всего, это связано со стратегией выживания, стратегией приспособления: выжить можно, только надеясь на себя самого и на ближайший круг. Это определенный тип «съеживания», попытка найти комфорт в условиях общего дискомфорта.

Следы этого заметны. У нас в обществе фантастически высокий уровень взаимного недоверия. Когда мы задаем вопрос, можно ли большинству людей доверять, то 83% наших сограждан говорят: «Нельзя». Прямо противоположная ситуация – в западных демократических странах, где очень высок уровень общественной солидарности, а также уровень идеализма и где люди готовы откликаться на различные события и общественные вызовы.

Это связано с представлением о собственных возможностях – люди готовы отвечать за то, что они могут сделать. В нашей ситуации, по нашим замерам, абсолютное большинство, т.е. 90% граждан, считают, что они не в состоянии влиять ни на какие дела, которые выходят за пределы ближайшего круга. Так, 45% говорят, что максимум, на что они могут повлиять, – это на ситуацию в собственном доме и во дворе. Все остальное находится вне их контроля, они чувствуют, что над ними господствуют какие-то отчужденные от них силы, а сами они не готовы за что-либо отвечать и ни на что не рассчитывают. И такая позиция стала, если хотите, национальным характером.

Алексей Левинсон: Если бы этот вопрос задавался не через анонимные социологические анкеты, а публике на улице, то ответ был бы примерно следующим: у нас очень много общего, мы все – русские, мы объединены сейчас, как никогда, не так, как во времена, когда у нас был развал. И наверное, ощущение, переживание единства сейчас беспрецедентно высокое. Но все это – на уровне деклараций, заявлений. Если говорить о солидарности как таковой, то я полностью согласен с Гудковым. Но переживания некоей воображаемой солидарности сейчас больше, чем когда-либо. И это объясняет феномен рейтинга Путина, феномен уверенности в том, что мы – большая страна, с которой наконец начали считаться. Это внушение себе и другим, что у нас все в порядке, что мы живем «лучше всех».

Борис Дубин: Я бы добавил к тем символам, которые вроде бы объединяют наших граждан, также декоративное православие: по последним замерам, к православным себя причисляют 70% взрослых людей.

Вообще, если суммировать то, что говорили мои коллеги, можно сформулировать теорему. Если социум нацелен на то, чтобы выживать, он, как правило, будет ограничиваться ближними связями. Над ними будут подниматься какие-то общие символы, но по отношению к ним возможны только выражения лояльности, и они не требуют никаких практических действий. Этими символами могут быть православная церковь, господин Путин, наш «особый путь», наша любовь к Родине.

Мы, например, спрашиваем: «Вы являетесь патриотом России?» – 80% отвечают «да». Мы спрашиваем: «Что такое патриотизм?» – 70% отвечают, что это «любовь к своей стране». И лишь 20% – что это «желание что-то сделать для своей страны». Такой вот разрыв. Это не случайно, потому что стратегия постоянной адаптации не дает связей солидарности за пределом ближайшего круга, а может быть компенсирована только декларативным принятием общностей верхнего уровня, которые в один период могут быть порушенны, а в другой – как сейчас – могут быть мобилизованы, в том числе при активной помощи СМИ, когда те с утра до вечера поют о том, что «мы встаем с колен», что мы наконец стали большими, что нас уже начинают бояться, и т.п.

В нашем случае слабость общества компенсируется сверхмощью государства. Не то чтобы оно было действительно реально сильное, но таково его восприятие и самовосприятие людьми власти. Речь идет о знаменах, а не о реальных действиях.

Отношение к будущему

Борис Дубин: Когда мы только начинали наши замеры, в начале 1990-х годов, ситуация была катастрофическая. Например, опрос 1991 г.:

«На сколько лет вперед вы можете планировать свое будущее?» Оказалось, что 62% не знают, что будет с ними даже в ближайший месяц. На многое лет вперед и на ближайшие 5–6 лет планируют будущее в сумме 5% населения. Трудными были также 1998 и 1999 гг. – почти половина людей не могли прогнозировать ничего дальше ближайших дней и недель.

А вот ситуация 2006 г. иная. На многие годы вперед и на ближайшие 6 лет планируют свое будущее 12%. На год-два – больше 1/3 населения (вдвое больше, чем в 1991 г.). И 48% не знают, что будет в ближайший месяц, – этот показатель сократился с 2/3 в 1991 г. У молодежи ситуация еще лучше. В 2007 г. 20% в сумме могут планировать на годы вперед, половина – на ближайшие год-два и только 29% – на ближайшие месяцы и не далее.

Ситуация, несомненно, меняется – мы имеем дело с неким «плато адаптации». Это не значит, что ситуация переломилась, но явно идет адаптация. То есть ничего, жить можно, вроде стало поспокойнее, можно на пару лет вперед что-то планировать. И голосуют именно за это – чтобы все было так, как оно есть. На контрасте с тем, что по телевизору рассказывают про «страшные 1990-е», люди готовы примириться с действительностью. Тем более что возможности что-то всерьез изменить к лучшему они не видят.

Институты

Лев Гудков: Устойчивость жизни и возможность планировать появляются там, где действуют надежные, эффективные институты, которые создают организованность жизни и от которых люди не дистанцируются, не пытаются ускользнуть, в которые они включены и которым они доверяют. И они планируют свою жизнь с учетом общей стабильности.

Алексей Левинсон: Здесь важно добавить вот что. В ситуации очень остро выраженного недоверия к государственным институтам, даже в самые трудные годы, люди принимали осмысленные, стратегические решения по поводу своей жизни в том ближнем кругу, о котором говорил Гудков. Детей рожали, отдавали в школы, платя большие деньги за их образование (т.е. делали инвестиции), ремонтировали квартиры и строили дома. Было резкое разделение мира – на мир приватного, где живу я, мои близкие, где я управляю ситуацией; и остальной окружающий мир, где все рушится и валится и где нельзя ничего планировать.

То, что мы видим сейчас, – это постепенное допущение «верхних» институтов в свою приватную жизнь и проникновение этой приватной жизни куда-то вовне. Я могу планировать свою карьеру не только в том смысле, что я получу образование, но и зная, что доллар будет стоить

столько-то; а я буду хранить деньги в банке, хотя доверие к таковым декларируется как низкое.

Среди институтов, которые также надо назвать, – институт школы. Оценки этого института очень низкие, а реальные вложения в него делаются. И например, частная медицина – протезирование зубов, лечебная косметика. При очень низкой оценке медицины она процветала и процветает, и туда вкладываются деньги.

То есть общество имело дефектную структуру и продолжает ее сохранять, но этот зияющий «средний этаж» прорастает некими институциями, которые замещают гражданские. Они не являются институтами гражданского общества – они их замещают. Это «дикое мясо» на месте гражданского общества. Я имею в виду институты бизнеса, сетевые отношения, функционирующие на месте институтов, возрождение блато-дефицитарных отношений. По сравнению с нормальным гражданским обществом все это – уродство.

От нормального гражданского общества у нас есть только институты, обслуживающие витальные потребности. В армии убили сына – появляются «солдатские матери». Кинули с жильем – появляются «обманутые дольщики». Жутко обошлись с невиновным водителем – появляется организованное сопротивление водителей. Это происходит там, где какие-то ценности (отношение матери к сыну, право на свое жилье и т.д.) поставлены выше ценностей государства. Только в этой узкой зоне возникает что-то, носящее оттенок протеста и социальной организованности.

И еще. Там же, на этом этаже, живут и иные люди, сознательно ставящие свои ценности выше государственных, – это преступные сообщества. Это настоящие, сильные сообщества, с высокой солидарностью и высочайшим уровнем организации.

Как перейти к нормальному гражданскому обществу

Алексей Левинсон: Нигде в мире никогда мафия не пересосла в гражданские институты. Как только она достигает сложных систем, она прекращает там свое существование. В строительстве она есть, у докеров есть, в автомобильном бизнесе есть, а в сложном производстве, например в электронной промышленности, ее нет – там коррупция существует в других формах.

Лев Гудков: Не будем забывать, какой у нас бэкграунд и в какой зоне идут эти процессы «прорастания» гражданского действия. Две трети населения живут в деревне и малых городах, фактически от деревни не отличающихся. Нет ресурсов, нет никаких счетов даже в Сбербанке. Люди живут от получки до получки, и у них нет никаких возможностей из этого выскочить. Именно на них и ориентируется власть. Ориентируется цинич-

но – ничего для них не делает, но на них опирается, так как именно в этой среде обделенных самые сильные надежды на помощь власти. Больше надеяться им не на кого. Эти люди являются основным избирателем партии власти, обеспечивают поддержку действующему режиму.

В этом смысле существует интересный парадокс, о котором говорил еще Юрий Левада. У нас социальное недовольство не ведет к смене системы и вообще к политическим изменениям – напротив, лишь укрепляет режим, потому что оно вызывает патерналистские установки в отношении власти и требует от нее делать то, что делала власть позавчера. А те изменения, которые происходят, идут в численно ограниченной среде крупнейших городов, где развита инфраструктура, где сосредоточена самая образованная, активная и обеспеченная часть общества, где люди вписаны в гораздо более открытые системы отношений.

Борис Дубин: От отношений сетевого типа или такой закрытой солидарности, как в преступном сообществе, нет эволюционного хода к формам гражданского общества. Сообщество же самозащиты по природе реактивны, они возникают в ответ на угрозу тебе, твоему имуществу, твоей семье, они неустойчивы, легко гасятся. Они нежизнеспособны за пределами реакции на конкретный вызов. Это выплеск, это брожение. Они могут дать даже что-то вроде «ситцевых революций», когда старики и старушки выйдут бунтовать. Но власти туда кидают денежку, и все расходятся по домам. Нет лидеров, нет программы, нет структуры, а значит, нет и никакой институции, которая может воспроизвестись, нет установки на лучшее, на общий подъем. Эта структура распадается после того, как глохнет реакция на непосредственное давление.

Когда возникает настоящая собственность, а не имущество, появляется следующая мотивация: давай-ка я лучше это обойду, лучше отстегну, отдам левую ногу, чтобы выбраться из капкана и остаться живым. Это выход на блатные отношения, черные, серые сетевые связи.

Алексей Левинсон: В этом смысле термин «бизнес-сообщество» вводит в заблуждение. Наши бизнесмены в реальное сообщество не объединились: ни в рамках какого-нибудь РСПП, ни по принципу «малый бизнес» или «большой бизнес», ни на уровне города Рязани – никак. Среди них существует мода, протекают страхи и слухи. Это слабые формы общности, которые не ведут ни к каким действиям. С властью они общаются один на один. Ни одна власть ни в одном городе не боится, что бизнес-сообщество ей «сделает козу».

Приспособление к режиму

Алексей Левинсон: Примерно с 1915 по 1919 г. Россия бурно прорастала массой видов самоорганизации. Советы – это была одна из тысяч

форм самоорганизации. Кооперативы, товарищества по обработке земли, сбытовые товарищества, организации по помощи раненым – что угодно. Это захватывало массы людей. Достаточно посмотреть местные газеты: на каждой странице – десятки объявлений о собраниях, товарищеских ужинах, встречах, дискуссиях. Это была бурная гражданская, в точном смысле этого слова, активность. Все это с 1919 г. начали «брить». При этом уничтожали не только организации, которые были альтернативой партии большевиков, – уничтожали организации вообще. В этом смысле надо вводить термин «социоцид» – когда, в отличие от геноцида, уничтожаются не люди какой-то национальности, а организации.

И вот то зияние на месте «среднего этажа», о котором здесь говорилось, – это результат нашей истории, результат деятельности конкретных политических сил и людей. Известно, что внутри 58-й статьи, по которой людей уничтожали и упекали в лагеря, организация – не важно, какая – автоматически получала статус антисоветской. Не важно, кто это были – эксперантисты, аквариумисты или еще кто-то. И это заправлено в нашу генетическую память, люди действительно этого боятся.

Лев Гудков: Это то, с чего мы начали разговор. Самая серьезная социологическая проблема, на которую мы наталкиваемся на протяжении 15 лет, – это наш человек с его опытом приспособления к репрессивному режиму. И это фундаментальнейшая вещь, которая блокирует и стерилизует любые формы социализации, солидарности. Мы по-разному видим, как люди приспосабливаются. Через коррупцию, через семейнородственные неформальные связи. Каждый по отдельности ищет возможности приспосабливаться. Через коррупционные сделки у государства выкупается его функция. Притом что государство выступает в виде конкретного человека, нельзя внести деньги в банк и выкупить иммунитет у государства как такового.

Алексей Левинсон: Вот это индивидуальное откупание от государства уничтожило ростки универсализма в нашей культуре. Все, что имеет общность, либо должно получить санкцию государства, либо это «заемные», западные ценности.

... Реформы или стабильность

Не надо дергаться

Борис Дубин: Я бы поставил вопрос так: чего люди больше желают – гарантий или перемен? Ничего не менять, оставить все как есть, чтобы было «не хуже», или должны быть какие-то изменения? Если обратиться к цифрам, то на сегодняшний момент соотношение примерно таково: 30–35% говорят, что нужны решительные перемены, а 60–65% считают, что надо осторожнее, что не надо сильно «дергаться». Что за этим стоит?

Во-первых, мы живем в стране в основном «подопечных» людей, т.е. тех, кто привык к государственной опеке. А во-вторых, у значительной части переживших 1990-е годы – довольно негативный опыт прошедших реформ. Тем более что их собственные ощущения сильно подкрепляются ощущениями людей «таких же, как они», а также действиями СМИ (в основном ТВ), которые красят 1990-е годы в такие краски, что 2000-е годы на их фоне выглядят идиллией. А 2000-е и на телеэкране, и в массовом сознании – это годы, когда к нам «вернулась стабильность». Стабильность же – это, по мнению более 50% опрашиваемых, прежде всего возможность жить на пенсию и зарплату.

Если говорить о группе, которая сумела использовать возможности (сначала она сумела их увидеть) и что-то выиграла, то она за последние годы несколько увеличилась. Если в 1990-е годы и в начале 2000-х годов эта группа стабильно составляла 7–8%, то за последние годы она выросла до 11–12%. То есть сложилась группа людей, которые смогли так или иначе оседлать обстоятельства и повернуть их в свою пользу. Однако, по нашим данным, эти люди никаких резких перемен тоже не хотят, высказываясь за ту же стабильность, за тот же политический порядок, который сложился к сегодняшнему дню, – лишь бы он не слишком сильно им докучал.

Так что в целом символика и проблематика перемен в сегодняшней России не в чести. «Верхи» ее не поддерживают, настаивая на том, что они воплощают стабильность, порядок и, как ни странно, демократию. А население в целом эту оценку принимает, в том числе – относительно демократии. В частности, 40% опрашиваемых на вопрос «что у нас в стране происходит в политическом смысле?» устойчиво отвечают, что «идет строительство демократии».

Весь опыт сзади

Лев Гудков: Хотелось бы вернуться к периоду возникновения проблематики реформ, т.е. к перестроичному времени. В середине 1980-х, несмотря на то что было повсеместное ощущение застоя и погружения в трясину, общество не было готово к переменам, и никаких особых планов реформ (ни практических разработок, ни даже общих ориентиров для изменений) не было. При этом к моменту начала наших исследований – 1988–1989 гг. – среди населения, особенно в образованных слоях, распространилось ощущение, что страна оказалась на обочине истории.

Но чего же ждали люди? Примерно того же, что и было, но в чуть лучшей форме. Чуть более гуманной, терпимой и заботливой власти, чтобы не так давила интеллигенцию, чтобы руководство страны озабочилось повышением жизненного уровня населения страны, чтобы была справед-

ливость, чтобы не было привилегий у номенклатуры. Иначе говоря, все основные установки укладывались в образ «социализма с человеческим лицом», это были исключительно патерналистские ориентации.

Итак, все ждали перемен, а в чем они должны были заключаться, ни интеллигенция, ни власть, ни тем более массы не знали. Те, кто был чуть лучше готов – часть экономистов, – в импровизационном порядке сочиняли перемены, надеясь, что рынок, если его запустить, сам все отрегулирует. Поэтому все произошедшее позже было в значительной степени неожиданным, шоковым, и надежда на чудо – что освобождение от советской власти все расставит на места, а «Запад поможет», – не оправдалась. Возникла активная реакция консервативного толка на перемены: раздражение, усталость от реформ, рост ностальгии по прошлому, идеализация брежневского застоя как золотого времени стабильности, умеренного достатка и предсказуемости. Усиливалось раздражение на реформаторов, демократов.

Эти настроения приняли особо четкие очертания к середине 1990-х годов. Именно тогда начинается рост ксенофобии, национализма, раздражения против Запада, против демократии и жажда порядка и стабильности. Этому способствовали и внутриполитические потрясения 1993–1994 гг., и начавшаяся чеченская война со всеми вытекающими последствиями: жертвами, терроризмом и т.д. Это чувство нестабильности усилилось после дефолта 1998 г., который очень сильно ударил по людям. Даже не столько по их материальному положению, а психологически – жизнь вроде бы только стала налаживаться, а тут сильный удар, который поставил под вопрос само будущее. На этом фоне и возникла мощная потребность в вожде, в человеке, который бы вывел страну из кризиса, притормозил реформы, занялся наведением порядка, борьбой с преступностью и, главное, повышением жизненного уровня народа.

К началу президентства В.В. Путина сложилось несколько факторов: рост отечественной промышленности, необыкновенно благоприятная конъюнктура на нефть, жажда порядка и перенос этих консервативных ожиданий на новую власть. В массовом сознании именно она стала источником благоденствия, стабильности и роста доходов. И что бы мы ни говорили, надо признать, что за 7 лет (с 2000 по 2007 г.) число абсолютно бедных, которым не хватало средств на самые жизненно важные потребности, сократилось в три раза.

Самое же важное, что произошло, – это некоторое успокоение. Не вера в лучшее будущее – она отсутствует, – но некоторое успокоение, появление ощущения, что такие потрясения, катастрофы, какие были в 1990-х годах, больше не повторятся. В этом смысле, как говорил Жванецкий, весь опыт сзади. Поэтому отношение к реформам такое: да, нужны изменения, но лучше проводить их постепенно, осторожно, ни в коем случае

чае не нужны решительные, радикальные меры. Не надо делать резких движений и рисковать.

Недовольство властью остается достаточно высоким (больше половины опрашиваемых положением в стране недовольны). Но это, как говорил Юрий Левада, «лояльное недовольство». Оно становится менее интенсивным: люди в большинстве своем привыкают к действительности, считая, что перемены в стране произошли большие. Правда, желаемое не достигнуто, чуда не произошло, но с существующей ситуацией можно смириться.

Борис Дубин: Общая идея такова. Если все останется так, как есть, если будет не хуже, то это вполне приемлемо. Сейчас уровень готовности граждан принять участие в массовых волнениях против экономической политики правительства – самый низкий за всю историю наших замеров. Особенно мало тех, кто лично готов к действиям протеста. Если же посмотреть на динамику настроений граждан, то мы наблюдаем, что настроение медленно, но улучшается.

При этом люди все больше ссыкаются с идеей единого правителя, у которого будто бы вся власть, но ни перед кем никакой ответственности (он тут один – сузорен, все остальные – вассалы). Если в 1989 г., когда мы начинали наши исследования, лишь около 20% считали, что надо отдать власть в одни руки и тогда будет порядок, а вдвое больше людей считали, что никогда этого не надо делать, то ныне эти песочные часы перевернуты: 45–50% считают благом концентрацию власти в руках одного человека, а тех, кто против нее, менее 20%.

Нет ни проекта реформ, ни реформаторов

Алексей Левинсон: В период перестройки имелась программа реформ клуба «Перестройка». Была рассеянная в обществе программа, которую можно было бы назвать сахаровской. Сейчас ничего подобного нет. Нет ни имен потенциальных реформаторов, ни тех пространств, в которые, по их мнению, Россия могла бы переместиться с того места, на котором она сегодня находится. Нигде, ни у кого нет никакого проекта реформ, в том числе государственного. Ибо существующие государственные проекты – это либо обещания достичь величия России, либо производственные планы насчет ВВП и тому подобное. В любом случае это не то, что можно соединить со словом «реформа» в его прежнем смысле. Когда теперь говорят «реформа», это означает – что-то немного улучшить. То, что раньше называлось реформой, несопоставимо с нынешним смысловым наполнением этого слова. Недовольство прошлыми реформами и зачастую ненависть по отношению к ним, может быть, остаются в силу инерции, но

объекта этих чувств уже нет. Никаких реформаторов, повторю, сегодня нет нигде.

И второе: в качестве проекта в 1980-е существовал Запад, было представление, что наше прошлое – это тупиковая ветвь, нам надо вернуться на магистральный путь развития. И можно было предложить, например, «жить, как в Европе». Сейчас такой мысли ни у кого нет – и быть не может. С одной стороны, Запад стал ближе, о нем много известно, люди туда ездят, а многие там живут и работают. Потратив много денег, можно себе и в России обеспечить быт, «как на Западе». У всех этих решений статус бытовой, но не политический и не идеологический. А то, что Россия может двинуться по западному пути, – эта мысль уже публично не высказывается.

Лев Гудков: Большинство согласились с тем, что у России «особый путь». В чем он заключается, никто не знает, да это и не важно. Важен акцент на то, что мы сами по себе и никакие стандарты к нам применить невозможно.

Борис Дубин: Была еще одна важная составляющая проекта реформ (особенно при «раннем» Ельцине) – вернуться в дореволюционную Россию, «которую мы потеряли», вычеркнуть из истории советский период. Теперь эта идея ушла, восстановлено «позитивное» отношение к советскому прошлому. Оно стало «нашим», его приняли со многими его символами, с его гимном. При этом, правда, не отказались и от дореволюционной России – скорее эти две России оказались связаны между собой. В отличие от ельцинских идеологов, которые были склонны рассматривать СССР как девиацию, нынешние идеологи выстроили прямую линию преемственности. Все это, как поет Газманов, наша страна: и Романовы, и ГУЛАГ, и Сахаров, и стройки пятилеток – все это наше единое прошлое.

Алексей Левинсон: К этому единому целому принадлежит и путинское время. Вот на этом пространстве мы и топчемся.

Борис Дубин: При этом, обратите внимание, из этого прошлого-настоящего оказались начисто изъяты «лихие 1990-е», на их месте – черное пятно.

Неустойчивая стабильность

Лев Гудков: Очевиден факт провала всех решительных, фундаментальных реформ. Одиннадцать попыток реформировать армию, превратив ее из массовой мобилизационной в профессиональную, провалились. Попытка создать независимый суд, который бы результативно защищал интересы населения, а не власти, полностью не удалась. А соответственно нет никаких форм защиты собственности от административного аппарата и поддержания реальной стабильности. Однако, согласно результатам све-

жего нашего исследования российского среднего класса (не менее 2 тыс. долларов месячного дохода на человека), у нас в стране эпоха стабильности вроде бы наступила. Но что это за стабильность, если даже 60% тех, кто констатирует ее наличие, говорят, что она ненадолго? И что она столь неустойчива, что может обрушиться в ближайшее время?

Этот парадокс отражает ощущение, что в наступивших изменениях нет институциональной опоры. Ибо уверенность задается лишь эффективно работающими институтами: судом, правовой системой в целом, разделением властей и их контролем друг за другом, открытой и эффективной прессой, настоящим парламентом и прочими. Ничего этого в нашей жизни нет, а значит, есть неуверенность, ощущение ограниченности горизонта.

Алексей Левинсон: Интересно, что в последнее путинское время, т.е. накануне и в ходе смены власти в Думе и на посту президента, у представителей мелкого и среднего бизнеса возникла своего рода ностальгия по «предпоследнему» путинскому времени. Фокус-группы накануне выборов показали, что бизнес почувствовал нестабильность, ему стало хуже. Например, Медведев сказал, что будет заниматься проблемами малого бизнеса. Казалось бы, все замечательно, но оказывается, что эти заявления, как ни странно, заставили бизнес нервничать. Потому что Медведев послал тем, кто жириует на малом бизнесе, сигнал, что он заберет его из под них, и они рванули брать все что можно, пока не стало поздно. Таким образом, ожидание перемен к лучшему обернулось для бизнесменов ростом поборов, неустойчивости, нарушением сложившихся правил игры.

Российский бизнес давно выдвинул свой вариант отношений с властью: не мешайте, мы сами все сделаем. Не надо законов – мы оплатим все. Потому что если известны таксы и известно, кому платить, то все это уходит в себестоимость, и можно жить спокойно. Но когда приходят дважды, вместо того чтобы прийти один раз, то это уже опасно. Идеальное состояние для мелкого бизнеса – это чтобы на него не обращали внимания, не трогали.

Борис Дубин: Мы имеем дело с ярко выраженным адаптивным обществом. Самые разные группы ориентированы на адаптацию, а не на изменения. Мы задавали вопросы представителям так называемого среднего класса (их в стране – несколько процентов, какая же это середина?), и 60% среди них принимают нынешнюю незаконную ситуацию. Потому что они знают, как себя вести. Они предпочитают договориться, а не доводить дело до суда; платить за медицину, если им дадут надежду, что «сделают нормально». Платить – это характерно – за норму, а не за повышенное качество.

Лев Гудков: Все понимают, что власть сегодня – у силовиков и связанных с ними крупного бизнеса. Поэтому пытаются дергаться при такой политической ситуации (власть оперирует милицией, спецслужбами, су-

дами, прокуратурой, налоговиками) бессмысленно. Можно лишь приспособливаться, уменьшая давление и риски, покупая услуги у государства. Поэтому никакого серьезного представления о будущем у людей нет. В случае ухудшения ситуации более обеспеченные готовы думать, как из страны слизнуть. Причем они в первую очередь думают о детях – ведь бизнес весь не вывезешь.

Спрос на свободу

Алексей Левинсон: Всегда важно увидеть процесс перехода слов и ценностей из рук одной социальной группы к другой. Это относится и к категории свободы. Не случайно сегодня о свободе мы слышим не откуда-нибудь, а из Кремля. Это означает, что понимание свободы стало иным. Накануне парламентских выборов прошлого года мы задавали вопрос: «Чувствуете ли вы себя свободным человеком?» И получили феноменальный результат: более половины жителей России ответили «да». И если этих людей что-то выделяет из массы россиян, то лишь тот факт, что они в большинстве сообщали о своем намерении: «Буду голосовать за “Единую Россию”». Вот сегодняшние поборники свободы! Эти цифры оставляют мало места для иронии и напоминают недавнюю формулу о том, что «мы строим демократическое общество с президентом Путиным во главе».

Когда-то Путин воспринимался как главный демократ, потому что он принял эстафету из рук Ельцина, но потом изменилось само понимание слова «демократия». Недавно мы задавали вопрос: «Что для вас важнее – права человека или порядок в государстве, свобода слова и свобода выезда или нормальная зарплата и приличная пенсия?» Оказалось, что порядок предпочтительнее прав человека, а свобода выезда и свобода слова предпочтительнее, чем хорошая пенсия и зарплата. Перевесы не очень большие, но они есть. При пересечении этих высказываний мы выяснили, что в обществе есть небольшая категория (примерно 12%) тех, кто выступает за «хлеб и порядок», а свободы и прав им не нужно. Около 30%, безусловно, – за права и свободы, этакие романтики свободы, для которых не имеют значения материальные блага. Но самое интересное – это остальные опрошенные, которым в одном случае важнее свобода, а в другом – блага. Это концепция свободы как ценности релятивизированной, относительной, о которой можно торговаться. Если свобода перестает быть ценностью абсолютной, она может раздаваться, дариться и продаваться, как прочие блага и меновые ценности. Тогда власть ею может наделять тех, кто заслужил.

Борис Дубин: Мы вновь возвращаемся к тому, с чего начали: возможности или гарантии; реформы или статус-кво? Как видим, преобладающая часть населения – до 60% – не против свободы. Особого желания

отправиться в лагерь или казарму вроде бы нет. И все-таки свобода для наших соотечественников не главное, а главное – порядок, стабильность, регулярная и постепенно повышающаяся зарплата или пенсия, чувство собственной защищенности. Связь между всем этим и свободой не просматривается. Ноу-хау развитых обществ – соединение идей самостоятельности, солидарности, свободы и соревнования – не привилось. У нас все это порознь, а главное – пусть все будет как есть.

Лев Гудков: Главный мотив наших граждан – «не доставайте». Оставьте в покое, не напрягайте, не давите сверх меры! Мы готовы вас всех терпеть, но не переступайте черту. Главная интенция масс – обеспечьте нам некоторые условия более-менее комфортного существования. За это мы готовы отдать все что хотите.

Борис Дубин: Примерно 57% опрошенных считают, что в стране достаточно свободы, 24% считают, что ее слишком много, и только 12% – что ее слишком мало.

Лев Гудков: Упомянутые 12% – это те, кто как-то информирован о том, что такое демократия, это люди более образованные, с культурным капиталом, ориентированные на расширение своего мира и возможностей. Это и интенсивно работающие люди, не нуждающиеся в государственных гарантках, с минимальными патерналистскими ориентациями. Для большинства же населения (в отличие от этих 12% и той четверти населения, которые к самой идее свободы относятся, видимо, с неприязнью) свобода не является проблемой, это не то, о чем стоит задумываться.

Г.Г. ДИЛИГЕНСКИЙ

«ЗАПАД» В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ¹

Отношение российского общества к Западу – к базовым ценностям западной (или «атлантической») цивилизации, к общественному устройству стран западной демократии – один из важнейших факторов исторического развития России и динамики современной глобальной ситуации. В России оно неразрывно связано с традиционной для нее проблемой «выбора пути», неоднократно возникавшей в прошлом и вновь резко обострившейся на рубеже XX и XXI веков. В глобальном плане от сближения или расхождения России с западным миром в экономической и социальной, культурной и политической сферах во многом зависит облик мира в наступающем веке.

Разумеется, отношение россиян к Западу складывается под воздействием актуальных потребностей и проблем их собственного общества, явлений и событий международной жизни, зависит от того, какое отражение находят все эти проблемы, явления и события в доступном российским гражданам информационном поле. Но данное отношение не может быть объяснено только как продукт современных социально-политических и информационных процессов. Это *культурный феномен* и как таковой отражает не только актуальный, но и прошлый опыт, в той или иной мере и форме воспроизводит исторически сложившиеся архетипы национального сознания. Можно утверждать, что определенное восприятие «другого», и прежде всего западного, мира образует органический, структурный компонент национального самосознания, идентичности русского народа. Возможно, оно отличается в этом отношении от «самодостаточного» самосознания многих народов Запада и Востока, вырабатывающих собственную идентичность без особой оглядки на «других».

«“Парадигма” противостояния России “Западу” как целому, – отмечает Ю. Левада, – оформилась лишь в XIX веке, после наполеоновских войн и обладает многими характеристиками позднего социального мифа... Образ “Запада” во всех его противостояниях (официально-идеологичес-

¹ Печатается по: Диленский Г.Г. «Запад» в российском общественном сознании // Общественные науки и современность. – М., 2000. – № 5. – С. 5–19.

ком, рафинированно-интеллигентском или простонародном) – это прежде всего некое превратное, перевернутое отображение своего собственного существования (точнее, представления о себе, своем). В чужом, чуждом, запретном или вожделенном видят прежде всего или даже исключительно то, чего недостает или что не допущено у себя. Интерес к “Западу” в этих рамках – напуганный или завистливый, все равно – это интерес к себе, отражение собственных тревог или... надежд¹. Этот, по выражению Левады, «комплекс зеркала» объясняется многими критическими переломами и перипетиями русской истории, на которых мы не будем останавливаться подробно.

Последнее десятилетие ознаменовано резкой вспышкой борьбы национал-патриотического, традиционалистского и либерально-западнического направлений, стремящихся обрести поддержку среди россиян. Однако, сопоставляя сильные и слабые стороны «посланий» обеих сторон, легко убедиться, что они обладают одной общей чертой. Ни в той ни в другой не находят значительного отражения насущные социально-экономические интересы и потребности основной массы населения. Национал-патриоты активно спекулируют на этих интересах, но в действительноности подчиняют их целям реставрации Империи. Их апелляция к социальной справедливости – всего лишь популистский лозунг, не оказывающий существенного влияния на реальную политику соответствующих партий и движений. Западники-либералы склонны относить удовлетворение насущных интересов людей к более или менее отдаленному будущему, рассматривать их как продукт достаточно трудного и длительного процесса либерализации экономики. Возможно, их проект не имеет рациональной альтернативы, но от этого он не становится более привлекательным для людей. В результате ни той ни другой доктрине не удается подчинить своему влиянию основную часть россиян, превратиться в их собственную идеологию.

Как отмечает К. Холодковский, «если в элитных кругах России, интеллектуальных и политических, конфликт западничества и почвенничества носит последовательный концептуальный характер (по принципу «или-или»), то в широких массовых слоях общества он нередко размыт...»². По данным эмпирических исследований, доля россиян, полагающих, что Россия должна ориентироваться полностью или частично на западные ценности, составляла в середине 90-х годов примерно 15%, в том числе примерно треть предпринимателей и студентов, более четверти

¹ Левада Ю. Советский человек и западное общество: Проблема альтернативы // Левада Ю. Статьи по социологии. – М., 1993. – С. 180, 181.

² Холодковский К. О корнях идейно-политической дифференциации российского общества // Человек в переходном обществе. – М., 1998. – С. 64.

управляющих и молодежи 16–25 лет¹. Таким образом, «западники», в той или иной степени сознательно считающие себя таковыми, в России, скорее, маргинальная группа: лишь в элитных, ориентирующихся на рыночную экономику слоях и среди молодежи – «детей перестройки» они представляют более значительное меньшинство. Хотя людей, ориентирующихся на «традиционно русские ценности», в три раза больше², выбор этого большинства обусловлен, скорее, расплывчатым чувством национального самолюбия и не носит идеологического и политического характера.

Точнее уровень влияния национал-патриотической идеологии отражает относительно низкий статус ее важнейшей ценности – патриотизма в российском обществе. Так, в 1998 году лишь 10,5% опрошенных назвали патриотизм наиболее важной для себя ценностью³. В 1999 году лишь 16% включили патриотизм в число лозунгов той партии или политики, за которые они стали бы голосовать на выборах⁴.

Этот на первый взгляд удивительно низкий рейтинг патриотизма свидетельствует не об отсутствии любви к Родине, а, скорее, об ассоциации данного термина с идеями милитаризма и мобилизации во имя реставрации империи, отвергаемыми большинством россиян. В 1998 году 76,3% опрошенных полагали, что для укрепления своего престижа в мире Россия должна добиться экономического подъема, и только 10,6%, что ей необходимо для этого «крепить свою военную мощь». Далеко не бесспорен для большинства и приоритет великодержавного статуса над свободой и правами личности. Тогда же с тезисом «свобода и права человека стоят того, чтобы отказаться от статуса великой державы», согласились 26,3%, не согласились 31,5%, а промежуточную позицию заняли 25% опрошенных⁵.

Характерно, что лозунги законности, мира, прав человека, порядка и безопасности собрали в 2–3 раза больше сторонников, чем патриотизм, а «патриотов» среди людей с высшим образованием оказалось в полтора раза больше, чем в среднем. Для большинства россиян потребности, рождающиеся из повседневной жизнью, и сохранение мира намного важнее любых «общих идей», а наиболее благоприятной «средой приема» (как и для либерально-западнической) идеологии являются не самые массовые, но относительно «элитарные», более идеологизированные слои общества. В целом антагонизм твердых западников и национал-патриотов – это кон-

¹ Клямкин И., Лапкин В. Русский вопрос в России // Полис. – М., 1995. – № 5. – С. 82.

² Там же.

³ Современное российское общество: Переходный период: Результаты социологического опроса населения России, проведенного в декабре 1998 г. / Под ред. В.А. Мансурова. – М., 1998. – С. 23.

⁴ Сообщения Фонда «Общественное мнение». – М., 1999. – № 49. – С. 32, 33.

⁵ Современное российское общество: Переходный период... – С. 21.

фликт меньшинств, составляющих в совокупности примерно 30% взрослого населения¹.

Западные ценности и массовое сознание

Отношение большинства российского общества к Западу значительно более амбивалентно, складывается и эволюционирует под влиянием ряда нередко противодействующих друг другу факторов. Среди этих факторов в особую группу можно выделить когнитивный компонент соответствующих диспозиций – те представления о западном образе жизни, которые укоренились в российском массовом сознании. По данным В. Лапкина и В. Пантинова, основанным на опросах 1993–1996 годов, в качестве «западных» респонденты чаще всего идентифицировали такие ценности, как предпримчивость (42%), богатство (39%), неприкословенность частной собственности (37%), свобода выбора убеждений и поведения (33%), прибыльность труда (32%), профессионализм (30%), гарантии политических прав (29%), невмешательство государства в частную жизнь граждан (29%)². Характерно, что эти представления, насколько позволяют судить межстрановые сравнительные исследования, часто не совпадают с реальной иерархией ценностей западного человека и отражают, скорее, те неудовлетворенные потребности русских респондентов, которые, как они полагают, намного лучше удовлетворяются на Западе. Так, в сознании американцев «материальные ценности» (богатство, прибыль и т.п.) занимают более скромное место, чем у россиян, а, например, ценность терпимости, весьма важная для американцев, мало популярна у русских и не идентифицируется ими в качестве «западной». Это перевертывание наиболее остро переживаемых собственных «дефицитов» в преимущества и ценности других весьма характерно для образа Запада в русском сознании.

С психологической точки зрения такая ситуация означает, что на когнитивный компонент диспозиции – образ Запада – оказывает влияние его мотивационный компонент. Еще более явно это влияние проявляется в фильтрации западных ценностей – в отборе тех из них, которые воспринимаются как наиболее приемлемые для российских условий. Отвечая на соответствующие вопросы, русские респонденты значительно реже, чем при идентификации западных ценностей, говорят о «деловитости» и о «неприкословенности частной собственности» (21%), о «богатстве» (13%), о «невмешательстве государства в частную жизнь граждан» (19%) и совсем не упоминают «предпринимательство», чаще других упоминавшееся

¹ Дилигенский Г.Г. Дифференциация или фрагментация? (О политическом сознании в России) // Мировая экономика и международные отношения. – М., 1999. – № 10. – С. 42.

² Лапкин В., Пантин В. Ценности постсоветского человека // Человек в переходном обществе. – М., 1998. – С. 20.

при перечислении западных ценностей. Зато на первое место здесь выходит «профессионализм» (30%), а за ним следует «свобода выбора убеждений и поведения» (23%)¹. Высокий рейтинг профессионализма объясняется, очевидно, тем, что эта «западная» ценность легче других совмещается и с традиционными русскими (мастерство, умение), и с советскими ценностями, обусловленными высоким престижем и массовым распространением специального образования, большим удельным весом специалистов в социальной структуре советского общества. В то же время именно дефицитом профессионализма в сферах экономики, управления, политики как советские люди, так и нынешние россияне склонны объяснять отсталость своего общества по сравнению с западным. Что же касается свободы, то причины привлекательности этой «западной» ценности для вчерашних советских людей вряд ли нуждаются в объяснении.

Высокий престиж западной модели в современном российском обществе доказывают многие социологические данные. Согласно опросам ВЦИОМ, в конце 1992 года – через год после начала рыночных реформ – в качестве «наиболее разумного пути развития России» 34% опрошенных выбрали тот или иной вариант западной модели (11% – «капиталистическое общество, как в США», 23% – «социал-демократическое общество, как в Швеции»). 14% предпочли «общество социалистического типа, подобное советскому», 23% – «уникальный, специфический русский путь». В последующие годы убеждение в необходимости интеграции России в остальной, т.е. прежде всего в западный, мир поддерживалось большинством общественного мнения. В 1994 году 71% опрошенных согласились с утверждением «хватит отгораживаться от людей, Россия должна как можно скорее включиться в мировую экономику, политику, культуру»². В 1997 году, несмотря на массовое недовольство результатами либеральных реформ, 47,1% опрошенных выбрали в качестве модели будущего развития России «государство с рыночной экономикой, демократическим устройством и соблюдением прав человека, подобное странам Запада», и только 17,7% – «государство с совершенно особым устройством и особым путем развития»; 20,6% высказались за «социалистическое государство с коммунистической идеологией типа СССР»³.

Важно понять, какое конкретное содержание вкладывает в понятие «западного пути» то относительное (от трети до половины) большинство россиян, которое готово выбрать этот путь для России. Совершенно очевидно, что на фоне бедности и отсталости собственного общества их при-

¹ Лапкин В., Пантин В. Ценности постсоветского человека... – С. 21.

² Экономические и социальные перемены: Мониторинг общественного мнения. – М., 1997. – № 2. – С. 21.

³ Зубов А. Границы разломов и уровни единства в сегодняшней России: Уроки социологического исследования // Политика. – М., 1998. – № 2. – С. 97.

влекает прежде всего высокий уровень жизни на Западе, его материальная культура, комфорт, сильная эффективная экономика. В 1998 году, отвечая на вопрос, какая страна может послужить примером для России, респонденты, в частности, так определяли критерии своего выбора: «где выше уровень жизни», «где люди живут в достатке», «Канада – сельское хозяйство, Германия – промышленность, Швеция – социальная среда», «любая более развитая страна», «та страна, где лучше живется простым людям»¹. Намного сложнее вопрос о том, как относятся россияне к основным ценностям западного образа жизни. В какой-то мере на него позволяют ответить их мнения по поводу конкретных проблем и направлений преобразований, осуществленных или осуществляющихся в постсоветской России.

Наиболее краткая стереотипная и аксиоматичная формула основополагающих ценностей западного общества для всех тех, кто эти ценности разделяет, заключена в двуедином его определении как общества «свободного и демократического». Для западного человека обе стороны этого определения неразделимы и почти синонимичны. В современном российском обществе они соотносятся иначе: свобода не отождествляется с демократией и ценится значительно выше. По данным Лапкина и Пантиня, ценность свободы значима почти для половины (47%) россиян, демократия – только для одной пятой (21%)². По данным многих опросов, в качестве важнейших положительных результатов демократических реформ большинство признают свободу слова и печати, около половины – свободу выезда за рубеж и свободу предпринимательства. Значительно ниже оцениваются в российском обществе права на участие в политической жизни и независимую социальную активность граждан, образующие основу демократических порядков. Так, в 1994 году лишь меньшинство (29%) опрошенных считали свободные многопартийные выборы положительным результатом реформ, относительное большинство (33%) полагали, что эта новация принесла больше вреда, чем пользы, а 23% признали полезным и 36% вредным право на забастовку. В 1998 году лишь 23,2% опрошенных признали важным для российского общества создание негосударственных объединений и организаций, 28,8% сочли это неважным и 21,5% не имели мнения по этому вопросу³.

Разрыв между ценностями свободы и демократии коренится в традиционных, архетипических особенностях русского менталитета. Мечта о свободе издавна жила в русском народе, обретенном историей на много вековую зависимость от деспотической власти царя, чиновника, помещика. Но мечтал он не о свободе в западном понимании, предполагающем ее

¹ ФОМ-ИНФО. – М., 1998. – № 26. – С. 5.

² Лапкин В., Пантин В. Ценности постсоветского человека... – С. 29.

³ Современное российское общество: Переходный период... – С. 27, 28...

включение в определенный общественный порядок, регулируемый законом, в систему политических и правовых институтов. Свобода по-русски выражалась понятием *воли*, одновременно имеющим в переводе на западноевропейские языки смысл *will*, *volonte*, *Wille*, означающим, по словам русского философа Г. Федотова, «возможность жить... по своей воле, не стесняясь никакими социальными узами... воля всегда для себя»¹. Эта чисто индивидуальная, не ограниченная социальными нормами и законом свобода выражает преимущественно стремление к бегству от общества, а не к установлению альтернативного общественного порядка. Уже поэтому такое понимание свободы слабо ассоциируется логически и психологически с представлением о демократии.

Отсутствие или слабость в русской политической культуре демократической традиции – факт достаточно известный. Уже само по себе это обстоятельство предопределяет громадные трудности освоения демократических ценностей и особенно демократической практики постсоветским российским обществом. Еще больше усугубила эти трудности неспособность постсоветских политических элит (как правящих, так и оппозиционных) осуществить последовательное развитие демократических институтов: оно ограничилось введением выборности органов власти, демократических свобод, легитимацией политического и идеологического плюрализма, но не преодолело традиционно авторитарного характера отношений власти, ее отчуждения от общества. Наиболее очевидными для рядовых граждан последствиями демократизации стало «перетягивание каната» между законодательной и исполнительной, федеральной и региональной властями, возрастающая дисфункциональность государства, беспорядок в обществе, коррупция бюрократических структур.

Все эти негативные явления, разумеется, не могли повысить и без того не особенно высокий престиж демократии, но не привели, как свидетельствуют приведенные выше данные, к тотальной дискредитации западной демократической модели. Скорее, они подвели многих россиян к мысли о том, что «принципы западной демократии несовместимы с российскими традициями» (с этим суждением в ходе опросов соглашаются от трети до половины респондентов и Фонда «Общественное мнение», и ВЦИОМ). Но в 1996 году 70% респондентов, отвечая на вопрос, какие страны они считают образцом для развития России, выбрали страны Запада и только 12% – СССР, Кубу, Северную Корею. Образ демократии в ее западном варианте играет для многих россиян роль общественного идеала. «Лучше не придумали, – говорят такие люди, отвечая на вопросы анкет,

¹ Федотов Г. Россия и свобода // Русские философы: Антология. – М., 1996. – С. 183.

например ВЦИОМ, о целесообразности развития демократии, – надо быть со всеми».

Содержание этого идеала крайне туманно. Он чаще представляет собой выражение протesta против советского и нынешнего авторитаризма, чем определенную цель. В 1993 году лишь 9%, а в 1996 году 12,7% опрошенных заявили, что имеют ясное представление о демократии, соответственно, 50% и 41,3% выбрали формулировку «мало знаю, что это такое» или затруднились ответить. В 1996 году большинство (56,5%) согласились с тезисом «главная проблема становления демократии в России – люди сами не знают, что для них было бы лучше».

Неясность российского демократического идеала не означает, что в него вообще не вкладываются достаточно определенные потребности и стремления. Какая-то часть россиян ассоциирует его со свободой, другая – и таких большинство – со всем тем, чего им недостает в сегодняшней жизни (такова, очевидно, особенность любого общественного идеала). А недостает им в постсоветской России прежде всего гарантии социальной защищенности их жизненного уровня, профессионального статуса и рабочего места, удовлетворительного пенсионного обеспечения, медицинского обслуживания, воспитания и образования детей. Все эти дефициты переживаются тем болезненнее, что социалистическое государство, разрушенное в начале 90-х годов, давало такие гарантии: в Советском Союзе низкие по сравнению с Западом доходы населения, товарный дефицит и часто плохое качество жизни (в сферах экологии, охраны здоровья, жилищных условий и т.д.) сочетались со стабильностью материального и социального положения людей, широким набором гарантированных социально-экономических прав, бесплатных или дешевых услуг. Утратив эти преимущества государственно-патерналистской системы и не получив взамен в своем подавляющем большинстве компенсирующего их роста частных доходов, россияне хотели бы восстановить утраченное, и это стремление естественно влияет на содержание их демократического идеала.

Признаком демократии, как явствует из социологических данных, большинство российских граждан считают защиту прав человека, и эта позиция на первый взгляд не отличается от «западных» представлений. Однако сами эти права то же большинство понимает иначе, нежели на Западе: на первом месте для него стоят права материальные, социально-экономические. Так, в 1994 году 64% опрошенных наиболее важными сочли права на образование и социальное обеспечение, 49% – на хорошо оплачиваемую работу, 33% – на гарантированный прожиточный минимум. Демократические права и свободы оказались на последних местах: свобода слова – 18%, вероисповедания – 14%, выезд за границу – 11%, выбор своих представителей в органы власти – 9%, на получение информации –

8%¹. Для массовых российских представлений о демократии характерно, что вопреки буквальному смыслу этого понятия относительно незначительное место в них занимают отношения с властью. Так, в опросах середины 90-х годов определение демократии формулой «власти избираются народом» поддерживало только 5–7% опрошенных, а формулу «соблюдаются права человека» (возможно, в описанном выше их понимании) – 29%. Как отмечает Левада, «патерналистское сознание воспринимает демократию прежде всего как милостивую заботу правящей элиты о своих подданных... опросы общественного мнения неизменно показывают, что признаками демократии считаются соблюдение порядка и поддержание благополучия»².

Государственно-патерналистский опыт социальной защиты, несомненно, влияет и на отношение россиян к опыту западному. *Во-первых*, негативные социальные последствия реформ 90-х годов порождают ностальгию по «реальному социализму», разочарование в западной модели – судя по нашим данным, это явление характерно для некоторых слоев интеллигенции, в советский период наиболее подверженной западническим влияниям³. *Во-вторых*, сама западная модель дифференцируется: наиболее привлекательными оказываются страны с сильной системой социальной защиты. Следуя формулировкам социологических анкет, большинство респондентов предпочитает «социал-демократическое общество» «капиталистическому», западноевропейский опыт американскому, наиболее привлекательным оказывается пример скандинавских стран, особенно Швеции.

Наиболее сильное влияние государственно-патерналистский синдром оказывает на восприятие российским обществом западной экономической системы. Можно утверждать, что *принципы рыночной экономики проникают в российское сознание со значительно большим трудом, чем нормы западной политической демократии*. Хотя большинство выскazывается в пользу рынка и частной собственности. При более конкретной постановке вопроса неизменно выясняется, что лишь меньшинство соглашается с приватизацией крупной промышленности, банков, транспорта, горнодобывающих предприятий, со свободной куплей-продажей земли. Остальные одобряют лишь введение частной собственности на предпри-

¹ Экономические и социальные перемены: Мониторинг общественного мнения. – М., 1995. – № 2.

² Левада Ю. Советский человек и западное общество: Проблема альтернативы // Левада Ю. Статьи по социологии. – М., 1993. – С. 7.

³ Дилигенский Г.Г. Российский гражданин конца девяностых: Генезис постсоветского сознания. – М., 1998. – С. 84.

ятия розничной торговли и рестораны¹. Как отмечают Лапкин и Пантин, для значительной части россиян идеалом является «абсурдное сочетание экономического диктата и политической свободы»². «Экономический диктат» государства, очевидно, рассматривается как необходимое условие осуществления им патерналистской социальной политики.

Пожалуй, самым трудным для русской ментальности оказывается освоение западного идеала отношений между личностью и обществом, государством и гражданином. Понятие гражданского общества со временем перестройки усилиями массмедиа и демократической интеллектуальной элиты стало широко распространяться в России. Однако в настоящее время, как представляется, можно говорить только о зачатках, о самом раннем, начальном этапе становления такого общества. Средний россиянин чаще всего внутренне убежден, что все проблемы страны должны решаться властью, и не склонен объединяться с другими людьми, чтобы участвовать в какой-либо социальной, коллективной деятельности по решению этих проблем. В этом отношении весьма характерно, что большинство, считающее необходимым развитие демократии, не придает значения ни формированию независимых от государства общественных организаций и объединений, ни становлению самоуправления на муниципальном уровне³. Иными словами, наименьший интерес привлекают именно те демократические институты, которые открывают наибольшие возможности для непосредственного участия граждан в экономической, политической и иной сфере жизни общества.

Не укореняется пока на русской почве и другой важнейший компонент западного гражданского общества и гражданской культуры – *уважение к закону и признанным в обществе социальным нормам*, признание их необходимым регулятором индивидуальной и коллективной активности граждан. С одной стороны, восстановление законности и порядка в обществе – один из главных приоритетов россиян, уставших от хаоса в обществе, от произвола властей и беззащитности перед криминальными группировками. С другой стороны, исправления положения люди ожидают исключительно от той же власти, которую справедливо обвиняют в беззаконии, и снимают с себя ответственность за соблюдение закона. В 1995 году 40% опрошенных согласились с мнением, что «допустимо обходить закон, не нарушая его напрямую» (не согласились 30,7%). Движение России к правовому государству, провозглашенное в начале реформ, обернулось порочным кругом: власть не хочет или не умеет управлять на основе закона,

¹ Экономические социальные перемены: Мониторинг общественного мнения. – М., 1993. – № 1. – С. 21.

² Лапкин В., Пантин В. Русский порядок // Полис. – М., 1997. – № 3. – С. 81.

³ Современное российское общество: Переходный период... – М., 1998. – С. 27, 28.

граждане отвечают ей уклонением от его выполнения. Радикально изменить глубинные психологические диспозиции намного труднее, чем разрушить старые и сформировать новые экономические и политические институты, но без изменения диспозиций действующих лиц – элит и рядовых граждан – новые институты не могут выполнять предназначенные им функции.

Западный пример несомненно сыграл – как это неоднократно случалось и в прошлой российской истории – первостепенную стимулирующую роль в попытках модернизации 80–90-х годов. В результате этих попыток была разрушена социалистическая система и советская империя. Жители России обнаружили, что живут в условиях дикого рынка, хаотического, еще весьма слабо институционализированного общества. Перед ними возникла проблема психологической и практической адаптации к новым условиям, и в зависимости от имеющихся индивидуальных и социальных ресурсов они стали вырабатывать различные стратегии такой адаптации. Реально они могли выбирать лишь между «сильной» модернаторской стратегией, предполагавшей отказ от государственно-патерналистского синдрома, развитие индивидуальной ответственности и инициативы, и «слабой» стратегией, ориентированной на терпение и основанной психологически на верности традиционным советским представлениям и ценностям. Конфликт между модернизацией и традиционализмом является, как считают многие авторы, решающей основой социально-психологической дифференциации постсоветского общества. Именно социально-психологической, поскольку к идеологическим и политическим течениям, выражающим противоположные стратегии, примыкает лишь меньшинство общества. У большинства же различные стратегии проявляются на уровне психологических диспозиций и поведения. Причем на этом уровне противоположные – традиционалистские и новые – индивидуалистические тенденции сплошь и рядом существуют у одних и тех же людей.

На данном этапе психологическое значение западной модели меняется: она становится не только «внешним» стимулом к изменениям (или к отказу от них), но и символическим выражением модернаторской тенденции, как бы «обслуживает» ее необходимыми образами, языком, эталонами культуры. Соответственно, стратегия неприятия модернизации оказывается вынужденной противопоставлять ей «незападные» (или антизападные) символы. Таковы для значительной части общества символы «социалистические». Но для настроений другой, еще более значительной его части они неадекватны, ибо имплицитное ее стремление «вернуться к старому» (т.е. прежде всего к государственно-патерналистской системе) противоречит нежеланию расставаться с наиболее привлекательными постсоветскими новациями: изобилием товаров, демократическими правами и свободами, вообще новой атмосферой свободы и разнообразия.

Ментальность большей части российского общества, не примыкающей к идеологизированным (либеральному и прокоммунистическому) меньшинствам, амбивалентна: она колеблется между ностальгией по старой надежной и стабильной жизни и соблазнами жизни новой, питаемыми ею надеждами. Поэтому наиболее адекватными символами этой амбивалентной ментальности становятся символы национальные: они позволяют одновременно выражать неприятие и западных, и советских образцов в их целостности, сохранять определенную свободу отбора и сочетания различных компонентов «старого» и «нового». Конфликт западнических и почвеннических, «самобытных», националистических диспозиций – форма выражения конфликта тенденций модернизаторских и консервативных, причем такая форма, которая позволяет несколько смягчать этот последний конфликт, избегать откровенно антирыночного и антидемократического социалистического консерватизма.

Повышению престижа «национальных» ценностей значительно способствовала эволюция российской политической элиты. После кратковременного периода ускоренных рыночных реформ экономическая и политическая власть в стране фактически сосредоточивается в руках центральной и региональной бюрократии, отличающейся от бюрократии советской своими связями с рынком, заинтересованностью в рыночной прибыли. Бюрократия объединяется с контролируемой ею частью предпринимателей и новых крупных собственников в правящий бизнес-бюрократический слой, заинтересованный прежде всего в укреплении своей власти, в политическом и социально-экономическом *status quo*. Ей не нужны ни реставрация старых порядков, ни продолжение модернизации; единственным идеологическим символом, соответствующим ее интересам, является контролируемое ею Государство. Примат Государства, существующего прежде всего ради самого себя, – в интересах чиновников, зависимого от них и обогащающего их бизнес, удобнее всего легитимировать «национальными интересами» и «национальной идеей». Отсюда этатистско-националистический дрейф элит, широкое использование ими соответствующих идеологических символов.

В массовом сознании соотношение между различными символическими комплексами весьма неустойчиво и колеблется в зависимости от экономической и политической конъюнктуры. Например, по данным опроса ВЦИОМ 1997 года, за развитие России как «государства с совершенно особым устройством и особым путем развития» высказались 17,7% опрошенных. Это в 2,6 раза меньше, чем за «государство... подобное странам Запада». А годом позже с формулировкой «Россия должна идти своим особым путем» согласились 57%, а капиталистический (т.е. западный)

путь выбрали всего 10%¹. Столь крупные расхождения отчасти, очевидно, объясняются тем, что во втором случае вместо «Запада» социологи использовали более однозначный для россиян термин «капитализм». Однако неустойчивость суждений очевидна. Практически наиболее многочисленная часть населения при выборе между западным и «своим собственным» путем легко переходит с одной позиции на прямо противоположную.

Вместе с тем в период между 1992 и 1999 годами доля противников западного пути и сторонников пути национально-своеобразного постоянно возрастила. В 1996 году, отвечая на вопрос «на какой образ жизни мы должны ориентироваться?», западный образ жизни выбрали 20%, советский – 11% и «традиционный русский» – 47% респондентов², Российские социологи констатируют в эти годы развитие нового русского национализма³, неотрадиционализма⁴. Эта тенденция, несомненно, питалась фрустрацией национального сознания, вызванной утратой былого имперского величия, но не меньшее значение имели трудности адаптации к новым реалиям и разочарование в «западнических» реформах.

Исследуя неотрадиционалистскую тенденцию, Л. Гудков определяет ее как «негативную санкцию на вторжение “иного”», в качестве которого «может рассматриваться и гайдаровская программа реформ, и новые условия существования в развивающейся рыночной экономике, и ситуация большей культурной и информационной открытости российского общества... Механизмнейтрализации новационных импульсов... сводится в своей оценке к позитивной квалификации всего тривиального, инфантильного... и к негативной оценке любой сложности, непривычности, нестабильности. Это может выражаться в подчеркнутой ориентации на мифологические образцы стародавнего или периферийного “простого”, устойчивого существования в противовес неопределенному настоящему и тем более будущему, которое требует усилий и напряжения». Западническая ориентация символизирует, по мысли Гудкова, эти сложность и неопределенность и представляется поэтому «как нечто угрожающее, безнадежное, бесперспективное, во всяком случае не содержащее опоры и стимулы для индивидуальных стремлений, не гарантировавшее вознаграждения...»⁵.

¹ ФОМ-ИНФО. – М., 1998. – № 26. – С. 3.

² Экономические и социальные перемены: Мониторинг общественного мнения. – М., 1997. – № 2. – С. 30.

³ Левада Ю. Новый русский национализм: Амбиции, фобии, комплексы // Экономические и социальные перемены: Мониторинг общественного мнения. – М., 1994. – № 1. – С. 15–17, 29.

⁴ Губкин Л. Русский неотрадиционализм // Экономические и социальные перемены: Мониторинг общественного мнения. – М., 1997. – № 2.

⁵ Цит. по: Левада Ю. Новый русский национализм... – С. 32.

Последний момент – отсутствие гарантированного вознаграждения за следование западному образцу – представляется ключевым в описанном психологическом механизме: именно он объясняет в первую очередь усиление антizападнических и традиционалистских настроений. Здесь действует принцип приспособления диспозиций к возможностям, который в современной социологии наиболее глубоко исследовал П. Бурдье. Согласно его теории, действия людей, направляющие их диспозиции, основаны на процессе, который он называет *habitus* и определяет как «подгонку диспозиций к позиции, ожиданий к шансам, необходимость, ставшую добродетелью»¹, иными словами, как спонтанную оценку возможностей, предоставляемых объективной ситуацией, и определение стратегии, соответствующей этой оценке. Отторжение западной модели и противопоставление ей модели национально-традиционной, наблюдавшиеся в России 1990-х годов, – в сущности, новая актуализация архетипического отторжения западного опыта, что, как известно, характерно для отечественного общественного сознания. Ее породили трудности переориентации России на путь, ведущий к цивилизованному рынку, правовому государствству и демократии, с новой силой проявившиеся в этот период.

Отличительной особенностью «традиционистского» выбора является, по справедливому замечанию Гудкова, «пустота и бессодержательность определяющих его признаков»². Действительно, сторонники этого выбора могут определить его содержание, лишь обращаясь к эталонам образа жизни, скорее воображаемым, чем реальным, отдаленным во времени («все старое») или в пространстве. В ходе опроса они локализовали «наиболее полное выражение русского характера» или в «наших предках» (39% опрошенных), или «в глубинке, в старинных русских городах, за Уралом, в Сибири» (36%)³. Понятно, что столь неопределенные представления могут мотивировать лишь «стратегию» бездействия, пассивности, терпения. В сущности, традиционалистская альтернатива не содержит какой-либо позитивной программы, сводится к пассивному сопротивлению модернизации.

В то же время идеологема «собственного пути» выражает – часто в довольно явном виде – традиционный комплекс неполноценности. Так, во время проведенных нами интервью с жителями крупных российских городов даже антizападнически настроенные респонденты говорили, что западный путь для России невозможен, поскольку она не сможет достичь западного уровня цивилизованности.

¹ Бурдье П. Начала. – М., 1994. – С. 23.

² Цит. по: Левада Ю. Новый русский национализм... – С. 30, 31.

³ Там же. – С. 31.

Традиционалистская альтернатива теоретически может означать также следование традиционной для российского общества великодержавной, имперской, в сущности милитаристской ориентации. Здесь мы подходим к проблеме, представляющей первостепенный интерес для нашей темы. Это проблема соотношения между двумя модусами образа Запада и отношения к нему в российском обществе: восприятии его, с одной стороны, как «модели», пригодной или непригодной для использования в российских условиях, с другой – как геополитической величины, как международной силы, образующей важнейшую часть той внешней, глобальной среды, в которой существует и развивается российское общество.

Подобные представления о целях западной политики и оценки политики российской чаще всего разделяют люди с низким уровнем образования, крестьяне, рабочие, пенсионеры, менее всего они характерны для молодежи. Однако и среди людей с высшим образованием доля «антизападников» не меньше, чем в населении в среднем, особенно много их среди руководителей, военных, работников правоохранительных органов. Так или иначе представления этого типа распространены далеко за пределами социальной среды, на которую непосредственное идеологическое влияние оказывают активно пропагандирующие их коммунисты и националисты.

Разумеется, представления о тотальной враждебности Запада и НАТО России, их стремлении ущемить ее интересы основаны не только на надуманных фобиях и мифах. Они пытаются действиями и декларациями различных западных экономических и политических кругов, позициями многих западных массмедиа, колебаниями и противоречиями политики стран НАТО в отношении России. Для российского общественного мнения, включая его наиболее интеллектуальные и политически информированные секторы, не ясны причины сохранения НАТО после окончания «холодной войны» и тем более его расширения на Восток. На общественное мнение, несомненно, оказала влияние наметившаяся с середины 90-х годов смена акцентов в официальной внешней политике России, ее известное дистанцирование от Запада.

Мифологический характер указанным представлениям придает не их антizападная тенденция сама по себе, но присущая им крайняя *примитивизация образа Запада*, сведение его к образу врага, ответственного за все беды, переживаемые Россией. Вся многообразная гамма западных позиций – от стремления содействовать демократизации России, ее политической стабильности до настороженно-выжидательной реакции на хаотичность и непредсказуемость российской действительности, от ограниченной экономической помощи русскому партнеру до экспансии политического и экономического влияния Запада в страны бывшего Советского Союза и откровенных планов изоляции и ослабления России – все это редуцирует-

ся к представлениям, соответствующим жестко антироссийским декларациям З. Бжезинского, Г. Киссинджера или фонда «Наследие»...

Ухудшение российско-западных отношений, рост взаимного отчуждения и подозрительности способны в значительной мере, хотя и не полностью, подавлять притягательную силу западного примера в массовых слоях российского общества. Идет ли в данном случае речь о некоем конъюнктурном феномене, очередном колебании маятника общественных настроений или о долговременной, возможно, необратимой тенденции? Ответить на этот вопрос лучше всего помогают те довольно четкие социально-психологические границы, на которые как бы наталкивается «взрыв» массовых антизападных эмоций. Прежде всего они определяются стремлением любой ценой избежать крайних решений, чреватых риском военного конфликта...

Для значительной части, фактически для относительного большинства россиян, Запад (США и Западная Европа) и его военно-политическое воплощение – НАТО являются противником и источником угрозы. Но это такой противник, с которым хотелось бы и вполне реально «подружиться», во всяком случае наладить лояльные партнерские отношения, хотя и быть готовым к борьбе с ним. В данной позиции идеологические антизападнические стереотипы и иррациональные фобии смешаны с приоритетной для россиян потребностью в стабильном международном мире, изоляционистским отторжением «чужого», разрушающего привычные устои жизни, со стремлением «жить как все», с уязвленным национальным самолюбием, с надеждой войти в современный развитой мир. Нетрудно заметить, что нынешняя внешнеполитическая идеология российского руководства – сочетание защиты национальных интересов и собственных позиций на международной арене с поддержанием партнерских связей с западным сообществом – более или менее адекватна описанному состоянию общественного мнения.

* * *

Отношение российского общества к Западу, к западному опыту и ценностям в целом сегодня более позитивно, чем во времена «холодной войны»... Труднее ответить на вопрос об уровне необратимости этой тенденции. Во всех своих аспектах, в том числе и в своем отношении к Западу, российское сознание остается неустойчивым и амбивалентным.

Один из наиболее глубоких источников этой амбивалентности – постоянно воспроизводящийся конфликт между культурно-психологической традиционалистской инерцией, воплощающими ее идеологическими стереотипами и мифами, с одной стороны, и pragmatическими потребностями и мотивами, питающими модернизаторскую тенденцию, – с другой. Та или иная из этих тенденций преобладает в ментальности различных

социальных и демографических групп, в рамках различных субкультур, но очень часто они сосуществуют в сознании одних и тех же социальных и индивидуальных субъектов.

В качестве весьма характерного примера можно привести отношения россиян к ввозу западного капитала. Чаще всего к этому относятся крайне негативно. «Засилье иностранного капитала», угрожающее независимости России, ведущее к «разграблению ее богатств» – одна из наиболее популярных фобий массового сознания, обычно разделяемая большинством опрашиваемых. Но у многих суждения существенно меняются, если речь идет не об общей идеологической позиции, а о делах, ближе связанных с их конкретными pragматическими интересами. Так, в июле 1999 года 54% опрошенных высказались против и 25% за усиление притока иностранного капитала в Россию. Но на вопрос о желательности иностранных инвестиций в экономику региона, где проживает респондент, как положительно, так и отрицательно ответили по 42%. Месяцем раньше 38% опрошенных высказались за американские инвестиции в развитие той местности, где они живут¹.

Решающий фактор дальнейшей эволюции отношения к Западу – несомненно, социально-экономическое, политическое и культурное развитие самого российского общества. Однако вместе с тем на эту эволюцию оказывает и будет оказывать влияние политика Запада по отношению к России. Здесь большое значение имеют не столько практические действия (например, те или иные формы помощи российским реформам), сколько общий «стиль» этой политики. Российское общество в силу рассмотренных особенностей своего психологического состояния в высшей степени чувствительно (можно даже сказать, ранимо) в отношении всех «сигналов», посыпаемых ему с Запада. Любой признак враждебности, отчужденности, пренебрежительного отношения к российским проблемам и интересам, тем более явное стремление ущемить их способны вызвать очередной негативный перелом в восприятии Запада и снизить влияние его примера, повысить престиж консервативных и националистических политических сил. И напротив, признаки доброжелательности, сочувствия, уважения, понимания по отношению к России могут усилить прозападные тенденции, повысить престиж западных ценностей, экономических и политических институтов в российском обществе.

В условиях современной глобализации дальнейший ход событий в России будет оказывать значительное влияние на облик всего мира в предстоящие десятилетия. Россия, изолированная от западного мира, не способная преодолеть свою технико-экономическую отсталость, теряющая импульсы к модернизации под натиском националистических стра-

¹ Сообщения Фонда «Общественное мнение». – М., 1999. – № 54, 60.

«Запад» в российском общественном сознании

стей, стала бы одним из наиболее острых источников глобальной нестабильности, международной напряженности и конфликтов с непредсказуемыми последствиями. В то же время Россия модернизирующаяся, преодолевающая социально-экономический кризис, укрепляющая и развивающая свои партнерские отношения с западным миром, могла бы внести весомый вклад в более гармоничное, сбалансированное развитие глобализационных процессов. Представляется, что правительства стран Запада и западное общественное мнение должны иметь в виду эти два альтернативных сценария, определяя линию своего поведения в отношении России.

Г.Л. КЕРТМАН

***СТАТУС ПАРТИИ В РОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ¹***

На исходе ХХ в. институциональный дизайн российской политики и государственности подвергся тотальной модернизации. Начальная стадия этой модернизации сопровождалась ожесточенными спорами о совместимости импортируемых политических институтов с отечественной политической культурой – или, жестче и проще, о том, «готова ли Россия к демократии». Поначалу на этот сакральный вопрос давались по преимуществу однозначные, хотя и взаимоисключающие, ответы, либо полностью игнорировавшие сопротивляемость политической культуры, либо абсолютизировавшие ее. Между тем отечественная политическая культура, адаптируясь к новой институциональной ситуации, вырабатывала континuum установок и интерпретационных схем, простирающийся между полюсом безоговорочного принятия институциональных инноваций (с интериоризацией ценностных, мировоззренческих оснований «импортированных» институтов) и полюсом полного отторжения, категорического неприятия таких инноваций.

На начальной стадии преобразований на этих полюсах – радикальной модернизации и радикального традиционализма – отчетливо проявлялась тенденция к консолидации противостоящих политических субкультур, которые, однако, оставались маргинальными. Впоследствии, похоже, возобладала противоположная тенденция: к дезинтеграции этих субкультур. Оценивать степень их консолидации можно по-разному, но представляется очевидным, что в обозримой перспективе они не имеют шансов реально «претендовать» на доминирование.

В целом российской политической культуре удалось избежать как лобовой конфронтации с новыми институциональными устоями политической системы и государственности, так и форсированной модернизации. И произошло это благодаря механизму традиционалистской реинтерпретации институциональных инноваций. Оперируя собственным когнитив-

¹ Печатается по: Кертман Г.Л. Статус партии в российской политической культуре // ПОЛИС: – М., 2007. – № 1. – С. 120–131.

ным и ценностным инструментарием, эта культура «одомашнивает» новые институты и политические практики, уподобляя их привычным, знакомым, вписывая «импортированные» институты в традиционный ценностно-нормативный контекст и вырабатывая спектр мотиваций политического поведения, органичный для «среднего россиянина».

Сказанное в полной мере относится к восприятию политических партий и института многопартийности. Между полюсом безоговорочного признания этого института как компонента отечественной политической системы, необходимого для реализации принципов народного суверенитета и политического плюрализма, и полюсом его безоговорочного неприятия как чужеродного и вредного для страны простирается спектр «промежуточных», «компромиссных» интерпретационных схем, которые в той или иной мере восходят к представлениям, унаследованным от советского прошлого.

Обратимся к данным исследования Фонда «Общественное мнение», проведенного в июне 2006 г. и посвященного представлениям россиян о предназначении и роли партий¹. Начнем с распределения ответов на ключевой вопрос: нужны ли вообще в России политические партии, а если нужны, то сколько их должно быть?

Против многопартийности определенно высказались 35% респондентов: 19% полагают, что партии не нужны, а 16% предпочли бы, чтобы партия в стране была одна. В пользу многопартийности выступили 40% опрошенных, причем 14% считают, что оптимальным для России вариантом было бы сосуществование двух партий, а 26% настаивают на том, что партий должно быть не менее трех. Остальные участники опроса ответить на этот вопрос затруднились.

Распределение ответов ощутимо варьирует в зависимости от социально-демографических характеристик опрошенных. Сторонников многопартийности, как нетрудно догадаться, сравнительно много среди людей молодых, относительно состоятельных, высокообразованных – иначе говоря, обнаруживается прямая корреляция между позитивным отношением к этому институту и принадлежностью к группам, имеющим больший доступ к социальным ресурсам. Мужчины высказываются в пользу многопартийности чаще, чем женщины.

Однако признание целесообразности существования двух или более партий отнюдь не обязательно сочетается с признанием ценности межпартийной конкуренции – процесса, определяющего логику функционирования многопартийной системы. Только 31% опрошенных согласны с тем, что, «если говорить в целом, конкуренция, соперничество между полити-

¹ Опрос проводился в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Выборка: 1500 респондентов.

ческими партиями обычно приносит стране большие пользы, тогда как 47% убеждены в обратном: «большие вреда». Причем обратим внимание: формулировка вопроса требовала от респондента высказывания, относящегося к межпартийной конкуренции «в целом», как к общепринятой политической практике, вне зависимости от того, какие плоды она приносит сегодня в России.

Разумеется, и участники опроса, полагающие, что партии не нужны вообще, и сторонники однопартийности в подавляющем большинстве своем считают межпартийную конкуренцию вредной¹. Но эту точку зрения разделяют и многие из высказывающихся в пользу многопартийности: 37% из числа тех, кто хотел бы, чтобы партий было две, и 20% из числа предлагающих, чтобы их было больше...

Противоположного мнения – о пользе межпартийного соперничества – придерживаются менее половины первых (48%) и две трети вторых (67%). Столь ощущимое расхождение во взглядах по этому вопросу между двумя последними группами дает, кстати, веские основания полагать, что концепт двухпартийности в российском массовом сознании специфичен и что представления по крайней мере части его сторонников о предназначении, функциях партий в чем-то отличны от представлений тех, кто думает, что партий должно быть больше²...

Как показывают несложные расчеты, лишь 24% наших соотечественников одновременно высказываются за существование в стране нескольких (как минимум – двух) партий и признают межпартийную конкуренцию полезной. Но даже согласие с обеими этими установками отнюдь не обязательно предполагает приверженность принципам народного суверенитета и политического плюрализма: оно, как мы увидим, может базироваться и на иных мировоззренческих основаниях и интерпретационных схемах. Несогласие же с ними (и, в частности, разделяемая довольно многими россиянами точка зрения, согласно которой партии России нужны, а

¹ Позиция тех немногих, кто считает межпартийную конкуренцию скорее полезной и вместе с тем убежден, что России партии не нужны (либо нужна одна партия), может показаться абсурдной, но в ней есть своя логика. Признавая полезность соперничества партий в принципе, эти люди полагают его неуместным именно в России – то ли в силу приверженности идее «особого пути», то ли в силу глубокого недовольства реальным опытом отечественной многопартийности.

² Судя по данным более ранних исследований ФОМ, двухпартийность притягательна для части россиян потому, что она позволяет реализовать плебисцитарную модель электорального выбора: голосование за единственную оппозиционную партию трактуется здесь как вотум недоверия партии правящей. Такая модель избавляет избирателя от необходимости ориентироваться в политическом спектре и вообще не требует от него ни политической рефлексии, ни каких-либо политических установок, но дает ему возможность выразить свое отношение к действующей власти.

межпартийная конкуренция – нет) достаточно определенно свидетельствует о неприятии этих демократических принципов.

Несколько забегая вперед, рассмотрим – в порядке иллюстрации – одну из «объденных теорий» многопартийности, исключающих межпартийное соперничество. Участник фокус-группы, посвященной этой теме, 34-летний петербуржец¹, так излагает свое понимание «идеальной» многопартийности: «*Если в идеале, то партии нужны для того, чтобы защищать интересы какой-то части общества. Если это пенсионеры, то пусть они пенсионерами занимаются, не отвлекаются ни на что другое – ни на рыболовов, ни на космонавтов. Партия рыболовов пусть занимается рыболовами. Партия детей пусть занимается детьми. В общем-то, если бы была многопартийность и партии честно выполняли свою работу, то лучше бы они узконаправленно делали свое дело, улучшали жизнь, облегчали.*

Несколько позже, на другом витке беседы, он развивает свою мысль: «*Я считаю, что отличия должны быть в направлении деятельности партии. Если пять партий, то чтобы каждая занималась деятельностью, направленной на улучшение жизни той или иной социальной прослойки. И вносила реально качественные предложения... помогающие молодежи, старикам, студентам, детям, инвалидам. Партия должна заниматься – как хороший врач-специалист. А правительство уже будет рассматривать вносимые предложения партий и выбирать наиболее грамотные и четкие... А партии должны заниматься больными местами: лечить болезни, как специалисты в больнице. А Россия сейчас больная.*

Особо отметим, что, по мнению респондента, роль партий не должна сводиться ни к консультированию правительства, ни к лоббированию интересов соответствующих социальных групп в высших эшелонах власти. Он убежден, что партии должны, помимо прочего, напрямую оказывать помощь этим группам. Когда одна из участниц дискуссии с явным сомнением спрашивает: «*А как она будет лечить без денег?*» – он твердо отвечает: «*Партийные взносы, спонсоры те же. Люди, которые заинтересованы в чем-то. И правительство может выделить на какую-то программу от себя, если это грамотное решение.*

Здесь мы имеем дело с наглядным примером того, как функционирует механизм традиционалистской реинтерпретации. Респондент «вписывает» институт многопартийности в сугубо патерналистский дискурс, вполне органичный для отечественной политической культуры: он «принимает» тезис, согласно которому партии должны представлять интересы различных социальных групп, абсолютизирует его (игнорируя иные «нормативные» функции партий) и трансформирует в требование сосредото-

¹ Дискуссионная фокус-группа (ДФГ), Санкт-Петербург.

читься исключительно на *опеке* этих групп. Причем его модель «идеальной многопартийности» исключает не только принципиальное идеино-политическое противостояние партий, но даже возможность межпартийного конфликта по поводу текущих приоритетов государственной политики (каждой партии надлежит заниматься «своим делом») и распределения государственных ресурсов. Ведь последним должно ведать правительство, ни в коей мере от партий в этом вопросе не зависящее: респондент либо не знает о роли парламента (и представленных в нем партий) в бюджетном процессе, либо, что вероятнее, считает нынешний порядок неправильным. Кроме того, по его мнению, партиям в их социально полезной деятельности следует опираться и на собственные, негосударственные ресурсы. Здесь опять-таки происходит реинтерпретация институциональной инновации: финансирование партий частными лицами (*«спонсоры те же»*) признается оправданным – но лишь постольку, поскольку их взносы могут быть непосредственно направлены на решение тех или иных проблем опекаемых социальных групп.

На партии в этой интерпретационной схеме возлагаются, по существу, функции специфических, «периферийных» структур государственной власти, а «многопартийность» легитимируется ссылкой на преимущества «узкой специализации»: *«Партия рыболовов пусть занимается рыболовами»*. И хотя действовать партиям предписывается в узких рамках собственной компетенции, ни на что не «отвлекаясь», они, с точки зрения респондента, должны нести коллективную ответственность за положение дел в стране.

Заявляя об этом в контексте обсуждения вопроса о том, должна ли мера ответственности той или иной политической партии за ситуацию в России зависеть от ее влияния, статуса правящей или оппозиционной, он совершенно недвусмысленно демонстрирует патерналистский подтекст своей версии «многопартийности»: *«Как мать и отец в равной степени за ребенком смотрят. Не может быть такого, что ребенок льет на себя кипяток, а отец сидит рядом и говорит: пусть мать несет ответственность, фиг с ним. То есть это должно быть в равной степени – как родственники своего ребенка опекают»*.

В свете сказанного респондентом ранее данное суждение выглядит чрезвычайно нелогичным: казалось бы, если каждой партии предписано заниматься «своим делом», то и ответственность она должна нести только за результаты своей работы. Дело тут, по-видимому, в изначальном противоречии между концептом «узкой специализации», позволившим респонденту интегрировать «многопартийность» в патерналистский дискурс, найти множеству партий место в системе тотальной опеки государства над подведомственным населением, и органичным для данного дискурса образом власти – самодовлеющего монолита, не зависящего от народа, но не-

сущего тотальную ответственность за него. Эта ответственность в рамках патерналистского дискурса «расчленению» не подлежит, поскольку осознание самого факта структурной упорядоченности власти, известной автономии ее институтов и уровней, более или менее четкого разграничения полномочий между ними (не говоря уже о разделении властей) ведет к десакрализации власти.

И действительно, при сколько-нибудь отчетливом понимании механизмов функционирования власти – и, соответственно, инструментальном подходе к ней – обнаруживаются пределы ее могущества и неизбежно возникают сомнения в реалистичности упоминаний на тотальную опеку, а также смутные догадки о возможности контроля над властью. Все это решительно «противопоказано» патерналистскому сознанию, ибо угрожает его ценностным основаниям. И оно сопротивляется рационализации представлений о власти, используя самые разные защитные механизмы. Наиболее универсальные – консервация некомпетентности, т.е. отторжение информации об устройстве власти, и ее персонификация.

Но вернемся к описанной выше «обыденной теории» многопартийности. Если респондент, как мы видели, предпочел возложить на партии, «наделенные» им обязательствами по опеке отдельных социальных групп, коллективную ответственность за ситуацию в стране в целом, то другой приверженец концепта «узкой специализации», 28-летний программист, проявил в этом отношении большую последовательность, поступившись «чистотой» патерналистского дискурса: *«Вот какая-то партия выступает за аборты... И это является ключевой задачей работы этой партии. Предположим, что она получает необходимое количество голосов. А у другой партии задачи связаны с экономической деятельностью. И партия, которая занимается абортами, несет ответственность в своей области, а та – в своей».*

Разумеется, различия между позициями этих двух участников групповой дискуссии не слишком принципиальны. Гораздо важнее то, что эти молодые люди, решающий этап социализации которых, подчеркнем, пршелся уже на постсоветский период, интерпретируют «многопартийность» в сугубо традиционалистском ключе, приписывая партиям функции государства и начисто отказывая им в собственно политических функциях. Причем очевидно, что такая интерпретация с неизбежностью порождает тотальную неудовлетворенность деятельностью любой партии в пространстве публичной политики – в силу ее изначального несоответствия тем критериям, которые применяются для ее оценки.

Отметим, что концепт «узкой специализации», чрезвычайно «кудебный» для традиционалистской реинтерпретации многопартийности, встречается в высказываниях респондентов нередко. Например, 47-летняя москвичка, рассуждая о том, чем должны различаться политические пар-

тии, заявляет: «*Вот допустим, когда был царь, да, вот главный как управлять – и он, значит, например, знает эти все партии. Одна, например, занимается аграрными вопросами – ну, это своего рода как министерство. И их много... одни занимаются аграрным, другие еще какими-то вопросами, культурой, допустим.*»

Уподобление партии министерству возникает здесь совершенно органично. А другая участница дискуссии (36 лет) доводит мысль до логического конца: с ее точки зрения, партии «*должны быть взаимодополняющими, а не взаимоисключающими; не должно быть конкуренции.*» Кстати, та же респондентка – сторонница многопартийности, пусть и своеобразно понимаемой, – ранее, на другом витке беседы, заявила, что «*позиция партии по отношению к избирателю должна быть лидерско-опекунская.*» В этой формуле традиционалистская составляющая видения рассматриваемого института выражена совершенно недвусмысленно.

Обратимся теперь к данным массового опроса. Всем респондентам, признавшим, что партии в России нужны, – и тем, кто предпочел бы однопартийную систему, и тем, кто высказался за существование двух партий, и тем, кто считает, что их должно быть больше (т.е. в целом 57% участников опроса), – был задан открытый вопрос: «*Зачем, по Вашему мнению, нужны политические партии?*» Ответы на него позволяют составить представление обо всем спектре интерпретаций предназначения этого института, присутствующих сейчас в российском массовом сознании. Рассматривая их, не забудем, однако: мы не услышим голоса тех 19% россиян, которые твердо убеждены, что партии в России вообще не нужны. Соответственно, «удельный вес» суждений сторонников многопартийности здесь «по определению» несколько выше, чем он был бы, если бы высказывались все участники опроса. Отметим также, что 18% тех, кому вопрос задавался, ответить на него затруднились (среди сторонников однопартийности – 23%, двухпартийности – 21%, многопартийности¹ – 13%).

Начнем с высказываний тех респондентов, которые, обосновывая необходимость партий, фокусировали внимание на межпартийной борьбе. О пользе межпартийной конкуренции, соперничества говорили 15% опрошенных (здесь и далее имеется в виду доля от респондентов, которым задавался открытый вопрос): «*Нужно соперничество на политической арене;* «*нет конкуренции – любая система обречена на провал;* «*должна быть постоянная борьба;* «*они будут друг с другом соревноваться, а народу будет лучше;* «*нужна здоровая конкуренция*». В высказываниях 6% респондентов упоминалось о том, что наличие многопартийности, по-

¹ Для краткости мы будем – хотя это, конечно, не совсем корректно – называть сторонниками многопартийности только тех, кто считает, что в стране должно быть более двух партий.

литической оппозиции – императив демократии и гарантия от диктатуры, тоталитаризма: «в этом суть демократии»; «чтобы не повторился тоталитарный режим, чтобы была демократия в стране»; «многопартийная система – признак демократического общества»; «чтобы не было диктатуры одной партии»; «для политического равновесия»; «должна быть оппозиция». Изредка (1% опрошенных) звучал тезис о необходимости взаимного сдерживания – баланса, обеспечивающего многопартийность: «чтобы контролировать друг друга»; «для того чтобы одна партия сдерживала другую».

Еще 9% опрошенных так или иначе развивали мысль о преимуществе плюрализма мнений, дискуссий перед единомыслием: «все-таки один ум – хорошо, а два – лучше»; «в споре рождается истина»; «надо много мнений, чтоб выбрать одно»; «чтобы высказывать разные точки зрения»; «когда есть несколько мнений, видно более правильное решение»; «у всех свое мнение, нужно среднее»; «чтобы спорили и приходили к единому мнению, а мы это мнение будем поддерживать». В совокупности эти доводы приводили 35% сторонников двухпартийности и 45% приверженцев многопартийности. Среди тех, кто предпочел бы однопартийную систему, оперировавших ими, естественно, оказалось немного – 3%.

По лаконичным ответам на подобные открытые вопросы далеко не всегда, разумеется, можно с высокой степенью достоверности реконструировать интерпретационные схемы, которыми руководствуются люди. Тем не менее складывается впечатление, что большинство реципиентов, говоривших о пользе межпартийного соперничества и необходимости оппозиции, в своем понимании функций партий тяготеют к «полюсу модернизации» – во всяком случае, они склонны трактовать многопартийность как институциональное воплощение принципа политического плюрализма. Однако о тех участниках опроса, которые ссылались на максиму «в спорах рождается истина», этого уже с уверенностью сказать нельзя. Судя по ряду высказываний – в том числе и приведенных выше, – многие из них трактуют межпартийные «споры» не столько как политическую борьбу, в которой кто-то одерживает локальные победы, а кто-то – терпит поражения, сколько как некие экспертные сессии, ориентированные на совместный поиск «истины» и принятие наиболее разумных и взвешенных решений. Причем, очевидно, нередко подразумевается, что партии должны обладать скорее совещательным голосом, тогда как решающее слово должно принадлежать правительству или главе государства – этот мотив отчетливо звучал на фокус-группах, когда речь заходила о пользе плюрализма мнений. А такая интерпретация межпартийного соперничества явно несет на себе отпечаток традиционных представлений об органической монолитности власти.

О том, что многопартийность предоставляет избирателю политическую альтернативу, возможность выбора, упомянули 7% опрошенных: «чтобы у людей был выбор»; «чтобы было из чего выбрать»; «чтобы мы выбирали, кто достойный». Апелляция к правам избирателя – т.е. по сути дела к принципу народного суверенитета – позволяет достаточно определенно квалифицировать представления этих респондентов о предназначении партий как близкие к «полносу модернизации».

А вот высказывания 5% опрошенных, которые обосновывают необходимость партий тем, что они должны представлять интересы и позиции различных социальных слоев и групп («чтобы выражать волю разных слоев населения»; «чтобы были идеи для всех слоев населения»; «чтобы отстаивать интересы различных слоев населения»), однозначной квалификации в этом плане не поддаются¹. Казалось бы, идея политического представительства различных социальных слоев принадлежит демократическому дискурсу и вполне адекватно описывает одну из функций партий. Но мы уже видели, как легко эта идея адаптируется к дискурсу патерналистскому.

До сих пор мы рассматривали ответы респондентов, так или иначе говоривших о функциях партий, специфичных для этого института. Но в очень многих репликах предназначение партий описывалось совершенно иначе. Так, 16% опрошенных утверждали, что партии нужны для управления страной, обеспечения стабильности и порядка и т.д. По существу, в большей части этих высказываний речь шла о том, зачем вообще нужна власть. Чаще всего подобные ответы давали приверженцы однопартийности (27% этой группы респондентов): «чтобы в стране был порядок»; «будет анархия, если не будет партии»; «кому-то нужно говорить и руководить»; «управлять нами»; «чтобы быть у руля страны»; «осуществлять контроль за нравственностью»; «людейставить на место – надо нами руководить». Однако нередко такие доводы приводили и сторонники двухпартийности и многопартийности (15 и 10% соответственно): «для стабилизации положения в стране»; «чтобы был закон, исполнялся»; «кто-то должен вести вперед»; «для лучшего развития страны»; «чтобы контролировать все в стране»; «для улучшения ситуации»; «одна партия не уследит за всем в стране»; «для восстановления правопорядка»; «для продвижения экономики России, для расцвета государства».

Различия тут, как видим, не столько содержательные, сколько интонационные. Все респонденты приписывают партиям функции власти (как они эти функции понимают), но в высказываниях сторонников однопар-

¹ Отметим, что эти высказывания принадлежат почти исключительно сторонникам многопартийности (8% против 2% среди сторонников двухпартийности и 1% среди приверженцев однопартийности).

тийности зачастую отчетливо слышится запрос на тотальный государственный контроль и «сильную руку», с которой у них, похоже, ассоциируется партийное руководство.

Еще 12% опрошенных заявляют, что партии нужны для улучшения жизни людей, для защиты интересов народа, т.е., по сути, тоже отождествляют задачи партий с функциями власти, хотя и несколько иначе представляют акценты: «чтобы о народе была забота»; «чтобы решали наши проблемы и налаживали жизнь»; «чтобы было кому нас защитить»; «чтобы они повышали уровень жизни, зарплату вовремя платили»; «чтобы помогать людям»; «чтобы все работали, чтобы всем всего хватало»; «чтобы защищали простой народ». Здесь традиционалистское понимание смысла существования партий представлено в наиболее «чистом» виде – еще отчетливее, чем в предыдущей группе высказываний. И, кстати, такие ответы сторонники однопартийности, двухпартийности и многопартийности дают одинаково часто.

Уточним: о традиционализме в данном случае речь идет вовсе не потому, что респонденты адресуют партиям запрос на социальную защиту населения, и даже не потому, что запрос этот формулируется в категориях патерналистского дискурса. Суть в другом: эти реплики – ответы на вопрос, зачем нужны политические партии. Иначе говоря, опрошенные не числят за этим институтом каких-либо специфических функций, а фактически переносят на него свои представления об изначальных и неизменных задачах монолита: управлять страной и опекать население. При таком подходе сама ценность многопартийности оказывается неочевидной.

При этом и среди респондентов, признавших за партиями право на существование, нашлись те, кто выразил сомнения в их полезности. Так, 5% опрошенных высказались в том смысле, что они нужны главным образом партийным лидерам, а не обществу в целом: «чтобы завоевать власть и сесть на верхушку»; «для собственного обогащения в основном»; «для драк»; «чтоб брать с людей за все деньги, они – власть»; «они ругаются между собой и делят власть»; «лишняя траты государственных денег»; «они все опрохвостились, и ничего хорошего от них нет». А еще 5% респондентов заявили, что стране было бы вполне достаточно одной партии, причем некоторые из них подчеркнули, что в этом случае задачи по наведению порядка, обеспечению стабильности и опеке над населением решались бы лучше: «для порядка и соблюдения законов хватит одной партии»; «нужна одна, но хорошая, чтобы мы в нее верили»; «больше стабильности, когда одна партия»; «мы раньше жили хорошо с одной партией»; «партия должна быть одна, как раньше – при Сталине». Все реплики второго типа, естественно, принадлежали сторонникам однопартийности, однако в числе сторонников первой точки зрения были и те, кто поддерживает двухпартийность или многопартийность (4 и 3% соответственно).

Остальные группы ответов невелики по численности, но заслуживают упоминания – для полноты представления о спектре интерпретаций предназначения партий. Одни респонденты (3%) во вполне традиционалистском ключе приписывают партиям прежде всего идеологические функции (причем здесь, как ни странно, преобладают сторонники двухпартийности, а не однопартийности): «*для формирования народного сознания*»; «*для мобилизации людей*»; «*чтобы идеология была в стране*»; «*передовой отряд, зачинщик всех идей*». Другие (1%) видят смысл существования партий в том, чтобы помогать президенту: «*для поддержки президента*»; «*один президент не справится, нужны помощники, чтобы они посоветовались*». Третья (тоже 1%) убеждены, что задача партий – контролировать руководство страны: «*партии нужны для контроля за деятельностью правительства*»; «*президента и правительство чтобы гоняли – чтоб работали*». И, наконец, некоторые (1%), отождествляя партии с их парламентскими фракциями, полагают, что они нужны, «*чтобы принимать законы*», «*для принятия законов в стране*».

Итак, значительная часть российских граждан в своем восприятии политических партий следует традиционному для отечественной политической культуры патерналистскому дискурсу, безоговорочно отторгающему идею народного суверенитета и интерпретирующему любые политические процессы и институты сквозь призму бинарной оппозиции «власть» (субъект) – «народ» (объект). В рамках этой оппозиции любая партия – правящая или оппозиционная, имеющая представительство во властных структурах или только претендующая на такое представительство, – априори рассматривается как принадлежащая к миру «власти» и несущая непосредственную ответственность за положение дел в стране. Соответственно, на все партии экстраполируются и присущие этому дискурсу представления о функциях власти как таковой, тогда как их специфические функции, обусловленные природой данного института, игнорируются.

Выразительной иллюстрацией данного подхода к предназначению политических партий может служить, например, ответ воронежского инженера (31 год) на вопрос о том, что дает стране их существование: «*Президент – это пастух, а волки – это охрана огорода*¹, которую заставляют двигаться в определенном направлении. Это и есть партия». Такое понимание предназначения политических партий – как звеньев целостного государственного механизма – во многом определяет и критерии, сообразно которым многие россияне оценивают их деятельность.

¹ Респондент, конечно, хотел уподобить партии собакам, а не волкам. Но оговорка колоритная – как говорится, «по Фрейду».

Показателен в этом плане, например, следующий – весьма типичный – фрагмент групповой дискуссии (в Москве). На вопрос модератора, приносит ли деятельность партий какую-то пользу стране, участники разговора ответили вялыми и крайне неопределенными, хотя и утвердительными репликами:

– Польза? Косвенная какая-то.

– Какая-то, незначительная.

– Косвенная.

– Да, малочисленная, но какая-то. Если б не было вообще партий, мы бы, наверное, еще хуже бы жили.

На вопрос же о том, приносят ли партии вред, респонденты откликнулись весьма живо: «Вреда – навалом!» – и конкретизировали этот тезис так:

– Бензин дорожает.

– Квартплата. Зарплата не увеличивается практически. Если и увеличивается, не в соответствии с ценами.

– Инфляция выше даже, чем у нас заявляют.

В ходе общероссийского опроса, проведенного ФОМ в августе 2001 г. (выборка – 1500 человек), 52% респондентов заявили, что политические партии приносят России больше вреда, чем пользы, и только 22% заняли противоположную позицию. Участников опроса попросили объяснить, в чем, по их мнению, состоит польза и в чем – вред. Ответы на второй из этих открытых вопросов свидетельствуют о том, что наиболее значимым фактором недовольства партиями (хотя, разумеется, не единственным) является неадекватность представлений об их функциях, а конкретнее – склонность отождествлять последние с функциями государства.

Одна из основных претензий, высказанных партиям, состояла в том, что они «болтают», бездействуя и не принося практической пользы народу: «они между собой грызутся вместо того, чтобы заниматься делом»; «много говорят, а помощи народу нет»; «они не справляются с возложенной на них миссией, не могут улучшить жизнь людей»; «сплошная говорильня, толку нет»; «делами надо заниматься, а не разговорами и выборами». Другое прегрешение партий – они постоянно конфликтуют между собой: «постоянные разногласия, никак не могут найти общий язык»; «никак не договариваются, как лебедь, рак и щука»; «собачатся»; «раздор, споры, нет единства»; «рвут страну на части, пора им объединяться». И, наконец, третье – борьба партий за власть: «каждый стремится к власти»; «между собой не поделят власть, а мы страдаем»; «между ними идет борьба за власть, в результате – меньшее порядка».

В целом свыше половины всех ответов на вопрос, в чем состоит приносимый партиями вред, сводилось к изложению именно этих претензий. Разумеется, далеко не в каждом конкретном случае можно точно оп-

ределить, что именно осуждает респондент – «избыточную» конфликтность или сам факт межпартийной борьбы, «чрезмерное» многословие или уже то, что партии дискутируют между собой. Но очевидно, что авторы подобных реплик склонны, во-первых, подозревать партии в «манировании» своими обязанностями, якобы предполагающими непосредственное участие в практической, повседневной работе по решению социальных проблем, и, во-вторых, считать межпартийное соперничество (и, по-видимому, публичную политику в целом) неким сомнительным «времяпрепровождением», контрпродуктивным с точки зрения интересов страны. Кстати, иногда респонденты обвиняли партии в том, что они «мешают нормальному функционированию государственной власти», а некоторые выражали особое раздражение в связи с тем, что партии апеллируют к избирателям, втягивая их в «свои разборки»: «баламутят народ»; «вносят в людей разброд и шатание, разобщают».

Регулярно проводимые в последние годы фокус-группы по «партийной» тематике неизменно подтверждают устойчивость установок. Вместе с тем они столь же неизменно обнаруживают распространность убеждения, что отечественные политические партии – не совсем «настоящие», что они не отвечают своему предназначению. Причем подозрения в «самозванстве» связаны как с «верхушечным» характером партий, их «виртуальностью», узостью социальной базы, нечеткостью идеологического профиля, конформизмом, сервильностью в отношениях с властями и т.д., так и с тем, что партии дискутируют между собой и не принимают непосредственного участия в государственном управлении, решении социальных проблем. Нередко, впрочем, одни и те же респонденты предъявляют российским партиям претензии и первого, и второго типа.

Таким образом, легитимация многопартийности обеспечивается сегодня отчасти освоением фундаментальных презумпций демократического дискурса – принципов народного суверенитета и политического плюрализма, а отчасти механизмом традиционалистской реинтерпретации, фактически позволяющим уподоблять нынешние партии «руководящей и направляющей силе» советского общества¹. Но легитимация эта остается неполной, ограниченной, в какой-то мере условной – в силу ощущимого несоответствия российских партий как «западному», так и «советскому»

¹ Этот механизм, отметим, обеспечивает внушительную фору «Единой России», которая, в отличие от ее конкурентов, имеет возможность позиционировать себя вне «сомнительной» сферы публичной политики, апеллируя одновременно и к демократическому, и к патерналистскому дискурсу. В рамках первого самопрезентация «партии власти» в качестве «партии реальных дел» воспринимается как декларация pragmatизма, реалистичности, в рамках второго – как «напоминание» о том, что только ее деятельность отвечает «изначальному», «истинному» предназначению партий, фактически совпадающему с предназначением государственной власти как таковой.

Статус партии в российской политической культуре

образцу. С одной стороны, это консервирует политическое отчуждение, отстраненно-критическое отношение граждан ко всем действующим партиям, а с другой – позволяет большинству россиян признавать партии в принципе полезным для страны институтом и, пусть и без особого энтузиазма, принимать участие в выборах.

Б.В. ДУБИН

**ПРАВОСЛАВИЕ, МАГИЯ И ИДЕОЛОГИЯ
В СОЗНАНИИ РОССИЯН¹**

Динамика религиозной принадлежности. После заметного снижения доли православных верующих в 1995–1996 гг. и, напротив, ощутимой политической мобилизации россиян в ходе парламентских и президентских выборов указанных лет уровень массовой заявленной религиозности в России вновь начал расти². В массе к верующим на рубеже ХХ и ХХI веков – так оно было и в начале девяностых – чаще других причисляют себя женщины, пожилые респонденты, люди с неполным средним образованием. Однако максимальный рост числа тех, что называют себя верующими, за 1990-е годы наблюдается не только среди пожилых россиян, но и, напротив, среди молодежи, мужчин, респондентов с высшим образованием.

Похожая тенденция видна на данных о регулярности посещения церковных служб. Доля посещающих их не реже 1 раза в месяц максимально выросла за 90-е годы не только среди жителей села (четверо), но и среди людей с высшим образованием (в 3,5 раза). Наконец, доля тех, кто «твердо» верит в существование Бога («не сомневается в его существовании»), тоже заметно увеличилась среди людей с высшим образованием (в 2,5 раза), среди мужского населения (в 2,5 раза) и опять-таки жителей села (в 2,4 раза). Вот как выглядит общая динамика «твердости» веры россиян за девяностые годы: доля неуверенных в существовании Бога заметно снизилась, а группа не сомневающихся в этом вопросе выросла в 2,3 раза.

¹ Печатается по: Дубин Б. Православие, магия и идеология в сознании россиян // Дубин Б. Жить в России на рубеже столетий: Социологические очерки и разработки. – М.: Прогресс-Традиция, 2007. – С. 168–186.

² Здесь и далее приводятся результаты всероссийских репрезентативных опросов взрослого населения России, проведенные Аналитическим центром Юрия Левады (Левада-Центр, ранее – ВЦИОМ, ВЦИОМ-А). Приверженцами ислама в этих исследованиях себя называют около 4% опрошенных, цифры по сторонникам других конфессий – ниже границ статистической достоверности и учитываться не могут. Таким образом, речь идет лишь о наиболее общих, отчетливых явлениях и тенденциях в массе населения страны, которые фиксируются инструментарием анкетных опросов и стандартизованных интервью.

Таблица 1

**Какое из следующих утверждений в наибольшей степени соответствует вашим представлениям о Боге?
(в % к опрошенным в каждом исследовании)**

	1991, N=3000	1998, N=1700	2000, N=1700
Я не верю в Бога	18	18	15
Я не знаю, существует ли Бог, и не верю, что это можно установить	18	11	7
Я не верю в личного Бога, но верю в некую высшую силу	18	13	19
Иногда я верю в существование Бога, иногда – нет	11	12	15
Я верю, что Бог существует, хотя иногда испытываю сомнения	15	16	10
Я верю, что Бог действительно существует, и не сомневаюсь в этом	13	24	30
Затрудняюсь ответить	5	6	4

Содержание веры. Раннехристианская мысль и последующая богословская традиция связывала с верой в Христа избавление человечества от власти рока и влияния звезд. Нынешние россияне верят в приметы, вещие сны и гороскопы куда больше, чем в ад, рай и вечную жизнь.

Сравнение недавних опросов в России и США (декабрь 2003 г. в России, N=1600 человек; сентябрь того же года в США, N=900 человек; данные FOX News/Opinion Dynamics Poll) показывает, что россияне заметно чаще американцев верят в ведьм (соответственно 37 и 24% опрошенных) и в астрологию (42 и 29%), тогда как в Бога, рай и ангелов, в дьявола, ад и привидения в 1,5–2 раза чаще верят американцы. При этом более молодые и образованные респонденты не только активней пожилых и малообразованных обращаются сейчас в православие, но вместе с тем сильнее их привержены к популярной магии и астрологии. В итоге они, с одной стороны, вносят в православные верования некоторые рационализирующие и универсализирующие моменты – аллегоризм, моралистичность, а с другой – усиливают в массовом православии элементы магии и оккультизма.

Такого рода элементы и прежде (да, вероятно, и всегда) входили в состав массовых православных верований, но были связаны в них с традиционализмом более пожилых групп православных. Теперь же они – среди прочего под влиянием средств массовой информации, рекламы в массмедиа соответствующих услуг (по каналам кабельного телевидения, в иллюстрированных журналах с телевизионной программой, тонких «женских» журналах, развлекательных газетах и проч.) – включаются в популярное

православие как моменты относительно новых, более универсалистских и рационалистических ориентаций¹.

В сопоставительно-историческом плане можно указать, что, видимо, похожий конгломерат из языческих и христианских верований, символов, обрядовых элементов – но тоже в разном их функциональном сочетании и смысле – складывался на самых начальных этапах распространения христианства. Например, наблюдался в обиходе религиозно аморфных масс, с одной стороны, и в более образованных кругах гностиков – с другой.

Таблица 2

Верят в...
(в % к социально-демографическим и вероисповедным группам)

	1992, N=2000	1998, N=1600	2000, N=1600	2006, N=1600
Приметы	51	56	57	54
Вещие сны	45	49	51	43
Предсказания астрологов	28	30	32	30
Венчаную жизнь	19	22	21	16

Институциональное воспроизведение верований. У 78% нынешних верующих (1998 г.) мать была верующей, 88% их крещены, 73% сами крестили своих детей (среди неверующих соответствующие цифры составляют 34, 32 и 33%). 25% верующих получили, по их свидетельству, религиозное воспитание (по опросу 1991 г. – 31%). В этом аспекте позитивной динамики институционального воспроизведения веры за девяностые годы не наблюдается. Доля изредка посещающих церковные службы

¹ По данным международного сравнительного исследования досуговых интересов населения к политике, истории, технике, культуре, различным сторонам повседневной жизни, проведенного в 1995 г. по инициативе «Roper Starch» в 43 странах мира (в России опрос проводил Аналитический центр Юрия Левады, тогда – ВЦИОМ), россияне по уровню заинтересованности оставляют позади население большинства стран мира только в одном: в интересе к оккультизму, магии, НЛО. Применительно к данной теме разница между безоговорочно интересующимися и столь же безоговорочно равнодушными респондентами составила для России +11,9 (однозначно интересуются 38,9%), для Украины +15,8 (однозначно интересуются 40,5%). Эти показатели оказались максимально далеки от европейских (-20,0 для Германии, -25,0 для Франции), но приближались к данным по некоторым странам Латинской Америки (+15,1 Венесуэле, +24,7 в Мексике). Причем, по российским данным, этот интерес был выше статистической нормы в подгруппе специалистов с высшим образованием (42,3% безоговорочно интересуются), у квалифицированных рабочих (49, 5%), но особенно – домохозяек (51,8%). Он концентрировался в столице, с одной стороны, но на селе – с другой, и был особенно заметен среди самых молодых россиян со средним образованием и низкими доходами. Вообще же по 11 темам из предложенных в исследовании 19 среди россиян преобладало явное отсутствие интереса. Подробнее об этом см.: Дубин Б., Зурабишвили Т. Досуговые интересы и индивидуальные склонности // Экономические и социальные перемены. – М., 1996. – № 1. – С. 28–32.

за девяностые годы несколько выросла, тогда как доверие к церкви и среди верующих, и в обществе в целом падает.

Преобладающая часть россиян считает, что церковь играет незначительную роль в повседневной жизни окружающих их людей, или затрудняется с ответом на этот вопрос.

Таблица 3

Россияне посещали церковные службы...
(в % к соответствующим социально-демографическим
и вероисповедным группам)

	1991, N=3000	1993, N=2000	1994, N=3000	1995, N=1700	1996, N=2400	1997, N=2400	1998, N=1700	2002, N=2100	2003, N=2100
От раза до не- скольких раз в месяц	5	5	7	6	7	5	9	8	6
От раза до не- скольких раз в год	20	35	28	30	17	16	22	18	30
Реже	—	—	21	—	16	14	11	15	18
Не посещали	65	45	43	63	60	62	55	59	46

Религиозность и представления о «социальных других». Доля активных сторонников социальных привилегий для приверженцев православия в целом по России и по отдельным социально-демографическим группам за девяностые годы не выросла. Зато заметно сократилась доля их активных противников – тех, кто выступал прежде явно против подобных привилегий (выбирая на шкале подсказок позицию «совершенно не согласен»).

Таблица 4

Согласны ли вы с мнением: Церковь в нашей стране мало влияет на повседневную жизнь, на нравы людей? (%)

	1994, N=3000	2003, N=2000
Согласен	51	54
Не согласен	19	21
Затрудняюсь ответить	30	25

Таблица 5

Согласны ли вы, что православные в России должны иметь преимущества перед иноверцами и атеистами (1998, в % к группам верующих и неверующих)

	Верующие	Неверующие
Согласны	18	9
Не согласны	61	56
Затрудняются с ответом	21	35

Резче всего – на 23% при 11% в среднем по выборке – противодействие стереотипам сегрегации по религиозному признаку снизилось именно у наиболее образованных респондентов, а это, напомним, именно тот слой, который активней других за последнее время приобщался к православной вере (неофиты). Среди верующих выше доля и согласных, и не согласных с подобными привилегиями, тогда как среди неверующих выше процент затрудняющихся с ответом. В оценке религиозных чувств окружающих у верующих изменилось лишь одно: значительно выросла доля тех, кто расценивает эти чувства как «внешнюю моду без глубоких подлинных убеждений».

Ксенофобические страхи и агрессивные чувства выражены у православных верующих в целом сильнее, чем у неверующих. Заметнее среди верующих и тяготение к коммунистам как политической силе. Со своей стороны, прежние ревностные гонители веры и церкви, коммунисты теперь все чаще выступают их демонстративными ревнителями; причем взаимопроникновение и сращение этих сил происходит под эгидой органов государственной власти и с апелляцией к ней.

Так, 13 ноября 2002 г. Министерство образования РФ разослало по регионам страны методическое письмо с приложением «Примерное содержание образования по учебному предмету “Православная культура”». Согласно этому документу, учебные курсы православной культуры включаются в учебный план общеобразовательной школы на всех ступенях образования. В общей сложности на прохождение курса выделяется 340–544 (или 374–612) учебных часов. Характерно, что акцию в поддержку введения этого учебного курса в школы у здания Министерства образования 15 декабря 2002 г. провели совместно представители КПРФ и Союза православных граждан.

Сравним представления о внешних и внутренних угрозах России в группах православных и неверующих (по данным июльского мониторинга 1996 г., N=2400; в % к соответствующим вероисповедным группам).

Таблица 6

	Неверующие	Православные
Угроза военного нападения на Россию		
Существует	34	41
Не существует	51	44
Затрудняюсь ответить	15	15
Угроза распродажи национальных богатств России		
Существует	37	47
Не существует	37	27
Затрудняюсь ответить	26	26
Нерусские пользуются слишком большим влиянием		
В целом согласен	37	47
В целом не согласен	37	27
Затрудняюсь ответить	26	26

Православие и национальная идентичность: значение веры.

Итак, более активными в приобщении к религиозной вере за девяностые годы были более молодые, образованные, урбанизированные россияне.

При этом декларированная принадлежность к православию не влечет за собой для подавляющего их большинства ни регулярного соблюдения основных обрядов (молитвы, причастия, исповеди), ни более или менее частого посещения церковных служб, ни практического участия в жизни храмовой общины, ни вообще какой бы то ни было реальной деятельности по воплощению христианских идеалов в повседневную жизнь. 83% отнесших себя к верующим в 1998 г. ни разу за последние 12 месяцев не совершали актов благотворительности (среди неверующих – 86%). 93% не занимались никакой деятельностью в пользу церкви (среди неверующих – 99%). При этом около 40% верующих выделяют именно благотворительную функцию церкви как важнейшую.

С одной стороны, это означает, что христианская вера чаще всего имеет для них общее морально-психологическое значение, как бы не накладывая собственно религиозных обязательств, не выступая в качестве коллективных норм действия и не предусматривая личной ответственности, практических императивов поведения. Характерно, что, говоря о значении религии лично для них, верующие прежде всего подчеркивают, что «религия заставляет задумываться о смысле жизни, о душе» (48% в группе верующих), «помогает быть терпимым к людям, к их недостаткам» (45%). Показательно и то, что из обрядов российские православные чаще исполняют такие, которые однократны – крещение (собственное или детей), чин погребения родных. Разовая инициация (как правило, пассивно пережитая в младенческом возрасте) как бы навсегда предопределяет для них принадлежность к православию и не накладывает далее никаких собственно религиозных обязательств, не требует, в глазах самого признающего себя православным, ритуалов солидарности с братьями по вере, с религиозным целым, которое представляет церковь. Равно как, кажется, не предопределяет она и сознания важности веры для повседневного поведения, ее воплощения в конкретных делах.

С другой стороны, это придает вере многих, если не большинства нынешних православных (в том числе – новообращенных) оккультно-магический характер. Историки религиозности в России, начиная с Е. Голубинского¹, неоднократно говорили о «двоеверии» русских. Вероятно, сегодня можно было бы говорить об их «многоверии» – своеобразном ценностном политеизме. В его рамках некоторые идеи и символы христианства соединяются с реликтами рутинных традиционно-магических представлений (веры в сглаз и т.п., воспринятой через непосредственную

¹ См.: Голубинский Е.Е. История русской церкви. – М., 1904. – Т. 1–2.

передачу от старших поколений) и символикой новых, внеисповедных форм религиозности, пришедших с современного Запада или помеченных как «западные» и транслируемых визуальными средствами массовой коммуникации вместе с рекламой либо на правах рекламы (теософия, астрология, хиромантия и проч.).¹

Не исключено, что более старшие поколения переносят при этом на сферу религиозных верований и высказываний навыки советского «двоемыслия». В любом случае стоит отметить, что интеллектуальная работа по рационализации верований и ценностей православия, как внутрибогословская, так и более общая – философская и проч., в сегодняшней России крайне слаба. Она практически не оказывает воздействия на сколько-нибудь широкие группы людей, называющих себя православными.

Наконец, особый пласт синкретических верований в России – прежде всего среди более образованных и урбанизированных слоев новоприобщенных к православию – составляют органические представления об обществе и народе, разного рода социальная мистика (в духе Д. Андреева) и социальный биологизм (типа Л. Гумилева), опирающиеся на диффузные социал-дарвинистские идеи, а также муссируемые коммунопатриотами страхи перед вырождением и геноцидом русских, катастрофические настроения в определенных маргинализируемых секторах общества. Самообозначение «православный» в подобных условиях все больше принимает семантику «русского», соединяясь с комплексом идей и символов российской исключительности («русским мифом») и ксенофобическими установками в отношении этнических чужаков, Запада, Америки, которые разделяются сегодня относительным большинством общества, в том числе – большинством не верующих сейчас и не веровавших никогда.

Подобный способ самоопределения через отрицание – черта характерная. В этом смысле показательно, что даже причисление себя к верующим не усиливает у респондентов чувства позитивной принадлежности к высокооцениваемому обществу. Напротив, параллельно увеличению числа верующих в девяностые растет их подозрительность по отношению к вере других – сознание ее «внешнего», наносного, неискреннего характера. Причем темпы роста подобного недоверия к окружающим выше как раз среди тех, кто заявляет о своей принадлежности к православию (особенно – среди новообращенных и редко посещающих церковь), чем среди неверующих и никогда не веровавших.

¹ Об этих типах верований в развитых обществах Запада см.: Morin E. La croyance astrologique moderne. – Lausanne, 1982; Adorno Th. The stars down to earth and other essays on the irrational in culture. – London; New York, 1994. Некоторые соображения о массовой эзотерике в отечественных условиях см.: Лидерман Ю. Синтетические небеса: Предсказательная литература в современной России // Новое литературное обозрение. – М., 2002. – № 55. – С. 379–384.

По данным 2002 г., свыше 3/5 россиян (61%) не ходят к причастию. Доля непричащающихся за 1990-е годы сократилась (в 1991 г. она была равна 83%), но число причащающихся регулярно, не реже раза в месяц, осталось прежним (1–2%), зато очень заметно (до 20% и более) выросла доля тех, кто затрудняется с ответом на этот вопрос. Доля крещеных в российском населении постоянно растет и в 2002–2003 гг. достигала 75–77% всех взрослых, но такова же (абсолютное большинство!) в 2002 г. была доля тех россиян, которые, по их признанию, никогда не молятся, не соблюдают религиозных постов и праздников.

71% россиян согласны с тем, что «многие люди у нас в стране хотят всего лишь показать свою причастность к вере и церкви, но мало кто верит по-настоящему» (2003 г., 2000 опрошенных). 54%, по данным того же опроса, считают, что церковь в России мало влияет на повседневную жизнь, на нравы людей. 22% полагают, что православная церковь, объединяющая большинство жителей страны, должна занимать особое положение в государстве и иметь особые права, половина россиян не согласны с подобной позицией (каждый четвертый воздержался от ответа). Приведенные данные свидетельствуют не столько о «духе соборности» или сплачивающей функции веры и церкви, сколько о разобщенности и подозрительности людей, как будто бы называющих себя православными, но и в этом не находящих для себя ничего особенно существенного – умиротворения, мудрости, предмета для гордости.

Таблица 7

Как часто вы молитесь?

	1991, N=3000	2001, N=1000	2002, N=1000
Ежедневно	10	8	6
По крайней мере раз в неделю	2	6	3
По крайней мере раз в месяц	4	3	4
Реже, чем раз в месяц	8	9	9
Никогда	70	71	77

Таблица 8

В какой мере для вас важны религия, вера?

	1994, N=3000	1995, N=2550	1999, N=3000	2002, N=1800
Очень важны	20	18	20	8
Довольно важны	26	20	27	21
Не слишком важны	29	26	33	36
Совсем неважны	14	19	19	32
Затрудняюсь ответить	10	16	1	3

Так что если в самом общем плане суммировать те сдвиги, которые произошли в массовом православии на уровне всего социума, в положе-

нии православной веры и церкви в российском обществе за 1990-е годы (и с особенной скоростью и широтой – за вторую их половину и конец), то это прежде всего следующие процессы:

- сближение и даже слияние церкви как института с государством, государственной властью, верхушкой политического истеблишмента;
- политизация (прежде всего – этнополитизация) массового образа веры и церкви на фоне общей деполитизации населения;
- сближение массового православия с ксенофобическими установками и настроениями изоляционизма (российской исключительности, «особого пути» и проч.);
- фактическое слияние для большей, если не для подавляющей части населения семантики «православного» и «русского»;
- ослабление несовместимости массовых религиозных (христианских, православных) установок с коммунистической идеологией и публичной риторикой РКП; напротив, для конца 1990-х и начала 2000-х годов характерно все более настойчивое их уравнивание и смешение.

С середины 1990-х годов православная эмблематика и риторика все активнее фигурируют в средствах массовой информации, и прежде всего на телевидении, причем на самых популярных его каналах и непременно среди атрибутов государственной власти, символов дореволюционной и нынешней российской державы. В этом контексте РПЦ на рубеже XX и XXI веков поставила вопрос о введении в средних общеобразовательных школах такого предмета, как «Основы православной культуры». Заявив на Международном церковном форуме в Москве, что «каждый наш соотечественник должен знать историю своей культуры», патриарх Алексий II фактически приравнял православное к национальному (политика публичного отчуждения руководства РПЦ от католической и протестантской ветвей христианства находится в русле этих же изоляционистских тенденций). Очень заметно выросла нетерпимость россиян к деятельности и к представителям религиозных сект, притом что для абсолютного большинства различия между церковью, движением, сектой весьма туманны. Если в 1989 г., говоря о своем отношении к членам религиозных сект, 57% опрошенных придерживались позиции «предоставить их самим себе», то в 2003 г. доля россиян, толерантных к членам сект, сократилась до 24%. Напротив, за их устранение или изоляцию тогда высказывались в сумме 10% россиян, а сегодня выступают уже 54%.

Православно-церковное подается в передачах массмедиа как знак всего «высокого и прекрасного», относящийся к национальному целому, к России как «великой державе». Между тем для массы населения, признающего себя христианским, православная вера нередко выступает рука об руку с ксенофобией, в том числе – по религиозному признаку. Таково более чем настороженное отношение и клира, и мира в России к католиче-

ству, но особенно негативное – к исламу, людям исламской веры, а также к деятельности религиозных сект. На массовое сознание в этом плане, конечно, воздействует чеченская война, а также ставшее повседневным в передачах массмедиа сближение понятий «ислам» и «терроризм» (расхожие выражения вроде «исламские террористы» и проч.). Но значимо здесь и другое.

Дистанцирование и неприятие, включая агрессивную словесную оценку, особенно вызывают у россиян два аспекта внеправославных верований: тот факт, что эти верования выступают основой для высокой солидарности их приверженцев (как в случае ислама), и то, что адепты этих верований – например, католические или протестантские проповедники – отличаются высокой активностью, распространяют собственную веру, привлекают или могут привлечь в свои ряды новых сторонников. Вероятно, особое раздражение, неприязнь, чувство угрозы извне рождаются в подобных случаях из болезненного для россиян контраста с их собственным, крайне пассивным, несолидарным поведением людей, которые не в силах сплотиться иначе как под ферулой власти и не могут существовать без мобилизующего их образа врага, даже если атtestуют себя верующими, христианами, православными.

Представляется, что значение демонстративно-символических отсылок к православию прежде всего связано с возрастающей на протяжении девяностых годов проблематичностью массовой идентификации для сегодняшних россиян – идентификации на самом высоком, социальном уровне наиболее общего «мы». У разных групп и слоев этот процесс проходит по-разному. Старшие поколения во многом утратили привычные символы широкой коллективной принадлежности разного типа и плана (общесоветской; профессиональной, будь она «трудовой» или «интеллигентской»; поколенческой; связанной с традиционным старшинством и авторитетом старших). Молодежь же ощущает неопределенность и негарантированность нынешней ситуации именно для тех, кто не ограничивается привычным, а пытается «пробиться», начать «свое дело», хочет приобрести более высокую квалификацию, – отсюда их вера в магию, с одной стороны, равно как и тяга к православию – с другой, которые нимало не исключают друг друга и не противоречат друг другу (к тому же здесь, скорее всего, действует возрастной и поколенческий конформизм молодежных групп и коллективов).

Символы как магии, так и православия входят для более молодых и более образованных россиян, жителей крупных городов в кодекс «нового» поведения, связанного именно с постсоветскими свободами, и вместе с тем поведения экспериментального, пробного – как все выделено «молодежное», более «крутое». Тогда как для более пожилых респондентов, отнесаемых на социальную и профессиональную периферию общества, в

православии важнее, напротив, значения «традиции», «исконности», «старины», – речь идет, понятно, об «изобретенной традиции», если пользоваться термином Э. Хобсбаума. В этом последнем смысле стоит подчеркнуть, что православные праздники и обряды как для молодежи, так и старших поколений россиян, представляют собой сегодня по большей части массмедиальное зрелище, своеобразное шоу, демонстрируемое одновременно по двум наиболее популярным и доступным для всех каналам центрального телевидения, а нередко еще и по московским каналам.

Симулятивная идентификация: роль «слабых» форм. Так что в целом можно сказать, что «православное» сейчас в России примерно тождественно русскому/российскому и отмечает внешний периметр (мысленную границу) государственно-национальной общности. Показательно, что в качестве символического обозначения наиболее общего «мы» россияне сегодня, как правило, используют отсылки именно к такого типа воображаемым общностям, обобщенным смысловым конфигурациям, которые как бы не предполагают последствий для повседневной жизни индивида и его ближайшего круга, словно они не накладывают на него ни малейших обязательств, ответственности и вообще никак не связаны с практическим действием.

Так, свои представления о народе россияне чаще всего связывают с прошлым и с территорией, гораздо чаще чувствуют принадлежность к России, чем гордятся этим, и т.п. (кстати, с религией свои представления о «народе» связывают не более 10% россиян). Как представляется, образец для такого отстраненного, дистанцированного и необременительного отношения к наиболее значимым, казалось бы, символам и значениям «я» и «мы» («я» в соотнесенности с «мы») задает телевизор, конституирующий сегодняшнее общество в России как «общество зрителей», о чем уже приходилось писать. В религиозных терминах можно сказать, что самоопределение россиян связано с символической демонстрацией принадлежности к вере, а не с делами.

Подобную рассогласованность планов «высокой» символической идентификации и повседневной инструментальной адаптации можно обозначить понятием «симулятивной социальности». В последней предлагается видеть особое состояние или устройство социокультурной структуры социума, который либо выходит из режима постоянной мобилизованности, либо «устал» от длительной мобилизации и в такой сугубо пассивной форме посильнее сопротивляется ей. Рассредоточенность «воображаемого сообщества», по известному выражению Бенедикта Андерсона, разных уровней, планов, осей ориентации, самоопределения и принадлежности (за которым стоит эрозия и фрагментация социума без его функциональной дифференциации и трансформации) выступает здесь способом поддержания относительной устойчивости целого, его воспроизведения в ненапря-

женном, полуразобранном, «плохом», но привычном, в этом смысле – нормальном и так или иначе действующем виде.

В принципе православная церковь относится для социолога к такого типа социальным образованиям, которые требуют «безраздельной преданности» и полного самопожертвования, – Льюис Козер в свое время обозначил их понятием «ненасытные институты»¹. Однако сегодня подобные конструкции – «держава», «церковь», «армия» (образы, подчеркну, наиболее традиционных институтов социума илиrudиментов традиционного порядка в модерном обществе) – создаются респондентами и существуют в их сознании уже по-другому, иначе и по функции, и по способу.

Они фигурируют в коллективном сознании и ответах наших респондентов так, как будто их самих, их повседневной жизни подобные фигуры и инстанции нимало не касаются, оставаясь объектами стороннего почтания, но не более того. Модус существования им задает виртуальная реальность телевидения, ежедневного многочасового телесмотрения рядовых россиян. И мысленная идентификация с такого рода воображаемыми инстанциями у респондента в России тем сильней, чем менее они для него реальны, чем менее они вообще связаны с его повседневной жизнью. Можно сказать – чем менее они ему доступны и чем более дают возможность дистанцироваться, ускользнуть, остьаться в стороне, а может быть даже, чем в большей мере наделены значениями экстраординарного, далекого, тайного.

Это как бы аморфные образы «иного» в полноте его потенций и сил. Рядовому адаптирующемуся человеку советской и постсоветской эпохи подобная полнота и сила, понятно, недоступны, поскольку в его сознании подобные качества принадлежат исключительно власти, пусть далекой от человека, но все-таки «нашей». А обращены такого рода конструкции по преимуществу к «другим», чья власть, в отличие от «нашей», незаконна и неправедна, узурпирована, основана на «угнетении» и проч. Так что описываемые образы нацелены в первую очередь против «чужаков», тех или иных «нарушителей», а если направлены на «нас», то только в качестве поднадзорных. Важно подчеркнуть, что проблемой для респондента, для коллективного сознания россиян, внушающим им тревогу обстоятельством во всех подобных случаях остается «другой». Его дистанцированный и подозрительный образ – это вытеснение и перенос проблематичности собственного определения. Поэтому «я» и отсутствует во всех фигурах коллективной идентификации подобного рода – как некое «слепое пятно», «черное зеркало», взгляд, не видящий себя.

Характерно, что подобные перечисленным инстанции самоопределения для россиян вынесены либо в условное и недостижимо утраченное

¹ См.: Coser L. Greedy institutions: Patterns of undivided commitment. – N.Y., 1974.

Б.В. Дубин

прошлое, которое «было», но которое «невозможно вернуть», либо в со- слагательное будущее, которое невозможно приблизить и к которому не- возможно прийти, но которое «уже настанет» («Вот подождите, будет вам» и т.п.). Всё это фигуры и конструкции, воплощающие непереносимость настоящего, отторжение от него, бегство от настоящего – от време- ни и пространства реальных действий, взрослоти, взаимности и ответст- венности. Именно эти образы в их неизменности, принципиально защищенные от сопоставления, сравнительной оценки, воздействия и трансформации, а значит, минимально доступные рационализации, со- ставляют рамку восприятия реальности, общую сегодня для большинства российского населения. Отсылка к ним и дает – контражуром – условное и нестойкое ощущение россиянином своего социального «я».

Нестойкость этого самоощущения и подобного типа идентификации как раз и объясняется разрывом между планом предельной общности (коллективного «мы») и реальными требованиями ролевого взаимодействия в повседневной жизни, между негативной конструкцией такого само- определения и содержательными задачами выбора, решения, практическо- го осуществления. Сам же этот разрыв определяется принципиальными институциональными дефицитами тоталитарного и посттоталитарного общества – исторической и актуальной слабостью, грубостью, упрощен-ностью социальных представлений и связей, атомизированностью инди- видов, во всех ключевых отношениях зависимых от государства и при- вычно адаптирующихся к социуму, сплоченному репрессивной властью. «Легкое бремя» во всех этих случаях несет в себе сегодня напоминание о «тяжелых временах» и, по видимости выступая будто бы отрицанием, преодолением советского общества, его антропологического субстрата, социального опыта, во многом выступает их продолжением и консерваци- ей, пусть в ослабленном виде.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Бессонова Ольга Эрнестовна – доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН)

Булдаков Владимир Прохорович – доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН.

Гудков Лев Дмитриевич – социолог, доктор философских наук, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), директор Аналитического центра Юрия Левады (Левада-центра)

Дилигенский Герман Германович (1930–2002) – доктор исторических наук, руководил Центром сравнительных социально-экономических и социально-политических исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН

Дубин Борис Владимирович (1946–2014) – социолог, переводчик, поэт, руководил отделом социально-политических исследований (Левада-центра)

Кертман Григорий Львович – кандидат исторических наук, заведующий аналитическим отделом Фонда «Общественное мнение»

Клямкин Игорь Моисеевич – доктор философских наук, директор Института социологического анализа НИУ ВШЭ

Кордонский Симон Гдальевич – кандидат философских наук, заведующий кафедрой местного самоуправления НИУ ВШЭ

Кульпин Эдуард Сальманович (1939–2015) – доктор философских наук, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН

Левинсон Алексей Георгиевич – кандидат искусствоведения, заведующий отделом социально-культурных исследований Левада-центра, профессор кафедры методов анализа и сбора социологической информации НИУ ВШЭ

Милов Леонид Васильевич (1929–2007) – академик РАН, профессор, заведовал кафедрой истории России до начала XIX в. Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова

Пастухов Владимир Борисович – доктор политических наук, доктор юридических наук, профессор колледжа Святого Антония Оксфордского университета

Пивоваров Юрий Сергеевич – академик РАН, в 1998–2015 гг. – директор Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН), с 2015 г. – научный руководитель ИНИОН РАН

Яницкий Олег Николаевич – доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института социологии РАН

Хрестоматия по россииеведению
Выпуск 1

Художник обложки И.А. Михеев

Компьютерный набор Л.К. Исаева

Техническое редактирование
и компьютерная верстка В.Б. Сумерова

Корректор В.И. Чеботарева

Гигиеническое заключение
№77.99.6.953.П.5008.8.99 от 23.08.1999г.
Подписано к печати 29 /ХII – 2015 г.
Формат 60×84/16 Бум.оффсетная № 1
Печать оффсетная Цена свободная
Усл.печ.л. 15,5 Уч.-изд.л. 15,0
Тираж 300 экз. Заказ № 165

Институт научной информации по общественным наукам РАН,
Нахимовский пр-кт, д. 51/21 Москва, В-418, ГСП-7, 117997
Отдел маркетинга и распространения информационных изданий:

E-mail: inion@bk.ru

Отпечатано в ИНИОН РАН
Нахимовский пр-кт, д. 51/21,
Москва, В-418, ГСП-7, 117997
042(02)9